

Р

РЕГИОН
В ИСТОРИИ
ИМПЕРИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЭССЕ
О СИБИРИ

Annotation

Что такое регион, и как эта концепция работает в исторических исследованиях Российской империи и СССР? Что такое Сибирь, и где ее границы? Как соотносятся образы Сибири как поселенческой колонии и неотделимой части национального мифа? Каким образом представители сибирских народов конструируют историческую память о Российской империи и СССР? Эти и другие вопросы исследуются авторами сборника «Регион в истории империи».

- [Коллектив авторов](#)
 -
 - [Предисловие](#)
 - [Завоевание, колонизация, территория](#)
 - [Андрей Зуев](#)
 - [Анатолий Ремнев](#)
 - [Елена Безвиконная](#)
 - [Между колонией и метрополией](#)
 - [Анатолий Ремнев](#)
 - [Сергей Скобелев](#)
 - [Юлия Ульянникова](#)
 - [От советского «единства» к постсоветским «разрывам»](#)
 - [Павел Варнавский](#)
 - [Татьяна Скрынникова](#)
 - [Сергей Ушакин](#)
 - [Библиографическая справка](#)
-

Коллектив авторов

Регион в истории империи. Исторические эссе о Сибири

© Ab Imperio, 2013

© Новое издательство, 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Предисловие

Вот уже второе десятилетие международный научный журнал *Ab Imperio* является локомотивом в исследованиях прошлого и настоящего сложносоставных обществ. Материалом для этих исследований служит прошлое Российской империи и СССР. За прошедшие годы в *Ab Imperio* были опубликованы сотни статей по самым разным аспектам истории, антропологии, литературоведения и других гуманитарных дисциплин. Чтобы дать возможность широкой публике ознакомиться с некоторыми из этих работ, редакция журнала в сотрудничестве с «Новым издательством» продолжает выпуск тематических сборников. Так, первый сборник включал в себя ставшие уже классикой работы по теории национализма и империи. Вторая антология была посвящена сегодняшнему конструированию исторической памяти об империи и нации. В третьей фокус смещался на сам процесс осмысления сложносоставного общества его современниками. При этом на первое место выходил разрыв между аналитическими языками, доступными наблюдателю (концепциями, тропами, поэтикой, культурно обусловленным социальным воображением и метафорами), и социально-политическими реалиями, весьма избирательно и своеобразно описывавшимися этими языками. Этот когнитивный разрыв и определяет во многом историческую динамику культурно и социально гетерогенного общества (включая «империи»). Наконец, в четвертом сборнике были представлены материалы, обсуждающие роль конфессии как способа категоризации населения, как доступного языка самоописания групп и как механизма управления различиями в истории империи.

Регион является не менее важной категорией восприятия и описания империи. Любопытно, что именно работа Пьера Бурдьё «Идентичность и репрезентация: Критика идеи региона», в которой французский социолог подверг деконструкции локальные идентичности во Франции, стала одним из важнейших текстов в теории национализма. При помощи категории «региона» историки преодолевают детерминизм кажущихся естественными и самоочевидными национальных нарративов и политических границ, не позволяя таким образом проецировать в прошлое сегодняшние политические реалии. В прошлом России и СССР такие регионы, как западные окраины, Средняя Азия, Сибирь или Поволжье имели свою историю и свою специфику, и уже в силу этого они обладают

критическим потенциалом по отношению к национальным проектам. Только важно помнить, что и регионы не являются «естественными» пространственно-социальными единицами, но складывались исторически, создавались в результате административных реформ, оформлялись в силу географических причин.

В предлагаемом читателю сборнике мы отобрали материалы, посвященные одному из архетипических регионов Российской империи и СССР – Сибири, чья отдельность и внутренняя целостность кажется самоочевидной. Сибирь была вторым после Поволжья регионом, ставшим объектом экспансии Московского государства. В стране, не обладавшей собственными источниками золота или серебра, стремительно покоренная Сибирь стала главным поставщиком единственной доступной валюты – ценных мехов. Продвигаясь по рекам, подобно французам в Квебеке, казаки, служилые люди и промышленники (многие из них – переселенные пленные, так называемая литва) охотились на ценных зверьков, торговали, а главное – «побивали» и облагали ясаком местных жителей, приводя их «под государеву высокую руку». Это покорение шло по лесной и тундровой зоне севера Евразии, и к началу XVII века остановилось на границах степной зоны. Только в XVIII веке, с появлением регулярной армии европейского образца Российская империя смогла начать подчинение кочевых народов степной зоны. И именно тогда, в XVIII веке, изначальный стимул к продвижению на восток – извлечение природных ресурсов – стал терять силу.

Варварское истребление животных привело к огромным недостаткам в сборе ясака. Казалось бы, важность Сибири должна была резко уменьшиться в связи с падением доходов от ее эксплуатации. Но этого не произошло в силу ряда причин. Пожалуй, самым важным был фактор пространства. К концу XVIII века добыча ценных мехов ушла дальше на восток. К началу XIX века Российская империя управляла своими Североамериканскими колониями на Аляске при помощи Российско-американской компании (РАК), частного предприятия. При этом Сибирь служила передаточным звеном, своего рода огромным транспортным регионом для РАК, содержащей свои конторы и станции в сибирских городах. В конце XVIII века Нерчинские заводы начали давать медь и серебро. В плоскости геополитики, Сибирь превратила Московское царство, по мировым масштабам довольно захолустное государство на краю Европы, в империю с интересами, простирающимися в Среднюю Азию и Китай. И в советское время Сибирь оказалась важнейшим геополитическим фактором – ведь именно в глубь континента были

эвакуированы учреждения и промышленность во время Великой Отечественной войны. Пространственный тыл СССР сыграл огромную роль в противостоянии гитлеровской Германии. Более того, начиная с 60-х годов XX века СССР в основном экспортировал то, что добывалось из недр страны, и добывалось именно в Сибири. Нефтяные и газовые месторождения Сибири отсрочили крах коммунистической системы и продолжают во многом определять внутреннюю и внешнюю политику постсоветской России.

Несмотря на общепризнанную важность Сибири для России, ее политический и культурный статус в государстве никогда не был однозначным, а география четко зафиксированной. Географически Сибирь начинается за Уралом, и это, пожалуй, единственная константа в исторической географии региона. Его южные и восточные границы исторически неопределенны. Так, в XIX веке «Сибирь» могла включать в себя Степной край, но уже в первой половине XX века формируются представления об отечественном Дальнем Востоке. Приморский край, Чукотка, Амурская область часто не включались в Сибирский регион, да и сегодня жители Дальнего Востока не считают себя сибиряками. Географическая размытость Сибири становится еще более очевидной – и любопытной – если мы обратим внимание на череду образов Сибири, представляющих ее, с одной стороны, неотъемлемой частью России, а с другой – поселенческой колонией. Популярные тексты и фильмы, особенно в советское время, создавали образ Сибири как важного элемента самоидентификации советского русского национализма (например, в известном романе В. Шишкова «Угрюм-река», в литературе «деревенской прозы» или в советских телевизионных блокбастерах вроде «Вечного зова»). Это объединение мифологемы покорения региона и одновременного представления его «исконной» основой русского национального мифа было почти тотальным. Характерно, что в русской культуре практически не имелось образов «благородного дикаря» (непременного спутника колонизаторского мифа) – сибирского инородца. Только в начале XX века В.К. Арсеньев написал полудокументальную повесть «Дерсу Узала», которой Акира Кurosава обеспечил всемирную известность. В советское время собирательный образ «коренного жителя Сибири» был представлен в массовой культуре только шлягерами Кола Вельды – нивха, исполнявшего свои песни исключительно в европейской традиции. И сегодня россияне знают удивительно мало о народах Сибири – в отличие от населения США, Австралии или Новой Зеландии, где знания о коренных народах этих стран стали частью национального самосознания

и массового образования.

В то же время в 1990-е годы на волне центробежных тенденций в Российской Федерации проснулся интерес к сибирскому областничеству – любопытной попытке части сибирской интеллигенции помыслить Сибирь как типичную переселенческую колонию. Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков и другие убежденные областники считали, что, поскольку Сибирь завоевана силой оружия и заселена колонистами, то будущее ее должно быть подобно будущему других переселенческих колоний, таких как Австралия, Новая Зеландия, и, в особенности, Соединенные Штаты Америки. Исходя из опыта Австралии, областники резко критиковали политику ссылки в Сибирь уголовных преступников, считая, что ссылка ложится тяжелым бременем на местное население как экономически, так и в смысле «развращения нравов». Основываясь на работах Эдварда Гиббона Уэйкфилда, сыгравшего ключевую роль в колонизации Южной Австралии и Новой Зеландии и в основании будущего Канадского доминиона, областники верили, что правильная колонизационная политика в Российской Сибири может не только превратить ее в цветущую страну, но и поможет избежать люмпенизации крестьянства в самой России. Хотя областническое движение и являлось самым ярким примером политики сравнения, игравшей большую роль в модерный период российской истории, подобные примеры можно найти и в риторике администраторов, и в научных работах.

Эра деколонизации западных заморских империй, начавшаяся после Второй мировой войны, сопровождалась интенсивной критикой научного знания, произведенного в империи и служившего ей. Так называемые постколониальные исследования, широко заимствуя из арсенала литературоведения, деконструировали нарративы цивилизационного превосходства европейцев над покоренными народами колоний. Зачастую, постколониальные исследования исходили из того, что центры политической власти и культурные и научные центры заморских колоний совпадали – их было легко локализовать в столицах метрополий и в правящих классах империи. Однако Сибирь не соответствует этой схеме. Разумеется, она была объектом интенсивного научного изучения, более того, именно в результате исследований Сибири в XVIII веке возникает немецкий вариант этнографии как науки о человеческом разнообразии. Но вопрос о совпадении источников власти и знания в этом случае остается открытым. Не только немецкие исследователи не склонны были полностью идентифицироваться с центром империи, полагая самих русских не вполне цивилизованным народом (хотя и движущимся в верном

направлении). Уже приведенный пример сибирских областников, в основном детей офицеров, чиновников и купцов, свидетельствует о дистанции между обладанием политической властью и производством знания в истории Сибири. Вспомним также и о том, что в раннесоветской этнографии доминировала знаменитая «этнотройка»: В. Тан-Богораз, В. Йохельсон и Л. Штернберг, получившая свое этнографическое образование в сибирской ссылке. Именно в Сибиряковской экспедиции, организованной в 1892 году по инициативе областника Г.Н. Потанина, эти ведущие этнографы – а тогда государственные преступники – начали свою научную карьеру.

Разумеется, советский период принес новые измерения в сибирский исторический опыт. В Сибири появились автономные республики и округа, в которых, по крайней мере теоретически, власть принадлежала представителям титульных национальностей. Советская индустриализация привела к появлению промышленных регионов, подобных Магнитогорску, а коллективизация уничтожила вполне успешное сельское хозяйство Западной Сибири. И хотя Сибирь вовсе не была исключительным местом для создания концентрационных лагерей сталинского режима, в народном воображении именно с Сибирью ассоциируются сталинские репрессии.

Что же может дать изучение сибирской истории для понимания истории империи? Где место Сибири в новой имперской истории? Статьи, помещенные в настоящем сборнике, намечают возможные ответы на эти вопросы. Так, Андрей Зуев в своей статье убедительно показывает несостоятельность советской мифологемы о «добровольном вхождении» сибирских народов в состав России. Покойный Анатолий Ремнев, ведущий историк Сибири имперского периода, рассматривает дискуссии о колонизации Сибири в контексте развития национального мифа. Елена Безвиконная в своей статье демонстрирует не только пористость, но и физическое отсутствие границ в Сибири XIX века. В статье, посвященной дискуссиям об открытии сибирского университета, Анатолий Ремнев обсуждает те политические силы, которые формировали дискурсы об этой имперской окраине, а Сергей Скобелев анализирует демографию сибирских народов как политический инструмент современных агентов власти. Статья Юлии Ульянниковой не только обращается к малоизвестному эпизоду в истории российского Дальнего Востока – эвакуации населения Сахалина после Русско-японской войны, но и демонстрирует сложность имперского контекста, в котором сосуществуют и соперничают параллельные принципы классификации разных групп населения. Перекликаясь с работой Зуева, Павел Варнавский исследует

процесс создания образа общего советского прошлого (механизмы вспоминания и забывания) на материалах Бурятии. В статье Татьяны Скрынниковой рассматривается проблема восприятия России в самоидентификации бурят и подчеркивается приоритетность династической лояльности императору в XIX веке над конфессиональными и этническими факторами. В своем исследовании практик солдатских матерей в Барнауле Сергей Ушакин демонстрирует, как в постсоветской России производятся новые идентичности и создается новое публичное пространство посредством материализации памяти, то есть перевода личной человеческой утраты в ритуалы воспоминания.

Таким образом, история Сибири в гетерогенном обществе (империи, СССР или РФ) – это история завоевания и насилия, конструирования общей исторической памяти и политики сравнения, зазоров между центрами власти и центрами производства знания. Это сложная история, в которой люди не идентифицируются лишь с одной группой, но выбирают и конструируют свою групповую принадлежность в сложном контексте сложного общества.

Сергей Глебов

Завоевание, колонизация, территория

Андрей Зуев

«Конквистадоры империи»: русские землепроходцы на северо-востоке Сибири

В последнее десятилетие XX века в отечественной историографии явно обозначился пересмотр господствовавшей прежде концепции преимущественно мирного и чуть ли не добровольного присоединения нерусских народов и территорий к России, в оценках расширения Московского царства и Российской империи зазвучали ранее табуизированные советской идеологией (частью которой был миф об извечной дружбе народов СССР) термины «завоевание», «колониальная политика», «экспансия». Переоценка затронула и «сибирское взятие». В сибиреведческой литературе 1990-х годов уже признается сложность и противоречивый характер присоединения Сибири в целом и ее отдельных регионов. Отмечается, что нельзя преуменьшать масштабы конфликтов, которые имели место на этапе «вхождения» Сибири в состав России, а также степень сопротивления русским отдельных групп местного населения. Указывается, что взаимоотношения русских и аборигенов были крайне напряженными, имелось много моментов, приводящих к конфронтации и вооруженным столкновениям¹.

На пути переосмысления характера присоединения Сибири к России предстоит проделать еще большую работу, включающую, с одной стороны, терминологические и методологические аспекты, а с другой – «банальную» фактографию, т. е. восстановление реальной картины русского продвижения «встречь солнцу» и, соответственно, выявление всех фактов русско-аборигенных вооруженных столкновений и всех методов подчинения сибирских народов русской власти. К числу перспективных задач относится и анализ роли человеческого фактора в ходе присоединения, поскольку вполне очевидно, что характер взаимоотношений, а значит, и самого присоединения во многом определялся в результате взаимодействия носителей разных «цивилизаций» – русской и аборигенной. Первыми представителями русского народа и русской власти, с которыми вступали в контакты коренные сибиряки, были, как известно, «государевы служилые люди» (в основном казаки) и охотники-промысловики («промышленные люди»). Соответственно, без представления о том, что являли собой эти пионеры

русского натиска на восток, невозможно понять, почему их отношения с аборигенами выстраивались так, а не иначе.

К сожалению, данная проблема, впервые обозначенная еще в трудах Г.Ф. Миллера, С.П. Крашенинникова и Г.В. Стеллера, впоследствии не получила должного внимания в литературе. Отечественные историки XIX – первой половины XX века, охотно сравнивая русских казаков с испанскими конквистадорами и считая главной причиной русско-аборигенных конфликтов «засорное» поведение казаков и ясачных сборщиков, которые без удержу грабили «инородцев», просто констатировали это как факт, не пытаясь выяснить мотивацию и факторы подобного поведения. Аналогичная картина, кстати, наблюдается и в зарубежном сибиреведении, которое русское продвижение по Сибири всегда считало завоеванием и экспансией².

С 1950-х годов, когда в советской историографии восторжествовала концепция преимущественно мирного присоединения Сибири к России, одобренная к тому же тезисом о безусловной прогрессивности этого процесса для сибирских народов, писать о русских землепроходцах-носителях «прогресса» и «передовой русской культуры» как о завоевателях и колонизаторах стало не принято. Соответственно, ретушировались все негативные стороны их поведения, а когда речь все же заходила о нелицеприятных явлениях эпохи присоединения (сопротивлении аборигенов, их ограблении и эксплуатации), они объявлялись порождением феодально-крепостнического строя тогдашней России, а вина за многочисленные «лихоимства» возлагалась на агентов самодержавия на местах – воевод, ясачных сборщиков и отдельных служилых людей³. Самих же землепроходцев представляли почти исключительно героями великих географических открытий, такими «рыцарями без страха и упрека»⁴.

В постсоветское время исследователи стали уже указывать на то, что русско-аборигенные столкновения были результатом соприкосновения разных, первоначально антагонистических культур и психологической неготовности аборигенов к встрече «неведомых пришельцев». Однако далее подобных общих заявлений дело пока не продвинулось. С сожалением приходится констатировать, что до сих пор в сибиреведческой литературе, как ни странно, нет ни одной работы, специально посвященной анализу причин русско-аборигенных конфликтов и, более того, отсутствуют методические и методологические приемы исследования этой проблемы.

В данной статье, опираясь на уже введенные в научный оборот источники, многие из которых опубликованы, я попытаюсь нарисовать обобщенный портрет русских землепроходцев с точки зрения их взаимоотношений с аборигенами. Территориально мое исследование ограничивается крайним северо-востоком Сибири, а точнее, теми районами, где проживали коряки, чукчи и ительмены. Эта география обусловлена тем, что, с одной стороны, указанные народы оказали русским наиболее длительное и ожесточенное сопротивление, а с другой – именно здесь наиболее ярко проявилась инициатива и самостоятельность самих землепроходцев (по сравнению с другими сибирскими регионами), которые зачастую на свой страх и риск отправлялись в неведомые земли, расширяя пределы Российского царства. Соответственно, хронологические рамки охватывают период первых контактов, т. е. вторую половину XVII – первую четверть XVIII века.

Скупые сообщения дошедших до нас «сказок», отписок и челобитных землепроходцев и представителей государственной администрации (ясачных сборщиков и приказчиков) показывают, что, несмотря на отдельные факты мирного взаимодействия, господствующим вариантом развития событий было военное противостояние русских и аборигенов. По моим подсчетам, на протяжении означенного периода произошло по меньшей мере 23 вооруженных столкновения с чукчами, 41 – с коряками, 39 – с ительменами⁵. Несомненно, известная доля вины за эту «войну» падает на самих «иноземцев», которые в силу разных причин и обстоятельств, зачастую уже при первом знакомстве, встречали русских «в штыки». Но это тема отдельного исследования⁶. Меня же интересуют сами землепроходцы, точнее говоря, то, почему они мирным переговорам зачастую предпочитали грубую силу.

Чтобы понять их образ действий, необходимо обратить внимание на те факторы, которые оказывали на него влияние. Конечно, рассмотреть весь спектр мотивов, определявших поступки казаков и промышленников в каждой конкретной ситуации (при каждом взаимодействии с аборигенами), невозможно. Но выделить наиболее существенные, непосредственно детерминировавшие поведение землепроходцев, вполне реально.

До конца XVII века стандартной была ситуация, когда отряды землепроходцев формировались, во-первых, в значительной степени добровольцами, во-вторых, на их собственные средства или средства

организаторов походов, причем и те, и другие «залезали» в большие долги («должились у торговых людей дорогою ценою»). Достаточно привести известные примеры с организацией экспедиций С. Дежнева – Ф. Попова, М. Стадухина, Ю. Селиверстова, Л. Морозко, В. Атласова. Даже в первой четверти XVIII века, когда доля добровольцев («охочих людей») в составе отрядов резко снижается и, соответственно, увеличивается доля «государевых служилых людей», последним все равно приходилось, в основном, вкладывать в материальное обеспечение походов значительные собственные и взятые в долг средства.

Нетрудно догадаться, что, отправляясь в поход на собственных «проторях», казаки и промышленники рассчитывали обогатиться на новых землях. В противном случае становится совершенно непонятно, во имя чего многие из них добровольно отправлялись в неведомые земли, почему даже служилые люди, несмотря на свое небольшое жалованье⁷, которое к тому же постоянно задерживалось, а то и вовсе не выдавалось, несмотря на «нужи и великие тяготы», раны и увечья, голод и болезни, «великие долги» (о которых неизменно сообщали в своих челобитных), продолжали не только тянуть служебную лямку, но вновь и вновь охотно уходили в дальние походы. Кого-то, конечно, могли манить слава первооткрывателя и служебная карьера, но большинство шло все же ради сугубо меркантильных интересов.

Наиболее легким способом быстрого обогащения являлось, естественно, получение от аборигенов того, что в глазах русских имело ценность, прежде всего пушнины. Взять это можно было путем товарообмена или грабежа. Но количество товаров было ограничено. Известный якутский историк Ф.Г. Сафронов, проанализировав данные якутской таможенной книги за 1650 год, пришел к выводу, что даже промышленные люди, отправляясь на промыслы, брали с собой весьма незначительные запасы «русских изделий», которые в основном уходили на собственные нужды, а торговать они могли только остатками. По его мнению, «нет оснований переоценивать, как это делают многие исследователи, значение торговой деятельности торговых и промышленных людей в глухой периферии, в районах промыслов. Торговля там всегда являлась привязкой к главному звену: промыслам соболя»⁸.

Землепроходцы тем более не могли превращать свой отряд в торговый караван. Им и так приходилось брать с собой достаточное количество вооружения, боеприпасов и продовольствия. Дополнительный же груз привел бы к потере маневренности, что было весьма нежелательно в

условиях, когда двигаться приходилось по неизвестной и труднопроходимой территории. Поэтому неизбежно русские обращались к другому способу, чтобы «выбить» из аборигенов все, что представляло ценность, причем в таком количестве, которое позволило бы не только собрать ясак (продемонстрировав тем самым свою заботу о «государеве интересе»), но и пополнить собственный карман, чтобы рассчитаться с долгами и получить прибыль. И было уже неважно, грабили они с желанием или без него. У них просто не было иного выхода: с долгами надо было расплачиваться. Конечно, кроме этого, они могли заниматься и занимались пушным промыслом. Скорее всего, за счет него на первых порах русские получали пушнину, поскольку у самих аборигенов охота на пушных зверей не играла заметной роли в хозяйстве. Но здесь вступал в силу другой фактор.

У землепроходцев, которые, как правило, несколько лет находились в походе и были оторваны от своих баз, со временем возникала потребность в продуктах питания, одежде, средствах передвижения, во всем, что могло спасти их от холода, голода и физического истощения. А взять все это опять же легче всего было у аборигенов. Значит, возникал еще один мотив, толкавший казаков и промышленников к грабежам. В качестве иллюстраций приведем действия двух знаменитых землепроходцев – Семена Ивановича Дежнева и Владимира Владимировича Атласова.

Дежнев и горстка его казаков, едва спасшиеся при кораблекрушении южнее Чукотки, выйдя в 1649 году на реку Анадырь, в первое время, просто чтобы выжить, добывали средства жизнеобеспечения у обитавших там юкагиров. Сам Дежнев по этому поводу позднее рассказывал: *«нехотя голодную смертью помереть, ходил я... в поход к анаульским и к ходынским не к ясачным мужиком»*⁹. Бывший на Анадыре служилый человек Митька Васильев сообщил в 1652 году в своей челобитной, что в 1651-м *«Семен Дежнев и Микитка Семенов Горбун с товарищи и промышленные люди все в поход ходили и в походе анаулов погромили. И в дуване у них в разводе на человека было корму на сорок человек по полутора пуда жиру говяже, по семи пуд на человека было мяса сохово, да по тринадцати пуд оленя мяса туш на человека»*¹⁰. Прибывший на смену Дежневу Ю. Селиверстов в отписке (не ранее 1654 года) писал: *«на той же реке Анадыре на низ, ниже их зимовья, жили анаули иноземцы неясачные люди и во 159 году [1650/51] оне, Семен Дежнев с товарищи, тех иноземцев анаулей прибили и в иные годы тож разбивали для своих бездельных нажитков и ясырей»*¹¹.

Атласов и его «полчане» во время похода 1697–1699 годов на Камчатку «питались... оленями, которые *полонили* они у иноземцев, и рыбою, которую они *имали* у иноземцев, а иную рыбу сами ловили сетью». Эти реквизиции подчас проводились с применением силы, поскольку камчатские коряки и ительмены отказывались давать «ясак» неведомым пришельцам. Как поведал сам Атласов в своих «сказках» по поводу одной такой «реквизиции»: «Они, коряки, учинились непослушны и пошли от них на побег, и он, Володимер, с товарищи их постигли, и они, иноземцы, стали с ними биться, и божиею милостию и государевым счастьем их, коряк, многих побили, *и дома их и олени взяли, и тем питались...*»¹²

Надо думать, что Дежнев и Атласов не были оригинальны в своих действиях. До своих экспедиций они уже немало лет прослужили на северо-востоке Сибири, участвовали во многих походах на «иноземцев», имели большой опыт общения с ними, и, став руководителями, использовали традиционные и общепринятые методы жизнеобеспечения своих отрядов за их счет.

Ситуация усугубилась после того, как на присоединяемых территориях возникли русские остроги и зимовья. Промышленные и служилые люди пребывали там временно. Первые – пока не обеспечат себя достаточной добычей, вторые – на период «служебной командировки», обычно год-два. К началу XVIII века численность промышленников вследствие оскудения промыслов фактически упала до нуля и почти единственными представителями русского населения остались служилые люди. А они в подавляющем большинстве были «временщиками». Соответственно, и психология у них была «временщиков».

С момента объясачивания территории и установления на ней русской власти в силу вступал такой немаловажный фактор, как назначение якутскими воеводами служилых людей за взятки на должности, связанные с доходами в государственную казну, прежде всего приказчиками острогов и зимовий и ясачными сборщиками. Эти взятки именовались «окуп» и во второй половине XVII века превратились в Якутском уезде в хорошо отлаженную и фактически узаконенную местными властями систему.

Государев сыщик Федор Охлопков, посланный в 1665–1666 годах в Восточную Сибирь «всех воевод... неправды и плутости сыскать», выявил, что за назначение ясачными сборщиками якутские воеводы брали с приказчиков по 300 рублей, подьячих и толмачей – по 40 рублей, с рядовых казаков – по 6 рублей. Еще более безотрадную картину обнаружил другой государев сыщик Федор Качанов, приехавший в Якутск в конце XVII века. Оказалось, что взятки за посылки в ясачные волости поднялись до

астрономических сумм: от 100 до 1200 рублей. Чем доходнее была «ясачная волость», тем выше был «окуп» (например, Ю. Крыжановский за назначение приказчиком в Охотск дал воеводе А. Барнешлеву 1000 рублей). По подсчетам сыщика, якутские воеводы во второй половине 1660-х годов одного «окупу» от ясачных сборщиков получали до 6–7 тысяч рублей ежегодно, «оприч того, что из волостей приезжают и приносят собольми и иною мягкою рухлядью». За 1694–1699 годы якутские воеводы в общей сложности получили только с приказчиков, по разным подсчетам, от 14 до 17 тысяч рублей¹³.

Якутский воевода Яков Агеевич Елчин в 1713–1715 годах получал взятки за назначение на службу в остроги и зимовья с приказчиков по 300 рублей, толмачей – по 200 рублей, подьячих – по 100 рублей и с прочих служилых – по 50 рублей. Следствие над ним установило, что в эти годы он взял со служилых людей «окупу» по меньшей мере 2356 рублей¹⁴. Другой управитель Якутска (с 1716-го по 1720-й), ландрат И.В. Ракитин, за отпуск на сбор ясака получил со служилых людей, по подсчетам следственной комиссии, 10 815 рублей. По данным этой комиссии, якутский ландрат, дворяне, дети боярские и другие служилые (всего 117 человек) оказались виновными в грабежах и взятках у ясачных огромного количества пушнины (одних только соболей 10 тысяч штук), скота, денег (1344 рублей)¹⁵.

Говоря об общих суммах взяток, выявленных следственными комиссиями, надо, конечно, иметь в виду, что их реальный объем был больше, поскольку многие служилые или вообще не признавались в даче «окупа», или занижали его величину, так как они понимали, что им придется объяснять следователям, откуда взялись такие деньги. Ведь жалование служилых никак не могло покрыть расходы на взятки (особенно, если учесть, что им надо было обеспечивать собственное существование). В конце XVII – начале XVIII века рядовой казак получал в год 5–7 рублей, 5–7 четвертей ржи, 2–6 четвертей овса, 1,5–2,5 пуда соли, командный состав (десятники, пятидесятники, сотники, атаманы) – 5–10 рублей, 6–8 четвертей ржи, 2–6 четвертей овса, 1,5–2,5 пуда соли, дети боярские и дворяне – 6–20 рублей, 5–14 четвертей ржи, 5–12 четвертей овса, 2-ю пуда соли¹⁶. К тому же это жалование хронически не выплачивалось в полном объеме и из него вычитали большие суммы за оружие, выдаваемое из казны¹⁷.

Естественно, что «окуп» воеводам служилые покрывали за счет поборов с ясачных людей. «Быв у одного ясашного збору в иноземческих волостях, возвращали оную свою дачу с иноземцев», – констатировали

государевы сыщики. Следствия над якутскими воеводами показали, что грабеж иноземцев со стороны служилых людей имел массовый характер и огромные масштабы¹⁸. Таким образом, получалось, что якутская администрация, широко практикуя систему «окупов», толкала служилых на ограбление иноземцев и при этом фактически узаконивала грабеж, покровительствуя тем, кто хотел и умел «делиться» добычей. «Сами воровали и вора́м потакали» – говорили якутские служилые про своих воевод¹⁹.

На «вновь приисканных землях» отряды служилых и промышленников попадали в тяжелейшие условия. При отсутствии регулярного снабжения продовольствием (прежде всего хлебом), орудиями охоты и рыболовства, жизнь на Анадыре, Охотском побережье и Камчатке была исключительно дорогой и трудной. Заняться здесь земледелием, которое могло стать более-менее стабильным источником продовольствия, из-за природно-климатических условий было невозможно. Охота и рыболовство в больших масштабах требовали соответствующего снаряжения, которого или не было вовсе, или не хватало. В результате служилые и промышленные люди часто терпели нехватку самого необходимого, голодали, питались нередко «заморной рыбой» (выбросившейся на берег), древесной корой, кореньями, болели цингой и т. п. Примеров тому можно привести множество.

Но прокормиться худо-бедно все же можно было за счет охоты, рыбалки и «подножного корма» (грибов, ягод, съедобных растений). Однако вернуть затраченные на «окуп» и поход средства, причем с «прибытком», можно было только за счет чего-то ценного. Повезло тем, кому удалось найти на побережье залежи моржовой кости. На этом поправили свое благосостояние С. Дежнев и первые анадырские казаки. Но «заморный зуб» был далеко не везде, да и в Анадырском лимане его выбрали достаточно быстро. Поэтому оставался один источник доходов – пушнина. Ее можно было добывать самим, что на первых порах, как отмечалось выше, русские и делали. Но по мере того, как объясаченное население принуждалось к массовой добыче пушного зверя, легче было, не затрачивая собственных времени и средств, прикрываясь сбором ясака, изымать значительную часть пушнины в свою пользу.

На этом поприще у служилых и промышленных людей, шедших на северо-восток, за плечами был уже немалый опыт предшественников. Вся предыдущая история присоединения Сибири отмечена многочисленными фактами «воровства», когда русские, используя свое превосходство в силе, грабили и обирали аборигенов²⁰. Причем, чем дальше от центра и

правительственного контроля, тем больший размах приобретал грабеж. О «чинении сумнения, тесноты и смуты» первыми отрядами служилых людей «новым ясачным людям» в Якутии сообщали в Москву сибирские воеводы – тобольский, мангазейский, енисейский²¹. Уже в 1638 году правительство в своем наказе первым якутским воеводам с горечью констатировало, что служилые и промышленные люди, «пристав под которою землицею приманивали тех земель людей торговать, и имали у них жон и детей, и животы их и скот грабили, и насилства им чинили многие, и от государевы высокие руки тех диких людей отгонили, а сами обогатели многим богатством, а государю приносили от того многого своего богатства малое»²².

Москва пыталась бороться с этим явлением и неизменно напоминала сибирским воеводам о необходимости прекратить грабежи и лихоимства²³, однако толку от неоднократных указов не было никакого. За столетие продвижения по Сибири служилые и промышленные люди отработали механизм и систему злоупотреблений.

На первых порах, когда шло объясачивание, это был захват военных трофеев и пленных (ясырь), которых превращали в холопов. Жаждающие легкой добычи казаки и промышленники подчас сознательно не стремились к мирному исходу встречи с аборигенами, который ограничил бы возможности их грабежа. Знакомство с многочисленными фактами вооруженных столкновений приводит к мысли, что русские далеко не всегда были заинтересованы в мирных отношениях даже с уже объясаченными иноземцами и нередко провоцировали их на «измену», которая давала повод все для того же грабежа. Бывало и так, что служилые сначала совершали разбойничий налет на ясачных, а затем обвиняли их в якобы готовящейся «измене» и нежелании платить ясак. На подобную тактику землепроходцев уже указывалось в литературе²⁴.

Редко, но случались и обратные ситуации, когда землепроходцы, убедившись в том, что с иноземцев взять нечего, прекращали попытки их объясачивания. На это исследователи как-то не обращали внимания, хотя подобные факты достаточно показательны.

Так, Атласов напал в 1698 году на «курильских мужиков 6 острогов», взял штурмом один из них, «а иным острожкам не приступали, потому что у них *никакова живота нет и в ясак взять нечего*»²⁵. Другой пример. В 1711 году группа камчатских казаков под руководством Д. Анциферова и И. Козыревского отправилась из Большерецкого острога на Курильские острова. По сообщению Козыревского, казаки на первом острове Шумшу

имели «крепкий» бой с «курильскими мужиками», которые якобы отказались платить ясак. Убив десять туземцев и не понеся никаких потерь, казаки с огорчением обнаружили, что «на том острове соболей и лисиц не живет и бобрового промыслу и привалу не бывает...», т. е. они остались без добычи. На втором острове, где туземцы также отказались идти под «высокую государеву руку», казаки даже не стали вступать с ними в сражение, если верить Козыревскому, «за малолюдством» и ушли восвояси. Правда, позднее, в 1712 году, бывший в этой экспедиции казак Григорий Переломов сообщил, что Анциферов и Козыревский о втором острове показали ложно, поскольку там они не были²⁶. В данном случае для нас не важно, были ли казаки на втором острове или нет. Примечательно то, что они отказались от дальнейшего подчинения курильцев и сделали это, поняв, что затраченные усилия ничем не оправдываются, поскольку у курильцев не было ничего, представлявшего интерес для казаков. Апелляция Козыревского к «малолюдству» вряд ли достойна внимания, так как на первом острове этот фактор не остановил казаков.

По мере объясачивания и «умиротворения» иноземцев в ход шли и другие приемы. Служилые люди, пользуясь отсутствием правильного надзора за их действиями, выстраивали свои официальные и частные отношения с аборигенами на основе собственной выгоды и наживы. Не расписывая подробно многочисленные злоупотребления и ухищрения, к которым они прибегали, вычленим наиболее типичные и самые распространенные «лихоимства»²⁷.

В первую очередь, широкое поле для разного рода злоупотреблений открывал сбор ясака в государственную казну (он давал и законное прикрытие). Именно поэтому в лихоимстве прежде всего упражнялись представители местного административного аппарата – приказчики и ясачные сборщики. Они могли просто «накинуть» к ясачному окладу несколько соболей «для своей бездельной корысти», подчас взимая ясак в двойном и тройном размере против оклада, могли низко оценить принесенную иноземцами в ясак пушнину, заставляя их тем самым сдавать больше и забирая излишки себе, могли заменить «лучшие» меха, сданные в ясак, своими «худыми» и, наконец, широко практиковали вымогательство «подарков» и «гостинцев» в виде пушнины, продуктов питания, одежды. В последнем случае казаки захватывали в заложники близких родственников ясачноплательщика (жен и детей) и охотно прибегали к мерам физического воздействия: батогамы выбивали «подарки».

Во-вторых, для обеспечения собственного существования и новых походов русские прибегали к реквизиции у аборигенов всего необходимого: продуктов питания, одежды, средств передвижения. Аборигены должны были поставлять и «корма» для содержания захваченных у них аманатов. Притом, если ясачный сбор, по крайней мере величина ясачного оклада, хоть как-то регламентировался официально, то эти реквизиции абсолютно не нормировались и казаки «по праву сильного» забирали столько, сколько хотели. В частности, сбор аманатского корма превращался в еще одно средство вымогательства. В конце 1730-х годов Иркутская провинциальная канцелярия по поводу содержания аманатов на Камчатке, в частности, отмечала, что «из того зборного аманатского корму посланные зборщики и служилые люди про себя употребляют, а аманатом разве малое дело юколы ради пропитания дают, а больши питаются, собирая под окнами милостиною, и хуже скота содержат, что немалое озлобление такому дикому народу», «а с курильских народов и з островов первого и второго и третьего, которые прилежат к японской стороне, те зборщики и служилые люди вместо таковых аманацких кормов берут с каждого ясащного по камчацкому бобру..., а взятые грабежом те розделяют по себе»²⁸.

Возможность для наживы предоставляла и торговля²⁹. Мало того, что русские несоразмерно завышали стоимость казенных и собственных товаров, они еще и навязывали их силой, «торгуя», к тому же, в нарушение указов, до ясачного сбора. Иноземцы, будучи не в состоянии расплатиться, становились должниками, и за неуплату долга русские забирали у них жен и детей, а то и самого должника превращали в холопа. Главным, да фактически единственным товаром, который скупали русские, была пушнина, поскольку ничего другого, представлявшего ценность для дальнейшей перепродажи, у аборигенов просто не было.

Особо стоит остановиться на таком распространенном явлении, как похолопление «иноземцев». Его источниками, как отмечено, были плен (ясырь) и долговые обязательства. Наибольшие масштабы оно приняло на Камчатке. Г.В. Стеллер писал: «У каждого казака было по меньшей мере 15–20 рабов, а у некоторых даже от 50 до 60. Этих рабов они проигрывали в кабаке в карты, и случалось, что рабыня в течение одного вечера переходила к трем или четырем хозяевам, причем каждый, кто выигрывал, ее насиловал. Таких рабынь казаки выменивали также на собак»³⁰. Ему вторил С.П. Крашенинников: «Из острожков покоренных силою брали они довольное число в полон женского полу и малолетних, которых разделяя по себе владели ими как холопами»³¹, добавляя в другом месте: «Походы

служивым не бескорыстны бывали, ибо они, побив мужиков, жен их и детей брали к себе в холопство, отчего до розыску бывшего 1734 и 1735 году у каждого служивого человека по 10, а у богатых человек и по 40 холопей, по их ясырей было, им покупать и продавать и пропивать и в карты проигрывать их вольно было»³². Данные I переписи 1724 года показывают, что в Верхнекамчатском остроге только у 27 разночинцев числился юг холоп, в Большерецке у 34 разночинцев – 108 холопов (для сравнения: в Анадырском остроге у шести разночинцев было 17 холопов)³³. И это без учета собственно служилых людей, у которых холопов было явно больше.

Возможность иметь значительное число холопов приводила к тому, что холоповладельцы – казаки, промышленники, разночинцы – предпочитали фактически жить за их счет. «Несчастные рабы должны были исполнять всякую работу, и ни один казак решительно не ударял пальцем о палец, а только играл в карты, пьянствовал, объезжал от поры до времени свой округ для сбора долгов или шел на войну» (Г.В. Стеллер)³⁴. «Оные холопы должны были стараться о всем потребном к содержанию, а они, как господа, довольствовались готовым, ни за какие труды не принимаясь... жили они как дворяне за холопами» (С.П. Крашенинников)³⁵. Эти замечания двух наблюдательных современников наводят на мысль, что на Камчатке был насажден худший из известных вариантов тогдашних общественных отношений – холопство, причем в самых жестких, фактически рабских формах. Это, конечно, имело негативные последствия, и не только потому, что в корне разрушало социально-экономическую структуру ительменского общества, но и потому, что заставляло русско-ительменские отношения «вращаться по замкнутому кругу». Служилые и промышленные люди, оказавшись на Камчатке, выстраивали свое жизнеобеспечение за счет труда холопов-ительменов и, соответственно, не имели потребностей в создании собственных хозяйств. Отсутствие хозяйства давало казакам массу свободного времени, которое они проводили в попойках и картежной игре, в результате чего пропивали и проигрывали все имущество (в том числе и холопов)³⁶. Когда это происходило, казаки отправлялись на захват новой добычи и военнопленных. А далее все повторялось.

И тут мы выходим на очень важный вопрос: только ли внешние обстоятельства (потребности жизнеобеспечения и обогащения) детерминировали действия землепроходцев или же их поведение зависело также от их морального облика и менталитета? Данная проблема никогда

всерьез не занимала исследователей присоединения Сибири. Биографии отдельных «пионеров» «сибирского взятия» лишь в малой степени обозначают контуры проблемы. К тому же, написанные в рамках концепции «преимущественно мирного присоединения Сибири», они старательно облагораживают облик «героев», выводя за скобки их негативные черты.

Разумеется, проследить жизненный путь и дать оценку нравственного облика каждого из тех, кто отправлялся «встречь солнцу», невозможно. Да и вряд ли нужна такая подробная конкретизация. Известные факты вполне позволяют и без этого дать обобщенную характеристику сибирских «конквистадоров», в нашем случае – тех, кто действовал на крайнем северо-востоке Сибири.

Уже исходя из того, что в отрядах землепроходцев преобладали до известного момента «добровольцы», можно утверждать, что это были люди далеко не спокойные по своему характеру, достаточно смелые, самостоятельные, решительные и склонные к авантюризму. Когда поток «добровольцев» стал иссякать, к походам, сбору ясака и вообще к несению службы продолжали привлекаться промышленники и казачьи родственники, т. е. люди, формально не состоящие на службе, а значит, не связанные дисциплиной. Да и основная «ударная сила» присоединения – служилые люди – отнюдь не были носителями высокой нравственности и добропорядочности.

Якутский гарнизон до 1680-х годов и, соответственно, отряды землепроходцев в значительном количестве пополнялись людьми, мало склонными к дисциплине и порядку. Согласно данным Ф.Г. Сафронова, в состав якутских служилых людей в 1640-1670-х годах было поверстано 378 человек, из них 129 (одна треть!) оказались ссыльными, 118 (еще треть!) – промышленными и гулящими людьми³⁷. То есть их в значительной степени можно отнести к маргинальным слоям тогдашнего российского общества, так называемой вольнице. К тому же надо иметь в виду, что среди ссыльных были далеко не только «борцы против феодального гнета» и военнопленные, но и обычные уголовники – воры, разбойники, насильники.

Число этих маргиналов среди якутских казаков увеличивалось в результате широко практиковавшегося наемничества, когда определенный по очереди на службу в дальние остроги и зимовья казак, не только из Якутска, но и из других сибирских городов, нанимал вместо себя другого казака, чаще всего – того же гулящего человека³⁸. Это и понятно:

«домовитый» служилый человек, обремененный хозяйством и семьей, предпочитал стабильность и постоянное место жительства. За «журавлем в небе» гнались в подавляющем большинстве люди, ничего не имевшие за душой – голытьба «без кола и двора». В частности, Г.А. Леонтьева указывала, что дважды, в 1701 и 1706 годах, в отряд Атласова, комплектовавшийся в Сибири для посылки на Камчатку, попадали люди с сомнительной репутацией, в том числе уголовники³⁹.

Подымаясь в походы на своем «коште», оторванные по несколько лет от баз снабжения и вышестоящего начальства, находясь на неизвестной или еще мало обследованной территории, отряды землепроходцев и гарнизоны новопостроенных острогов и зимовий, в чьем составе были люди, отличавшиеся своеволием и нередко буйным нравом, были полностью предоставлены сами себе. К тому же, как уже давно подмечено историками, среди сибирских служилых людей были сильны традиции казачьего и вообще «мирского» самоуправления⁴⁰. Как писал Н.И. Никитин, «внутренняя организация казачьих ватаг складывалась в том виде, какой был наиболее целесообразен для выполнения поставленных задач и вообще для выживания в суровых, экстремальных условиях. Она являла собой нередко причудливую смесь официальных и устанавливаемых самими казаками и диктуемых жизнью порядков»⁴¹. С одной стороны, во главе «войска» (именно так называли казаки свой отряд независимо от его численности) стоял представитель воеводской администрации – приказчик, с другой стороны, войско оказывало или стремилось оказывать влияние на его действия своим советом. Добыча в соответствии с нормами общежития вольного казачества должна была поступать в общий «котел» («дуван») и делиться на пай («дуваниться») ⁴². Это, соответственно, приводило к круговой поруке.

В этом отношении, в частности, показателен инцидент, произошедший в 1718 году на Камчатке. Служилый человек Федор Балдаков, обиженный тем, что его отстранили от сбора ясака, подал «выборным судейкам» Нижнекамчатского острога Кузьме Вежливцову и Алексею Колычеву челобитную с изложением «лихоимств» ясачного сборщика Степана Саблина. «Судейки», зависимые от казаков, избравших их на «приказ», собрали «круг» и зачитали челобитную Балдакова вслух «всенародно». При этом по поводу обвинений в «лихоимствах» они заявили: *«Мы де и все так делаем сами»*, – и отказались начать следствие⁴³.

Подобная «войсковая» организация вкупе с преобладанием

анархического элемента приводили к тому, что действовавшие на северо-востоке Сибири отряды напоминали собой ватаги вольных казаков, отправившихся в поход за «зипунами». Во время первоначального «присоединения» новых земель самостоятельность землепроходцев доходила до того, что они рассматривали объясаченные ими территории как свои «вотчины», не допуская на них конкурентов из других гарнизонов, в результате чего случались даже вооруженные столкновения между разными отрядами («и в том де меж себя у служилых людей бывает ссора великая, а ясачным людям налога»)⁴⁴. Частыми были казачьи волнения, бунты и неповиновение властям и командирам, сопровождавшиеся распрями среди самих казаков из-за дележа добычи. Изредка случались ограбления казаками торговых и промышленных людей⁴⁵.

Самым ярким всплеском казачьей самостоятельности в данном регионе стал бунт казаков на Камчатке в январе – марте 1711 года. Это событие, упоминаемое во многих работах, до сих пор остается неизученным, без должной и развернутой оценки⁴⁶. Не вникая в подробности и обстоятельства бунта (что требует отдельного анализа), я лишь обозначу его главные причины: во-первых, столкновение интересов казачьей вольницы со стремлением якутских властей руками приказчиков навести порядок и, во-вторых, столкновение норм казачьего общежития («войсковых» традиций) с «самовластьем» приказчиков. Последние вели себя как царьки и в отношениях с подчиненными предпочитали силовые методы воздействия, злоупотребляли властью, попирали важнейшее право казачьего войска – на «справедливый» раздел военной добычи. Почти все награбленное у ительменов они забирали себе. Как жаловались сами казаки, приказчики «чинили... обиды и налоги великия для своих бездельных корыстей, к нам, рабам твоим, всячески приметывались, кнутъем и батоги били не по вине, на смерть, без розыску». Возмущение казаков закончилось тем, что они убили трех приказчиков, присланных из Якутска (В. Атласова, О. Липина, П. Чирикова), «раздували» их имущество и провозгласили выборное казачье самоуправление во главе с атаманом Данилой Анциферовым и есаулом Иваном Козыревским.

После этого бунта камчатские казаки волновались еще несколько раз. Осенью-зимой 1711 года они намеревались убить нового приказчика В. Савостьянова. В 1712 году закащик Верхнекамчатского острога казак Константин Кыргызов со своими подручными, 15 служилыми и промышленными людьми, захватил Нижнекамчатский острог, арестовав его закащика Федора Ярыгина и ограбив некоторых нижнекамчатских

жителей, а заодно и местных ительменов. Затем он отказался передать власть прибывшему на Камчатку приказчику В. Колесову. В свою очередь Ярыгин, освободившись из тюрьмы, подобрав себе 18 «молодцов», навел грабежами ужас на Верхнекамчатский острог⁴⁷. В 1715 году казаками был смещен и посажен под арест приказчик А. Петриловский, а в 1719-м – приказчик В. Кочанов. В 1720 году вновь наблюдалось сильное брожение в камчатских гарнизонах, и очередной приказчик М. Лукашевский в отчаянии доносил вышестоящим властям, что если не принять быстрых мер по замене распоясавшихся казаков другими, то Камчатке грозит безвластие, беспорядки и «в службе государевой остановка». При этом в ходе каждого бунта и волнения между самими служилыми и промышленными людьми, в зависимости от того, какую сторону они принимали, случались «разборки» и драки с поножовщиной⁴⁸.

На этом поле буйной казачьей вольницы «вырастали» колоритные фигуры руководителей отдельных отрядов, ставших известными землепроходцами.

Так, пожалуй, самый деятельный и энергичный из них, Михаил Васильевич Стадухин, судя по его действиям, был достаточно жестким человеком и в отношениях с «коллегами» и «иноземцами» предпочитал силу. Еще до похода на Анадырь он конфликтовал с колымским приказчиком сыном боярским В. Власьевым, реквизируя без санкции «сверху» товары и суда у торговых людей на Колыме, не прочь был пограбить ясачных иноземцев («своею дуростью ходил на Анюю-реку и по той реке погромил ясачных мужиков, и те ясачные мужики... оголодали и не платили государеву ясаку»). Прибыв на Анадырь, вступил в конфликт с С. Моторой и С. Дежневым, в результате чего резко обострились отношения с юкагирами. Притом Стадухин совершал вооруженные нападения на тех юкагиров (анаулов), которых уже объясачил Дежнев, отбирал пушнину у своих «соперников» – Дежнева и Моторы, для получения информации не гнушался применять пытки к пленным («и он де, Мишка, их пытал, и они де с пытки в роспросе сказали...»). К слову сказать, между Стадухиным и Моторой была острая вражда. Последний еще на Колыме 6 февраля 1650 года пытался убить Стадухина, стреляя в него из лука⁴⁹.

Вероятно, так же решительно Стадухин действовал и в отношении коряков, когда с Анадыря прибыл на Охотское побережье. Бывшие в этом походе казаки позднее, в 1658 году, сообщали в своей челобитной, что поход сопровождался многочисленными вооруженными столкновениями с

иноземцами: «и раны от ыноземцов и увече приимали, ран по 5ти и по шти, и по юти на человеке... И многих, государь, побито нас, холопей твоих, на дорогах и на переходах, и на морском разбое, и на аманатцкой имке, и з голоду померло 37 человек»⁵⁰. Прибыв в 1657 году в Охотский острог, Стадухин своими действиями во многом инициировал выступление охотских казаков против местного целовальника Л. Мартемьянова. И дни свои он закончил в 1666-м в бою с ламутами на Янском хребте⁵¹.

Схожим поведением отличался и другой «командир», Юрий Селиверстов, который, прибыв на Анадырь в апреле 1654 года, даже не заходя в зимовье, сразу же напал без всякого повода на ясачных анаулов, ограбил их, поранив и побив до смерти несколько человек. Затем не смог поделить с Дежневым сферы влияния и конфликтовал с ним из-за моржовой корги⁵². Своевольным нравом и жаждой добычи обладал еще один землепроходец, анадырский приказчик в 1663–1666 годах, Иван Меркурьевич Рубец (Бакшеев), который за время своей службы на Анадыре и похода на Камчатку «скопил» «пожитков» ни много ни мало на 1050 рублей. Правда, новый приказчик Д. Катасанов «вымучил» их у него⁵³.

Еще один характерный пример – пятидесятник В.В. Атласов, человек несомненно умный и наблюдательный, прекрасно понимавший значение своего камчатского похода для интересов государства, отличавшийся решительностью, жесткостью и даже жестокостью, не лишенный страсти к наживе и своеволия. В литературе, правда, уже не раз предпринимались попытки облагородить образ этого «камчатского Ермака», представить его таким бескорыстным землепроходцем, который стремился на новые земли исключительно ради любопытства⁵⁴. Однако приводимые «адвокатами» Атласова аргументы нельзя признать убедительными. У него, как отмечал Б.П. Полевой, «прегрешений и достоинств было более чем предостаточно»⁵⁵, причем первые подчас преобладали над вторыми.

Еще будучи рядовым казаком, Атласов в 1688 году вместе с казаком М. Гребенщиковым и якутом Г. Бачюковым во время сбора ясачных недоимок избил и ограбил несколько якутов. В 1692 году он был одним из заводил выступления анадырских казаков против приказчика С. Чернышевского. В 1701 году в целях снабжения своего отряда ограбил на Верхней Тунгуске торговый караван купца Л. Добрынина, потворствовал своим «полчанам», которые пьяным разгулом и грабежами держали в страхе город Киренск. Позднее собственноручно зарубил казака Данилу Беляева, который обвинил его в утайке от казны чернобурой лисицы. Во время двух своих походов на Камчатку то умел находить общий язык с коряками и

ительменами, то применял против них крайние меры, пуская в ход оружие, своими «изгонями» вызвал восстание юкагиров в собственном отряде. Из первого похода он вывез своего «прибытку» 440 соболей, больше, чем собрал в ясачную казну. К концу повторного «приказного правления» на Камчатке, к 1707 году, сумел «накопить» 1235 соболей, 400 красных и 14 сиводущатых лисиц, 75 морских бобров и, кроме того, массу другой «мягкой рухляди» в виде одежды. Понятно, что приобрел он все это не законным способом, а путем поборов с ительменов и подчиненных казаков. Последние, не выдержав лихоимств и издевательств Атласова, и убили его в 1711 году⁵⁶. Вполне прав был М.И. Белов, который, характеризуя «камчатского Ермака», писал: «во время похода на Камчатку раскрылся со всей ясностью облик Атласова, сибирского казака – завоевателя, ясачного сборщика, своенравного, решительного и предприимчивого человека, смелого и не останавливающегося ни перед чем при достижении поставленной цели»⁵⁷.

Вообще приказчики, правившие в северо-восточных острогах, заслуживают особого рассказа. Редкий из них не отличался страстью к наживе, лихоимством и даже самодурством. Имея официальные полномочия, подкрепленные к тому же «окупом», и, соответственно, покровительством со стороны якутского воеводы, они вели себя как самовластные правители. Причем доставалось не только иноземцам, но и подчиненным казакам, у которых приказчики забирали себе часть их жалованья и вымогали «подарки», даже с применением мер физического воздействия. Очень часто за грань «приличия», даже по меркам того времени и тех мест, выходили «правители» камчатских острогов. На грабеже ительменов они сколачивали огромные состояния.

Уже Атласов собрал в собственный карман больше пушнины, чем в казенный. Сменивший его приказчик Петр Чириков занимался незаконной торговлей, присваивал собранную в ясак пушнину и, по словам казаков, «чинил ясачным иноземцом грабительство, обиды и налоги великие и раззорение не малое, рыбные кормы и зимняя припасы, сарану и кипрей, дворовым своим робятам велел отнимать без остатку, а лутчих которых ясачных иноземцов, он Петр, для своих бездельных корыстей кнутем и батоги бил не по вине на смерть»⁵⁸. Третий приказчик, Осип Миронов (Липин), «учал... в ясачную пору по иноземским острогам ездить из Верхняго до Нижнего Камчадальского острогу, и чинил он, Осип, в проезде своем ясачным иноземцом обиды и налоги великия, для своих корыстей к ним всячески приметывался, бил многих батоги на смерть, не по вине»⁵⁹.

У трех этих приказчиков восставшие казаки в 1711 году отобрали 5260 соболей, 1610 лисиц, 170 каланов (морских бобров) и 22 собольи шубы⁶⁰.

Прославился своим лихоимством и приказчик Алексей Петриловский, у которого после ареста обнаружили 5669 соболей, 1703 лисицы, 169 выдр, 297 каланов и, кроме того, огромное количество меховых лоскутов и меховой одежды (по другим данным, 5600 сорок соболей, 4400 лисиц, 500 каланов, 300 выдр, 18 лисьих шуб). Причем Петриловский не стеснялся в средствах: значительную часть этого богатства (на несколько тысяч рублей) он просто отобрал у известного землепроходца И. Козыревского; без всякого смущения выменял у коряков часть камчатского ясака, отбитого ими у отряда В. Колесова и И. Енисейского (присвоив его себе)⁶¹. С.П. Крашенинников писал, что Петриловский «по ненасытному своему лакомству не имел уже меры в граблении, хищении и мучительстве; редкой прожиточной человек мог избежать разорения по каким-нибудь его припадкам, а один служивой бедственным образом в вилах скончал и живот свой. Таким образом нагребил он в краткое время такое богатство, которое превосходило похищенную двугодовую ясашную казну со всей Камчатки збору убитых двух прикащиков...»⁶² Но и один из этих убитых приказчиков, Иван Енисейский, вывез с Камчатки собственной пушнины (без учета «мелочи») 6000 соболей, 1070 красных и 300 сиводущатых лисиц, 200 бобров⁶³. А.И. Козыревский, уже в скором времени после ограбления Петриловским, внес в монастырь при своем пострижении в монахи 1260 шкурок соболей и других пушных зверей⁶⁴. Другой приказчик В. Качанов, «будучи на приказе, чинил как русским, так и иноземцам великие обиды, с иноземцов брал в ясак одного соболя, а себе трех»⁶⁵.

Чтобы понять весь размах злоупотреблений, достаточно сравнить приведенные данные о «лакомствах» приказчиков с размером ясачного сбора с ительменов. В 1702–1720 годах с Камчатки было вывезено «государева» ясака: соболей – 33 896, лисиц всех видов – 10 714, бобров – 966, собольих хвостов – 17 639⁶⁶. Соответственно, в среднем в год вывозили около 1800 собольих шкурок, 560 – лисьих, 50 – бобровых, 930 – собольих хвостов. Приказчики же, которые «сидели» на приказе всего год-два, умудрялись собирать в свою пользу в несколько раз больше. Только упомянутые выше лица (Атласов, Чириков, Миронов, Петриловский, Козыревский, Енисейский) приобрели 18189 одних соболей, что составило 53,6 % от всего «государева» «соболиного» ясака за 19 лет. Как тут не воскликнуть вслед за историком XIX века Д. Садовниковым: «чтобы так нажиться, надо было просто разбойничать»⁶⁷. При этом хищения далеко не

всех приказчиков стали известны. К тому же надо учитывать, что немалое количество пушнины расходилось по рукам рядовых служилых людей.

Бывало и так, что действия приказчиков перехлестывали через край даже по меркам того времени. Так, прибывший в 1713 году к Охотскому острогу Иван Сорокоумов, назначенный руководителем морской экспедиции для поиска пути на Камчатку, ни с того ни с сего (будучи, видимо, в сильном подпитии) приказал обстрелять острог из пушки и фактически взял его штурмом. После этого, забыв о цели своего назначения, предался пьянству и грабежам. Якутским властям пришлось арестовать незадачливого морехода, и Сорокоумов окончил свои дни в тюрьме⁶⁸.

Говоря о «лихоимствах» приказчиков, ясачных сборщиков и вообще землепроходцев, надо иметь в виду, что их характер, образ мыслей и действий вполне соответствовали времени. Господствующие социальные отношения и правовые нормы позволяли владение людьми и их использование в своих интересах, уровень образованности редко подымался выше элементарной грамотности, понятий о гуманизме и ценности человеческой жизни не было и в помине, нормы христианской морали попирались даже священниками, в обыденной жизни официальная законность отступала перед сложившимися традициями.

К тому же в Сибири, с ее повышенной социальной мобильностью, открывались большие возможности для карьеры, когда при удачном стечении обстоятельств рядовой казак мог существенно продвинуться в чинах и обеспечить свое материальное благополучие. Хороший шанс для этого давали походы в новые земли и объясачивание иноземцев. Рассказы об удачных походах, передаваемые из уст в уста, привлекали новых «рекрутов» в отряды землепроходцев. В чести были храбрость, удачливость, инициативность, в результате чего «пушная лихорадка» дополнялась «духом завоеваний».

Подытоживая вышеизложенное, приходится констатировать, что обобщенный портрет русских землепроходцев, действовавших на крайнем северо-востоке Сибири, получился далеко не идиллическим. Большинство тех, кто шли «встречь солнцу», первыми вступали в контакты с иноземцами и устанавливали с ними отношения, подчиняя русской власти, были людьми весьма суровыми, совершенно не склонными к сентиментальности и добродушию. Но еще важнее то обстоятельство, что, будучи в значительной части социальными маргиналами, они уже в силу своего характера были склонны к девиантному поведению и, оказавшись в сложных объективных условиях (плохое материальное снабжение,

обремененность долгами и финансовыми обязательствами) и соответствующей обстановке (слабый контроль «сверху», враждебное окружение), без всяких колебаний вставали на стезю преступлений, прибегая к злоупотреблениям – «лихоимствам», «налогам» и «обидам». Как писал один из немногих исследователей русско-аборигенных отношений в данном регионе В.И. Огородников, «все эти люди обладали исключительной настойчивостью и твердою волей, отличались страстью к приключениям и проявляли полную неразборчивость в средствах и жадность к добыче: таковы были общие свойства сибирских землеискателей прежнего времени»⁶⁹.

Нетрудно догадаться, какие способы действий в отношении иноземцев предпочитали «землепроходцы» и «покорители». Если между собой они были далеки от любезности и в конфликтных ситуациях применяли оружие, то вряд ли иначе поступали с «чужими». Сами подвергаясь злоупотреблениям со стороны «власть имущих», они привносили такие же отношения силы в контакты с аборигенами. Уже упоминавшийся Д. Садовников верно подмечал, что казаки обращались с иноземцами так же, как с ними самими обращались «на Руси»⁷⁰.

Естественно, что с такими людьми было трудно выполнить правительственную установку на мирные способы взаимодействия с аборигенами («ласкою, а не жесточью»), тем более, что в случае сопротивления и отказа от дачи аманатов и ясака разрешалось применение к «немирным иноземцам» вооруженной силы: «А которые будет новых земель люди будут непослушны и ласкою их под государеву царскую высокую руку привести ни которыми мерами немочно... и на тех людей посылати им служилых людей от себя из острожку и войною их смирить ратным обычаем», используя при этом все доступные средства («чинить над ними военный поиск огненным и лучным боем»).

Конечно, случались и исключения, когда служилые люди и промышленники, присоединявшие крайний северо-восток Сибири, предпочитали решать проблемы мирным путем⁷¹. Однако они растворялись в массе тех, для кого цель оправдывала средства, и вынуждены были играть по общим правилам. В принципе можно говорить, что землепроходцы, действия которых в значительной мере были детерминированы совокупностью субъективных и объективных факторов, неизбежно выстраивали свои отношения с аборигенами по линии конфронтации.

Несомненно одно: надо избавляться от мифологизированного образа русских землепроходцев. Без этого нельзя в полном объеме понять все

обстоятельства и сам характер русского продвижения «встречь солнцу», поскольку совершенно очевидно, что «брали» Сибирь не абстрактные «социальные группы» и «государственные институты», а вполне конкретные люди с вполне определенными устремлениями, образом мысли и действий.

Примечания:

1 См. об этом: Зуев А.С. О характере присоединения Сибири к России (постановка проблемы) // Региональные процессы в Сибири в контексте российской и мировой истории. Новосибирск, 1998; Он же. Характер присоединения Сибири в новейшей отечественной историографии // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Новосибирск, 1999. Вып. 1; Он же. От завоевания к вхождению, или Как присоединяли Сибирь к России советские историки // Родина. 2000. № 5.

2 Обзоры зарубежной историографии присоединения Сибири к России см.: Чернавская В.Н. Англоязычная историография и вопросы открытия и освоения русского Дальнего Востока (XVII – первая половина XIX вв.) // Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII–XIX вв. Владивосток, 1995. Т. 2; Она же. Концепция «русской восточной экспансии» в англоязычной историографии Дальнего Востока России (XVII–XVIII вв.) // Вестник Дальневосточного отделения РАН. Владивосток. 1994. № 5–6; Дмитришин Б. Русская экспансия к Тихому океану, 1580–1700 гг.: историографический обзор // Краеведческий бюллетень / Южно-Сахалинский обл. краевед, музей. Южно-Сахалинск, 1995. № 2; Корчагин Ю.В. Русская колонизация и народы Севера в зарубежной историографии // Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции / Камчатский гос. пед. ин-т. Петропавловск-Камчатский, 1994. Ч. 1; Он же. Зарубежная историография вхождения северных народов в состав России // Из истории народов Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 2000.

3 Вот, например, что писали по этому поводу авторы академической «Истории Сибири»: «Путем тщательного анализа материала советские ученые установили, что военные столкновения между русскими служилыми и местными жителями, имевшие место в процессе присоединения Сибири, вызывались обычно позицией отдельных представителей местной родоплеменной верхушки, возмущением местного населения тяжестью феодального гнета или злоупотреблениями царской администрации, но не противодействием сибирских народов в целом установлению российского подданства» (История Сибири. Л., 1968. Т. 2. С.

18).

4 Надо заметить, что в условиях господства «мирной концепции» присоединения Сибири само присоединение стало изображаться как ряд последовательных «географических открытий», походы казаков и промышленников по Сибири стали представляться не как военные и промысловые предприятия с вполне определенными целями, а как географические экспедиции. Соответственно, историки старались не акцентировать внимание на фактах вооруженных столкновений. Особенно показательно в этом отношении описание событий, связанных с русским проникновением на Амур, в первую очередь похода Е.П. Хабарова. Разбойничий налет казаков и промышленников, приведший к запустению Даурской земли и массовому бегству местного населения, под пером историков 1960-1980-х гг. превратился в путешествие неугомонных и любознательных землепроходцев.

5 Сгруппировав рассыпанные в литературе, опубликованные в архивных источниках упоминания о русско-аборигенных столкновениях на северо-востоке Сибири, я составил соответствующую «Хронику», которую надеюсь в скором времени опубликовать.

6 Этнопсихологические аспекты русско-аборигенных отношений в период присоединения Сибири к России до сих пор являются совершенно неизученными, а сравнительно молодая российская этноконфликтология мало обращается к далекому прошлому, изучая, что вполне понятно, актуальные современные этнические конфликты.

7 Уже в 1647 г. якутские служилые люди в достаточно резкой форме подняли перед властями вопрос о нехватке жалованья, которое совершенно не соответствует характеру и тяжести службы на северо-восточной окраине. См.: *Иванов В.Н.* Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского государства. Новосибирск, 1999. С. 121.

8 *Сафронов Ф.Г.* Русские промыслы и торги на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX в. М., 1980. С. 92–94.

9 Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии: Сб. документов / Сост. Н.С. Орлова; под ред. А.В. Ефимова. М., 1951. С. 278.

10 *Вдовин И.С.* Очерки истории и этнографии чукчей. М.; Л., 1965. С. 106; здесь и далее курсив мой.

11 Там же. С. 106–107.

12 Сказки Владимира Атласова о путешествии на Камчатку // Записки русских путешественников XVI–XVII вв. М., 1988. С. 419, 423; См. также: *Русская тихоокеанская эпопея: Сб. док. / Сост. В.А. Дивин и др.* Хабаровск,

1979. С. 107; *Леонтьева Т.А.* Якутский казак Владимир Атласов – первопроходец земли Камчатки. М., 1997. С. 100–101.

13 См.: *Сафронов Ф.Г.* Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX в.: Управление, служилые люди, крестьяне, городское население. М., 1978. С. 89–90; *Федоров М.М.* Правовое положение народов Восточной Сибири (XVI – начало XIX в.). Якутск, 1978. С. 27; *Иванов В.Ф.* Русские письменные источники по истории Якутии XVIII – начала XIX в. Новосибирск, 1991. С. 58–59; *Александров В.А., Покровский Н.Н.* Власть и общество; Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 135–136; *Леонтьева Г.А.* Указ. соч. С. 22–23.

14 *Федоров М.М.* Указ. соч. С. 27; *Акишин М.О.* Полицейское государство и сибирское общество; Эпоха Петра Великого. Новосибирск, 1996. С. 180–181.

15 *Иванов В.Ф.* Русские письменные источники... С. 60–62; *Акишин М.О.* Указ. соч. С. 182.

16 *Сафронов Ф.Г.* Русские на Северо-Востоке Азии... С. 78, 79.

17 Например, к 1694 г. задолженность казны только перед якутскими казаками и только по денежным окладам составляла 8412 рубля 24 алтына 3,5 деньги (*Сафронов Ф.Г.* Русские на Северо-Востоке Азии... С. 83).

18 Обзор следственных дел о воеводских злоупотреблениях в Якутии см.; *Иванов В.Ф.* Русские письменные источники... С. 60–62, 91–116; *Акишин М.О.* Указ. соч. С. 179–182.

19 Колониальная политика Московского государства в Якутии XVII в. / Сб. док. под ред. Я.П. Алькора и Б.Д. Грекова. Л., 1936. С. 234.

20 *Огородников В.И.* Русская государственная власть и сибирские инородцы в XVI–XVIII вв. // Сб. трудов профессоров и преподавателей Иркутского ун-та. Иркутск, 1921. С. 90–97.

21 *Иванов В.Н.* Вхождение Северо-Востока Азии... С. 23, 37–39, 43–45, 64, 66; *Сафронов Ф.Г.* Русские на Северо-Востоке Азии... С. 25.

22 Русская историческая библиотека. СПб., 1875. Т. 2. № 213. С. 964. Приведенная фраза является дословным цитированием соответствующего места из «докладной записки» мангазейского воеводы А.Ф. Палицына 1633 г. (См.; *Иванов В.Н.* Вхождение Северо-Востока Азии... С. 64).

23 *Иванов В.Н.* Вхождение Северо-Востока Азии... С. 172, 173; *Огородников В.И.* Указ. соч. С. 94–97.

24 Якутия в XVII в.; Очерки. Якутск, 1953. С. 45, 284; *Гурвич И.С.* Этническая история Северо-Востока Сибири. М., 1966. С. 18, 19, 35; *Михайлова Е.А.* К вопросу об этно- и культурогенезе коренного населения крайнего Северо-Востока Азии // Сибирь; Древние этносы и их культуры.

СПб., 1996. С. 186–187; Туголуков В.А. Кто вы, юкагиры? М., 1979. С. 20.

25 Записки русских путешественников XVI–XVII вв.... С. 420.

26 Памятники сибирской истории. СПб., 1882. Кн. I. С. 462–463, 488–489; Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в XVIII веке / Сб. архив, материалов под ред. Я.П. Алькора и А.К. Дрезена. Л., 1935. С. 33–35, 194.

27 Наиболее подробно и впечатляюще описание казачьих лихоимств буквально по свежим следам дал Г.В. Стеллер (*Стеллер Г.В.* Описание земли Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1999. С. 136–139; *Он же.* Из Камчатки в Америку: Быт и нравы камчадалов в XVII в. Л., 1928. С. 18–20).

28 РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 481. Ч. 7. Л. 199–199 об.

29 См. также: *Сафронов Ф.Г.* Русские промыслы и торги... С. 99–101.

30 *Стеллер Г.В.* Описание Камчатки... С. 139.

31 *Крашенинников С.П.* Описание земли Камчатки. М.; Л., 1949. С. 505–506.

32 Там же. С. 753.

33 Колониальная политика царизма... С. 7–8.

34 *Стеллер Г.В.* Описание Камчатки... С. 139.

35 *Крашенинников С.П.* Указ. соч. С. 505–506.

36 *Стеллер Г.В.* Описание Камчатки... С. 137–138.

37 *Сафронов Ф.Г.* Ссылка в Восточную Сибирь в XVII веке. Якутск, 1967. С. 45–47; *Он же.* Русские на Северо-Востоке Азии... С. 64–65. Надо заметить, что центральные власти, выдерживая общую политику сословной замкнутости служилых людей, в отношении далекой якутской окраины проявляли колебания, то запрещая, то разрешая верстать в служилые сословия, гулящих, промышленных.

38 *Сафронов Ф.Г.* Русские на Северо-Востоке Азии... С. 59.

39 *Леонтьева Г.А.* Указ. соч. С. 142.

40 См.: *Александров В.А., Покровский Н.Н.* Указ. соч. С. 75–107; *Никитин Н.И.* Служилые люди в Западной Сибири XVII в. Новосибирск, 1988. С. 42–48; История казачества Азиатской России. Екатеринбург, 1995. Т. г. С. 44–45; *Акишин М.О.* Указ. соч. С. 12.

41 *Никитин Н.И.* Землепроходец Семен Дежнев и его время. М., 1999. С. 32.

42 Там же. С. 32–33.

43 РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. № 527. Д. 12. Л. 3. 06.-5.

44 *Матюнин Н.* О покорении казаками Якутской области и состоянии Якутского казачьего пешего полка // Памятная книжка Якутской области на 1871 г. СПб., 1877. С. 140, 142–144; Якутия в XVII в. С. 40, 44; *Белов*

М.И. Семен Дежнев. М., 1955. С. 18–19,25; Тураев В.А. И на той Улье-реке... Русский землепроходец И.Ю. Москвитин: правда, заблуждения, догадки. Хабаровск, 1990. С. 20–21; Иванов В.Н. Вхождение Северо-Востока Азии... С. 45; Бродников А.А. Алданские события 1639 г. (К вопросу о взаимоотношениях русских служилых людей и коренного населения Якутии в первой половине XVII в.) // Казаки Урала и Сибири в XVII–XX вв. Екатеринбург, 1993. С. 46–51.

45 Садовников Д. Наши землепроходцы. Рассказы о заселении Сибири (1581–1712). М., 1905. С. 140–141; Белов М.И. Семен Дежнев... С. 83–84; Сафронов Ф.Г. Ссылка в Восточную Сибирь... С. 63; Леонтьева Г.А. Указ. соч. С. 59.

46 Сведения о камчатском бунте 1711 г. разной степени полноты встречаются во многих работах, посвященных истории Камчатки и Сибири (С.П. Крашенинникова, Г. Спасского, А. Сгибнева, В.Л. Приклонского, Д. Садовникова, Н. Матюнина, В. Маргаритова, Б.П. Полевого, Г.А. Леонтьевой и др.), однако нет ни одного специального исследования о данном событии.

47 Памятники сибирской истории. Кн. I. С. 490, 501, 529–535; Кн. 2. С. 537; Крашенинников С.П. Указ. соч. С. 485; Сгибнев А. Исторический очерк главнейших событий в Камчатке с 1650 по 1856 г. // Морской сборник. 1869. Т. юг. № 4. С. 82, 83,84; Матюнин Н. Указ. соч. С. 163; Леонтьева Г.А. Указ. соч. С. 149, 150. В этой междоусобице закащиков вполне проглядывает борьба верхне– и нижнекамчатского гарнизонов за сферы влияния и ясачную территорию.

48 Памятники сибирской истории. Кн. I. С. 539; Кн. 2. С. 268–269; Крашенинников С.П. Указ. соч. С. 490, 745–746,758; Сгибнев А. Исторический очерк... С. 99; Матюнин Н. Указ. соч. С. 166; Маргаритов В. Камчатка и ее обитатели // Записки Приамурского отдела Императорского РГО. Хабаровск, 1899. Т. V. Вып. I. С. 14.

49 Открытия русских землепроходцев... С. 261, 263,266,275; Самойлов В.А. Семен Дежнев и его время. С приложением отписок и челобитных Семена Дежнева о его походах и открытиях. М., 1945. С. 73–75, 124–127,129; Белое М.И. Семен Дежнев... С. 83, 85–88; Никитин Н.И. Землепроходец Семен Дежнев... С.100, 102–107; Полевой Б.П. Новое об открытии Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1997. Ч. I. С. 70, 78.

50 Открытия русских землепроходцев... С. 267–269.

51 Белов М.И. Семен Дежнев... С. 111.

52 Самойлов В.А. Семен Дежнев... С. 78; Белов М.И. Семен Дежнев... С. 95–96; Никитин Н.И. Землепроходец Семен Дежнев... С. 118–119,121.

53 Полевой Б.П. Новое об открытии Камчатки. Петропавловск-Камчатский, 1997. Ч. 2. С. 19–22, 28.

54 См., например; Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. М., 1984. Т. 3. С. 76–78; Скалой В.Н. В. Атласов – первый исследователь Камчатки // Вопросы географии Сибири. Томск, 1953. Сб. 3. С. 268–269; Леонтьева Г.А. Указ. соч.

55 Полевой Б.П. Новое об открытии Камчатки... Ч. 2. С. 120.

56 Об Атласове накопилось уже достаточно большое количество литературы. См. основные работы; Спасский Г. Владимир Атласов, покоритель Камчатки (Эпизод из истории Камчатки) // Вестник Императорского Русского географического общества. СПб., 1858. Ч. 24. № 12. С. 157–172; Маргаритов В. Указ. соч. С. 5–12; Белов М.И. Новые данные о службах Владимира Атласова и первых походах русских на Камчатку // Летопись Севера. М., 1957. Т. 2. С. 89–106; Вахрин С. Покорители Великого океана: Очерки. Петропавловск-Камчатский, 1993. С. 33–38; Полевой Б.П. Новые биографические сведения о Владимире Атласове // Изв. АН СССР. Сер. географ. 1963. № 5. С. 90–92; Полевой Б.П. Новое о Владимире Атласове // Дальний Восток. Хабаровск, 1976. № 4. С. 130–135; Полевой Б.П. Новое об открытии Камчатки... Ч. 2. С. 68–120, 136–140; Леонтьева Г.А. Указ. соч.

57 Белов М.И. Новые данные о службах Владимира Атласова... С. 103.

58 Памятники сибирской истории. Кн. I. С. 443–445.

59 Там же. С. 447.

60 Там же. С. 450–451; Крашенинников С.П. Указ. соч. С. 483; Огрызко И.И. Очерки истории сближения коренного и русского населения Камчатки (конец XVII – начало XX веков). Л., 1973. С. 18.

61 Памятники сибирской истории. Кн. 2. С. 254; Крашенинников С.П. Указ. соч. С. 490, 758; Сгибнев А. Исторический очерк... С. 99; Маргаритов В. Указ. соч. С. 14; Садовников Д. Указ. соч. С. 159; Вахрин С. Покорители Великого океана... С. 43, 44; Леонтьева Г.А. Указ. соч. С. 151.

62 Крашенинников С.П. Указ. соч. С. 490.

63 Сгибнев А. Исторический очерк...; Вахрин С. Иван Козыревский // На суше и на море. 1990: Повести, рассказы, очерки, статьи. М., 1991. С. 380; Окунь С.Б. Очерки по истории колониальной политики царизма в Камчатском крае. Л., 1935. С. 18.

64 Окунь С.Б. Указ. соч. С. 18.

65 Крашенинников С.П. Указ. соч. С. 745, 758.

66 Подсчитано по: РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. № 481. Ч. 7. Л. 174–183.

67 Садовников Д. Указ. соч. С. 159.

68 *Сгибнев А.* Охотский порт с 1649 по 1852 г. // Морской сборник. 1869. Т. 105. № 11. Отдел «Неофициальный». С. 6; *Вус В.* Заветный край особой русской славы: Науч.-попул. очерк истории Охотска. Хабаровск, 1990. С. 27.

69 *Огородников В.И.* Указ. соч. С. 71.

70 *Садовников Д.* Указ. соч. С. 54–55.

71 К такому типу людей принадлежал, в частности, С. Дежнев. Известно, что еще до анадырской службы ему удавалось «умирять» впавших в «измену» якутов без применения силы, а в 1641 г., будучи на Оймяконе, он сумел не только «ласкою» взять ясак с местных якутов и тунгусов, но и установить с ними дружеские отношения, да такие, что, когда его отряд подвергся нападению «немирных» тунгусов и гибель была неминуема, только что объясаченные друзья пришли на помощь и помогли отбить нападение. Оказавшись на Анадыре Дежнев прибегал к «ратному бою» только в случае крайней необходимости, без значительных столкновений объясачил анадырских юкагиров и даже пытался защищать их от произвола со стороны Стадухина. И после Анадыря, продолжая службу в Якутии, он умело разрешал возникавшие конфликты с якутами и тунгусами, отговаривая их от «бунта» и «измены». См.: *Самойлов В.А.* Семен Дежнев... С. 60, 71, 73–74, 76–78; *Никитин Н.И.* Землепроходец Семен Дежнев... С. 44–45; *Белое М.И.* Семен Дежнев... С. 34, 109.

Анатолий Ремнев

Вдвинуть Россию в Сибирь: империя и русская колонизация второй половины XIX – начала XX века

Выступая 31 марта 1908 года в Государственной думе по поводу строительства Амурской железной дороги, глава правительства П.А. Столыпин подчеркнул, что она должна быть построена русскими людьми, которые не только проложат эту дорогу и поселятся вдоль нее, они выполняют гораздо большее – «они вдвинутся в край и вдвинут вместе с тем туда и Россию»¹.

Расширение империи на восток не ограничивалось только военно-политической экспансией, это был и сложный процесс превращения Сибири и Дальнего Востока в Россию. С установлением новых государственных границ имперская политика переходила в длительную фазу интеграции новых территорий и народов в единое политическое и социокультурное пространство. Это было не только военное закрепление за Российской империей новых территорий и народов восточнее Урала, крестьянское переселение и хозяйственное освоение сибирских земель, но и осмысление Сибири как земли русской. П.Н. Милюков в этой связи замечал: «Последний продукт колонизационного усилия России – ее первая колония – Сибирь стоит на границе того и другого»². Империя как бы вырастала из исторического процесса «собирания русских земель» и, как писал поэт Велимир Хлебников: «Вслед за отходом татарских тревог – это Русь пошла на восток»³.

Основным отличием Российской империи от западных мировых держав считалось то, что она представляет собой цельный территориальный монолит. Поэтому, как заметил Д. Дивен, «русскому колонисту было затруднительно ответить на вопрос, где, собственно, заканчивается Россия и начинается империя?»⁴. Для англичанина ответ на этот вопрос был очевиден, как только он садился на корабль и отплывал от берегов Туманного Альбиона. Тема расширяющегося «фронта» на нерусской окраине, помимо военных действий и организации управления, включала «конструктивные» аспекты российской колонизации: «Рождение новой социальной идентичности, этнических отношений, новых

ландшафтов, регионального хозяйства и материальной культуры»⁵. В этом заключалась не только географическая предопределенность отличия континентальной империи от заокеанских колоний европейских держав.

В российской имперской политике господствовал стереотип, что только та земля может считаться истинно русской, где прошел плуг русского пахаря. Крестьянская колонизация становилась важным компонентом имперской политики, а крестьянин – эффективным ее проводником. С XIX века крестьянское и казачье переселение на свободные земли почти целиком попадает под контроль государства, которое стремится подчинить его задачам имперского закрепления новых территорий. Главной движущей силой колонизации становится уже не «природная стихия» крестьянских побегов от государства, а само государство, которое направляет народные потоки, создает для русских переселенцев защитно-оградительную инфраструктуру, законодательно стимулирует и регулирует размещение русских населенных пунктов⁶. Крестьянская колонизация сознательно воспринимается как необходимое дополнение военной экспансии. «Вслед за военным занятием страны, – отмечал известный публицист Ф.М. Уманец, – должно идти занятие культурно-этнографическое. Русская соха и борона должны обязательно следовать за русскими знаменами и точно так же, как горы Кавказа и пески Средней Азии не остановили русского солдата, они не должны останавливать русского переселенца»⁷. Реализацию исторической миссии России – продвижение на восток – должна была, согласно Уманцу, происходить в равной мере посредством меча и орала.

Таким образом, важнейшую роль в строительстве империи должны были сыграть не столько военные и чиновники, сколько мирные крестьяне-переселенцы. Существовала своего рода народная санкция имперской экспансии, которая оправдывалась приращением пахотной земли с последующим заселением ее русскими⁸.

Даже ссылка в Сибирь рассматривалась как «внутренняя колонизация», в отличие от западной принудительной эмиграции из метрополии в колонии⁹. Не случайно даже каторжане Сахалина с гордостью заявляли: «Нерадостная судьба наша заставляет позабыть свою родину, свое происхождение и поселиться на краю света, среди непроходимых лесов. Бог помог нам. В короткое время построили дома, очистили долину под поля и луга, развели скот, воздвигли храм, и, вы сами теперь видите, здесь Русью пахнет»¹⁰.

Экстенсивный характер крестьянского земледелия как бы подталкивал

власть к расширению земельной площади, в том числе и к созданию земельных запасов впрок, для будущих поколений. П.А. Кропоткин вспоминал, как во время экспедиции 1864 года в верховья Амура заблестели глаза у казака, увидевшего, насколько хороши здесь земли: «Тогда мне стало ясно, что рано или поздно, при поддержке русского правительства или без нее, оба берега Амура, покуда пустынные, но удобные для колонистов, заселятся русскими»¹¹. «Необходимо помнить, – писал уже в 1900 году военный министр А.Н. Куропаткин, – что в 2000 году население России достигнет почти 400 мил. Надо уже теперь начать подготавливать свободные земли в Сибири, по крайней мере для четвертой части этой цифры»¹². Влиятельный в правительственных сферах экономист профессор П.П. Мигулин на страницах газеты «Русь» пытался в начале XX века описать имперское расширение на Дальнем Востоке в категориях «национального интереса»:

Народ наш, обладающий страстною жаждою к земле, отлично поймет значение захвата таких областей, как Монголия и Маньчжурия, с их обширными и плодородными равнинами, пригодными и для земледелия, и для скотоводства. Но он поймет и значение открытого моря и важность короткого общения (торгового и политического) с восточными народами, живущими в ином, чем мы, климате и производящими предметы нашего широкого потребления (чай, хлопок, пряности, фрукты), без которых мы не можем обойтись... Поймет наш народ отлично также важность умножения наших золотоносных, железных, нефтяных, медных, каменноугольных и других месторождений, которыми столь обильны спорные области, – поймет и пойдет на их разработку¹³.

Еще в большей степени, нежели Франция, Россия была «обречена расплачиваться за свою огромную территорию, за свой по-крестьянски ненасытный аппетит к приобретению все новых и новых земель»¹⁴. Мания пространства долгие годы отождествлялась в народном сознании с политическим могуществом империи.

Современный исследователь Л.Е. Горизонтов видит в русском колониационном движении перспективу «двойного расширения» Российской империи путем внешнего ее территориального роста, который дополнялся параллельным разрастанием «имперского ядра» за счет примыкающих к нему окраин¹⁵. Российский имперский проект предусматривал постепенное поглощение имперским ядром (прежде всего в результате русской крестьянской колонизации) Сибири, Дальнего

Востока, а также части Степного края. Это был сложный и длительный процесс, в котором сочетались тенденции империостроительства и нациестроительства, что должно было обеспечить империи большую стабильность и дать ей национальную перспективу. Как отмечает А. Рибер, Российская империя «уникальным, калейдоскопическим образом сочетала государственное строительство с колониальным правлением», стремилась добиться культурной гармонии, идейной сплоченности и административно-правового единства государства¹⁶.

Со второй половины XIX века движение русского населения на имперские окраины (как стихийное, так и регулируемое государством) начинает сознательно восприниматься и в правительстве, и в обществе как целенаправленное политическое конструирование империи. Это была своего рода сверхзадача, которая с 1860-х годов формулируется как новый национальный курс на создание «единой и неделимой» России, с центральным государственным ядром, окруженным окраинами. Однако эти окраины со временем способны обречь и слиться с сердцевиной империи, ее внутренними губерниями, населенными русскими¹⁷. Отсутствие четких границ внутри государственного пространства Российской империи создавало условия для расширения этнического ареала расселения русских.

Сибирь и Дальний Восток включались в более широкий дискурс: «Европа – Россия – Азия», частью которого было новое прочтение проблемы деления России на европейскую и азиатскую части – деления, которое было вызвано еще петровской вестернизацией, стремлением иметь в провозглашенной империи свою европейскую метрополию и свою азиатскую периферию¹⁸.

Однако национальный колониционный компонент имперской политики давал новые возможности не только для укрепления государственного единства, но и для создания общего цивилизационного пространства.

Сотрудник российского посольства в Китае Ф.Ф. Вигель писал в 1805 году, что в отличие от британских заморских колоний Сибирь, «как медведь», сидит у России на привязи и пока ей не нужна. Однако в будущем, рассуждал он, Сибирь будет полезна России как огромный запас земли для быстро растущего русского населения, и по мере заселения Сибирь будет укорачиваться, а Россия расти¹⁹. Н.И. Надеждин заметил также, как к «основному ядру» империи, где «география имеет чисто Русскую физиономию», где расположена «коренная Русская земля»,

присоединяются новые земли в Азии и Северной Америке. Это, по его словам, наш Новый Свет, который «деды наши открыли и стали колонизовать почти в то же время, как прочие Европейцы нашли новый путь к Азиатскому югу и открыли восток Америки»²⁰. Историк Сибири и известный сибирский просветитель П.А. Словцов (1767–1843) рассматривал Сибирь как часть России, передвинувшейся за Урал²¹.

Востоковед В.П. Васильев в программной статье «Восток и Запад», опубликованной в 1882 году в первом номере газеты «Восточное обозрение», призывал перестать смотреть на русских как на пришельцев в Сибирь, заявляя: «мы давно уже стали законными ее обладателями и туземцами»²². П.П. Семенов-Тянь-Шанский писал об изменении этнографической границы между Европой и Азией путем ее смещения в результате колонизации все дальше на восток²³. Историк М.К. Любавский в «Обзоре истории русской колонизации» определял прочность вхождения той или иной территории в состав Российского государства в соответствии с успехами русской колонизации, прежде всего крестьянской²⁴. Именно русские переселенцы, отмечалось в официальном издании Главного управления землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ), должны были духовно скрепить империю, являясь «живыми и убежденными проводниками общей веры в целостность и неделимость нашего отечества от невских берегов до Памирских вершин, непроходимых хребтов Тянь-Шаня, пограничных извилин Амура и далекого побережья Тихого океана, где все, – в Азии, как и в Европе, одна наша русская земля, – одно великое и неотъемлемое достояние нашего народа»²⁵. Колонии России – это ее окраины на Дальнем Востоке, в Средней Азии и на Кавказе. «Подобно тому, как наши южные степи, наша Новороссия, наша южная „украина“ некогда представляли запас для русского населения, так теперь наступило время постепенно использовать с этою же целью наши восточные дальние окраины. Чем более населятся они русскою народною массою, тем крепче свяжутся эти страны ядром Русского государства»²⁶.

Н.Я. Данилевский утверждал, что направлявшиеся из центра страны колонизационные потоки, как правило, «образуют не новые центры русской жизни, а только расширяют единый, нераздельный круг ее»²⁷. Таким образом, процесс русской колонизации можно было представить, по его мнению, растянутым во времени, поэтапным «расселением русского племени», что не создавало колоний западноевропейского типа, а расширяло целостный континентальный массив русской государственной территории. В каждом географическом фрагменте Российского

государства, считал Н.Я. Данилевский, появляется не «отдельная провинциальная особь» и не государственное «владение» как таковое, но «сама Россия». Поэтому различия между центром и колонизируемыми окраинами виделись Данилевскому не политическими, а лишь обусловленными временем заселения и культурного освоения. Отстаивая идею целостности российского пространства, Н.Я. Данилевский, а вслед за ним и Г.В. Вернадский²⁸, были склонны скорее преуменьшать имевшиеся различия, нежели их преувеличивать.

Д.И. Менделеев, в свою очередь, отмечал, что территориальный центр России и центр ее народонаселения далеко не совпадают, доказывал, что миграционные потоки со временем приведут к тому, что демографический центр России будет передвигаться с севера на юг и с запада на восток. Вместе с тем у Менделеева, сибиряка по происхождению, вызывало беспокойство то, что на карте Россия выглядит преимущественно азиатской. «Россия, по моему крайнему разумению, – писал он в 1906 году, – назначена сгладить тысячелетнюю рознь Азии и Европы, помирить и слить два разных мира...»²⁹ Деление на европейскую и азиатскую Россию Менделеев считал искусственным уже в силу единства русского народа (великороссов, малороссов и белорусов), распространившегося по евразийскому матерiku.

Военная наука, в рамках которой в основном и формируется российская геополитика, выделяла как один из важнейших имперских компонентов «политику населения», предусматривавшую активное вмешательство государства в этнодемографические процессы, регулирование миграционных потоков, манипулирование этноконфессиональным составом населения на имперских окраинах для решения военно-мобилизационных задач. Прежде всего это было связано с насаждением русско-православного элемента на окраинах с неоднородным составом населения, или, как в случае с Приамурьем и Приморьем, на территориях, которым угрожала извне демографическая и экономическая экспансия. Внимание имперских политиков и идеологов устремляется на географию «племенного состава» империи в условиях изменившегося характера войн, которые перестали быть династическими или колониальными, превратившись в национальные. Народы империи начали разделять по степени благонадежности, принцип имперской верноподданности этнических элит стремились дополнить более широким чувством национального долга и общероссийского патриотизма. Считалось необходимым разредить население национальных окраин

«русским элементом», минимизировать с помощью превентивных мер инонациональную угрозу как внутри, так и вне империи.

Империя направляет на свои восточные окраины русских переселенцев, которые сознают себя там передовым форпостом России, что усиливает их национальную идентичность. Русские крестьяне здесь сильнее, нежели в центре страны, отождествляют себя с Русским государством, которое их защищает и которое они также призваны защитить.

Бывший военный министр А.Н. Куропаткин призывал оценивать успешность интеграционных процессов на востоке империи с точки зрения заселения «русским племенем», разделив территорию восточнее Волги на четыре района: 1) восемь губерний восточной и юго-восточной части Европейской России; 2) Тобольская, Томская и Енисейская губернии; 3) остальная часть Сибири и российский Дальний Восток; 4) Степной край и Туркестан. Если первые два района, по его мнению, могут быть признаны «краем великорусским и православным», то в третьем районе, который тоже уже стал русским, процесс русификации еще не завершился, и усиливающаяся миграция китайцев и корейцев в Амурской и Приморской областях представляет для него серьезную угрозу. Еще более опасной ему виделась ситуация в четвертом районе. Поэтому, заключал Куропаткин, «русскому племени» предстоит в XX столетии огромная работа по заселению Сибири (особенно восточных ее местностей) и по увеличению в возможно большей степени русского населения в степных и среднеазиатских владениях³⁰.

Территория за Уралом виделась уже не просто земельным запасом или стратегическим тылом, благодаря которому Россия, бесконечно продолжаясь на восток, становится несокрушимой для любого врага с запада. Бывший декабрист Д.И. Завалишин отмечал в 1864 году, что всякий раз, когда Россия волею или неволею обращалась к национальной политике, она принималась думать о Сибири³¹. Поэтому, подчеркивал он, так важно, чтобы зауральские земли были не просто освоены экономически, но и заселены по возможности однородным и единоверным с Россией населением.

Н.Н. Муравьев-Амурский в середине XIX века продолжал действовать на Дальнем Востоке в рамках прежней российской колонизационной стратегии, призванной демографически закрепить за империей новые территории, создать военно-административные опорные пункты, устроить коммуникации и военно-хозяйственные казачьи линии. Но в его мотивации

необходимости скорейшего заселения приамурских земель появляются уже новые национальные мотивы. Ботаник Г.И. Радде вспоминал, что в Муравьеве-Амурском «горело желание насадить в необозримых пустынях семя русской культуры»³². Единство русского государственного ядра и вновь заселяемых имперских окраин достигалось прежде всего тем, писал в середине XIX века кяхтинский градоначальник Н.Р. Ребиндер, «что Сибиряки сохранили во всей чистоте первобытный Русский тип и Русские начала. Это служит лучшим залогом единства Русских по сю и по ту сторону Урала»³³. Отправляя на Амур новых переселенцев, Муравьев напутствовал их: «С богом, детушки. Вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сделайте ее русским краем...»³⁴

Архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий настаивал в 1856 году на необходимости, «как в первые времена заселена была Сибирь», переселить в Приамурский край выходцев из Европейской России, разместить их по почтовому тракту, сознавая при этом, что без насильственных мер не обойтись. Он специально разъяснял важность русского культурного продвижения: «Эти переселенцы, придя в Сибирь, принесли с собою все свои, общие всем, обычаи, свои познания, свои порядки и свое трудолюбие; для них переменялось почти одно только место, – а общество, т. е. их соседи, те же, что и были в России»³⁵. Определяя главную цель присоединения к России обширного и почти пустынного Амурского края, Иннокентий отмечал, что она заключается прежде всего в том, «чтобы благовременно и без столкновений с другими державами приготовить несколько мест для заселения русских, когда для них тесно будет в России»³⁶.

Однако колонизационные планы Муравьева-Амурского не нашли должной поддержки в Петербурге. Помимо нежелания помещиков лишиться дешевого крестьянского труда, существовали и сдерживающие политические факторы. Украинцы и белорусы были нужны на западе империи для усиления там «русского начала», что особенно стало ясно после польского восстания 1863 года. Самодержавие было вынуждено даже приостановить действие в Северо-Западном крае циркуляра министра внутренних дел «О порядке переселения крестьян на свободные земли» (1868)³⁷. Ситуация изменилась только на рубеже XIX–XX веков, когда аграрные беспорядки на юге Европейской России стали внушать властям серьезные опасения.

Понимание русскости местные власти пытались расширить, включая в понятие «русские» не только великороссов, малороссов и белорусов, но и

вообще все славянское население. Обосновывая свое предложение о переселении на Амур чехов, Муравьев-Амурский отмечал: «Славяне понимают Россию как родную им землю; они соединят свою пользу с пользою русского населения. Передадут свои познания в усовершенствованном хозяйстве, будут преданы общему благу нового их отечества. Славяне переселяются в другие страны, но везде они, подавляемые чуждыми элементами, привыкают с трудом, – в России же должно быть напротив»³⁸. Известный славист А.Ф. Гильфердинг писал, что западные славяне будут на Амуре гораздо лучшими колонистами, чем немцы, которые останутся «чуждыми русскому народу» и неизвестно как себя поведут во время вражеского нашествия.

«Славянин же, – утверждал он, – смотрит на Россию как на родную землю и охотнее поедет в русские владения, чем куда бы то ни было. Немец не скоро научится по-русски и будет всегда держать себя в исключительном положении; чех, моравец, словенец, словак через месяц заговорят по-русски, а детей их от русских вы не отличите»³⁹. Но в деле с переселением «чехо-славян» политические опасения перевесили славянофильскую аргументацию, несмотря на положительное решение вопроса царем. Вспомнили о том, что чехи – католики, а недавние польские события показали, что, «несмотря на одноплеменность рас, католичество кладет непреодолимую преграду сближению»⁴⁰.

Приамурье и Приморье по мере освоения их русскими становятся все более привлекательными для корейцев и китайцев, породив новый для российской имперской политики «желтый вопрос». На это указывало восстание так называемых манзовых китайцев в 1868 году, разбойные действия хунхузов, фактическая неподчиненность китайцев русской администрации и суду⁴¹. Это стало новым мотивом для ускорения заселения Дальнего Востока «русским элементом»⁴².

В Комитете Сибирской железной дороги пристально изучали опыт германизации польских провинций, европейской колонизации Северной Америки⁴³. Прусский опыт насаждения германского элемента в польских провинциях стал своего рода «путеводною нитью» в переселенческой политике в Сибири⁴⁴. Это прежде всего относилось к планам строительства школ и церквей вдоль железнодорожной магистрали. Председатель Комитета министров и вице-председатель Комитета Сибирской железной дороги Н.Х. Бунге в своем политическом завещании в 1895 году указывал на русскую колонизацию как на способ, по примеру США и Германии, стереть племенные различия: «Ослабление расовых

особенностей окраин может быть достигнуто только привлечением в окраину коренного русского населения, но и это средство может быть надежным только в том случае, если это привлеченное коренное население не усвоит себе языка, обычаев окраин, вместо того чтобы туда принести свое»⁴⁵. Поэтому нужно снять административные преграды движению крестьян за Урал, так как это может нанести ущерб «великой задаче ближайшего объединения наших Азиатских владений с Европейскою Россиею»⁴⁶.

Железные дороги, это новейшее орудие империализма конца XIX и начала XX века, должны были облегчить выполнение исторически традиционной колонизационной миссии русского народа. Транссибирская магистраль должна была стальной полосой сковать «наши великие азиатские владения с их различными неисчерпаемыми ресурсами к центру Империи»⁴⁷. Министр финансов С.Ю. Витте указывал на изменение геополитического пространства внутри самой империи, отмечая значение «великой колонизаторской способности русского народа, благодаря которой народ этот прошел всю Сибирь от Урала до Тихого океана, подчиняя все народности, но не возбуждая в них вражды, а собирая в одну общую семью народов России». Именно русский крестьянин-переселенец, по его мнению, изменит цивилизационные границы империи: «Для русских людей пограничный столб, отделяющий их, как европейскую расу, от народов Азии, давно уже перенесен за Байкал – в степи Монголии. Со временем место его будет на конечном пункте Китайской Восточной железной дороги»⁴⁸. С колонизацией Сибири Витте связывал не только экономические, но и политические задачи. Русское население Сибири и Дальнего Востока должно стать оплотом в «неминуемой борьбе с желтой расой». Именно это население даст силы и средства для защиты «интересов империи». Политический смысл крестьянской колонизации Витте разъяснял так: «Для того, чтобы в предстоящей в будущем (выделено Витте. – А.Р.) борьбе с желтой расой выйти победителями, нам надо создать на границах наших с Китаем оплот из русского населения, которое само в состоянии было бы выставить достаточную силу для защиты, как своего достояния, так и интересов Империи. В противном случае вновь придется посылать войска из Европейской России, опять на оскудевший центр ляжет необходимость принять на себя всю тяжесть борьбы за окраины, вынести на своих плечах разрешение назревающих на Дальнем Востоке вопросов, а крестьянину черноземной полосы или западных губерний придется идти сражаться за чуждые, непонятные ему интересы

отстоящих от него на тысячи верст областей»⁴⁹. Континентальная концепция Витте основывалась на уверенности в способности крестьян-переселенцев создать на востоке империи прочный экономический и демографический тыл для российских морских торговых и военных портов.

После Русско-японской войны 1904–1905 годов на первое место в охранительных и военно-мобилизационных задачах вышла задача крестьянской колонизации, призванная сделать, по выражению будущего приамурского генерал-губернатора Н.Л. Гондатти, «Дальний Восток русским и только для русских»⁵⁰. Член Государственного совета от правого центра А.Б. Нейдгард заявлял: «Русский пахарь и русская соха – вот единственный способ, которым можно избежать окитаивания нашей окраины»⁵¹. Необходимо было не просто заселить край, но создать из русских переселенцев «крепкую колонию, способную вынести экономическую борьбу с сильными соседями и удержать за собой культурное первенство». И это должно стать заботой всего русского общества, «народной исторической задачей... культурного завоевания края». И эта задача на Дальнем Востоке виделась гораздо более сложной, нежели в Западной Сибири, подчеркивал будущий глава Временного правительства Г.Е. Львов, ибо там наш крестьянин уже «как дома, в своих стенах, а здесь, среди чужих, каждый шаг должен быть обдуман и взвешен»⁵².

П.А. Столыпин в рамках концепции «единой и неделимой России» призывал крепче стянуть рельсами «державное могущество великой России»⁵³, а главноуправляющий ГУЗиЗ А.В. Кривошеин целенаправленно стремился превратить Сибирь «из придатка исторической России в органическую часть становящейся евразийской географически, но русской по культуре Великой России»⁵⁴. В интервью французской газете «Figaro» (4 февраля 1911 года) он разъяснял: «Хотя крестьянин, переселяясь, ищет своей личной выгоды, он, несомненно, в то же время работает в пользу общих интересов империи»⁵⁵.

В связи с поездкой П.А. Столыпина в Сибирь в 1910 году бывший чиновник Комитета Сибирской железной дороги И.И. Тхоржевский заметил: «По обе стороны Урала тянулась, конечно, одна и та же Россия, только в разные периоды ее заселения, как бы в разные геологические эпохи»⁵⁶. И Столыпин «чувствовал целостность – военную и живую – всего того огромного и пестрого материка, которым была Россия. Тот же Алтай, как и Уссурийский край, связывался живыми человеческими узлами с

далекой (и вовсе не самостоятельной – ни тогда, ни теперь) Украиной. Но надо было крепче стянуть – и рельсами! – державное могущество великой России. А для этого одной только Сибирской железной дороги было тогда уже недостаточно. Ведь к ее рельсам только и жалось, довольно узкой полоской, все наше переселение! Помню, как переселенческое управление, после передачи из министерства внутренних дел в министерство земледелия, полушутя, полусерьезно, умоляло передать его в министерство путей сообщения: „Там – наше место“. Так тема земли, – писал Тхоржевский, – связывалась со второй сибирской темой – железной дороги»⁵⁷.

Действительно, П.А. Столыпин стремился включить в национальную политику охрану земель на востоке империи от захвата иностранцами, подчинить русской власти сопредельные с Китаем малонаселенные местности, «на тучном черноземе которых возможно было бы вырастить новые поколения здорового русского народа». Это значение Сибири и Средней Азии как колыбели, где можно будет вырастить новую сильную Россию и с ее помощью поддержать хиреющий русский корень, ясно сознавалось Столыпиным, утверждал один из его близких сотрудников С.Е. Крыжановский, и, останься он у власти, «внимание правительства было бы приковано к этой первостепенной задаче»⁵⁸.

Оторванное от привычной социокультурной среды, оказавшись в неведомом краю, в иных природно-климатических условиях, вынужденное существенно скорректировать свои хозяйственные занятия, непосредственно соприкоснувшись с культурой Востока (непривычной и привлекательной), славянское население обостренно ощутило свою русскость, очищенную от местных особенностей, столь стойко сохраняемую на их бывшей родине. Параллельно с имперским административным строительством шел процесс символического присвоения новых территорий. Оказавшись вдали от родины, русские переселенцы, как и в европейских заокеанских колониях, спешили закрепить за собой новое пространство, обозначая его привычными именами православных святых, русских героев, а то и просто перенося старые названия на новые места (Новокиевки, Полтавки, Черниговки, Московки и т. п.).

В Сибири и на Дальнем Востоке шел активный процесс консолидации славянского (и не только славянского) населения в «большую русскую нацию»⁵⁹. Украинцы и белорусы сохраняли довольно долго свой язык и черты бытовой культуры в условиях Сибири и Дальнего Востока.

Оказавшись рассеянными (хотя и проживая часто отдельными поселениями) между выходцами из великорусских губерний, сибирскими старожилами и сибирскими и дальневосточными народами, поселясь в значительной степени в городах, работая на золотых приисках и стройках, они были более восприимчивы к культурным заимствованиям и проявляли более высокий уровень этнической и конфессиональной толерантности, но вместе с тем демонстрировали большую, чем на исторической родине, приверженность идее общерусской идентичности. В отличие от Европейской России, где шел процесс формирования украинской и белорусской наций, вызывавший у петербургских властей политические опасения, в Азиатской России процессы стихийного культурного единения преобладали, что вполне устраивало имперскую администрацию. Как следствие, в правительственных взглядах на славянское население Сибири и Дальнего Востока преобладало индифферентное отношение к культурным различиям между великороссами, украинцами и белорусами: поглощение последних русской нацией представлялось делом времени. До начала XX века в Сибири три славянских народа в официальных документах нередко обозначали одним термином – русские. Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер писал, что переселенцы для дальневосточных областей выбирались в основном из Малороссии и «ими предполагалось создать на месте стойкий кадр русских землепашцев как оплот против распространения желтой расы»⁶⁰.

Вопросом о том, кто такие русские крестьяне Приамурья и к каким народностям они принадлежат, задались довольно поздно. Сотрудники Общеземской организации, обследовав в 1909 году состав дальневосточного населения, установили, что в Амурской области основное ядро крестьянства составляют малороссы (40,6 %). Другие наиболее значительные группы составляли: тамбовцы (10,3 %), могилевцы (10,1%), забайкальские староверы – «семейские» (5,0 %), сибиряки (4,1 %), поволжане (3,0 %). В Приморской области малороссов было еще больше – не менее 75 %. «Коренного великорусского населения (а также раскольников Тамбовской губернии и Поволжья, староверов Забайкалья и Сибири) очень мало. И без большой ошибки можно сказать, – заключали исследователи, – что Приморская область представляет вторую Украину со значительной примесью белорусов»⁶¹. Примечательно, что при группировке населения не существовало единых критериев и этнические признаки смешивались с конфессиональными и региональными.

На сложность изучения этнической принадлежности славянского

населения Дальнего Востока XIX века указывает и исследователь фольклора Л.Е. Фетисова: «Региональное пространство бытовой культуры на юге Дальнего Востока вначале представляло „мозаичное панно“ из локальных традиций переселенцев. Со временем происходила утрата прежнего этнического самосознания, замена его представлением о единой национальной принадлежности, т. е. шел процесс вторичной консолидации восточных славян, но на бытовом уровне продолжал сохраняться культурный полиморфизм»⁶².

Некоторые опасения украинизации российского Дальнего Востока, видимо, существовали. А.П. Георгиевский писал в этой связи: «Если поставить вопрос, какая из трех традиций – украинской, великорусской и белорусской, является наиболее сильной и устойчивой в Приморье, то на этот вопрос трудно определенно ответить»⁶³. Он также подчеркивал, что великорусское культурное влияние здесь менее заметно, нежели украинское. Но, как отмечает современный исследователь Ю.В. Аргудяева, в Приморье и Приамурье исторически предопределенно шел процесс слияния русских (кроме старообрядцев), украинцев и белорусов и формирования некоего субстрата культуры, с преобладанием русскоязычного населения.

К концу существования империи русские и украинцы составляли в Сибири и на Дальнем Востоке более 87 % населения. Однако их распределение по всей территории было неравномерным. В Приморье с 1858 по 1914 год прибыли 22122 крестьянские семьи, из них 70 % были выходцы из Украины. В Южно-Уссурийском крае этот показатель достигал 81,3 % от всех крестьян-переселенцев, тогда как русские составляли 8,3 %, а белорусы – 6,8 %. Современная же ситуация прямо противоположная: русские составляют 86,8 % от числа жителей Приморья, украинцы – 8,2 %, белорусы – 0,9 %. При этом подчеркивалось, что русские сформировались здесь в значительной степени из обрусевших украинцев и белорусов⁶⁴. Население украинских анклавов в Сибири и на Дальнем Востоке России быстро переходило на русский язык, а к 1930-м годам в большинстве случаев сменило и свое этническое самосознание⁶⁵.

Кроме того, само славянское население Сибири и Дальнего Востока было сложным не только по этническому (русские, украинцы, белорусы) и конфессиональному (православные, старообрядцы, сектанты) признакам, но и по региональным характеристикам мест выселения. Объезжавший в 1896 году переселенческие поселки Западной Сибири А.Н. Куломзин писал бывшему воспитателю Николая II генералу Г.Г. Даниловичу, что

перед ним прошла своеобразная этнографическая выставка «представителей славянского племени и других племен, обитающих в России»⁶⁶. К началу XX века в Сибири сложилось пестрое по своему происхождению русское население: старожилы («сибиряки») и новоселы («русское», «русь»). Чаще всего переселенцев называли по губерниям их прежнего места жительства: «курщина», «Тамбовщина», «рязанщина» и т. п.⁶⁷ Однако переезжавшие за Урал крестьяне формировали не только новые этнокультурные группы, определенные местами их прежнего проживания, этнической принадлежностью, конфессиональными различиями, но и создавали новую общность на основе общерусской культуры и идентичности⁶⁸.

Местные власти на окраинах нередко оказывались в ситуации, когда общегосударственная установка на распространение православной веры как важного имперского фактора входила в противоречие с колониационными задачами и стремлением «сделать край русским». С православным миссионерством успешно конкурировала установка расширительного толкования русскости. Власти не могли не учитывать высокой степени устойчивости русских крестьян – старообрядцев и духоборов – к ассимиляции в иноэтнической среде, сохранения ими русскости при отдаленности от русских культурных центров⁶⁹. Несмотря на то, что старообрядцы в результате многоэтапной миграции на Дальний Восток испытали этнокультурное влияние со стороны украинцев, поляков, белорусов, бурят, коми (зырян и пермяков), обских угров (ханты и манси) и других народов, они лучше всего сохранили традиционную культуру русских. Это обстоятельство не могло быть не замечено местными властями, которые, проявляя большую, нежели в центре страны, религиозную терпимость, активно использовали старообрядцев в колониационном закреплении восточных территорий за империей⁷⁰. Генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер писал в 1912 году: «Староверы зарекомендовали себя здесь хорошими сельскими хозяевами и являются особо желательным элементом при заселении отдаленных и глухих местностей, прокладывая тем пути для следующих за ними других переселенцев»⁷¹. Такую терпимость к приверженцам гонимой в Центральной России старой веры на дальневосточных землях проявляли не только представители местной администрации, но и некоторые иерархи Русской православной церкви. Важное значение придавал раскольникам как наиболее дееспособному колониационному элементу архиепископ Иннокентий⁷².

Не без основания считается, что именно старообрядцы сыграли ведущую роль в формировании особого типа русского крестьянина на Амуре: «...дерзнувшие на самостоятельность мысли в религиозных вопросах, закаленные тяжелой школой борьбы за „оказательство“ своих убеждений – староверы и главным образом сектанты-рационалисты (духоборы, баптисты, молокане) – явились полными силы „бойцами“ против тяжелых природных условий новой страны и в значительной степени победили их. Они (выделено в тексте. – А.Р.) дали тон Амурской крестьянской жизни»⁷³. И хотя правительство в своих заботах о подготовке базы для обороны и будущего имперского расширения и сектанты в своем стремлении найти свободу вероисповедания или лучшие условия для жизни шли разными путями и сторонились друг друга, но в их устремленности на восток было много общего. Принцип русскости на далекой окраине стоял выше стремления добиться церковного единства, отражая важные тенденции в формировании общерусской национальной идентичности⁷⁴. В иерархии идентичностей конфессиональность здесь явно уступала национальному фактору.

Однако в Сибири и на Дальнем Востоке вставала новая угроза для империи – формирование у местного населения чувства территориальной обособленности, осознания своей непохожести и социально-экономической ущемленности в отношениях между центром и окраинами, выстраивания иной, конкурирующей с «большой русской нацией», сибирской региональной идентичности⁷⁵.

Поэтому мало было заселить край желательными для русской государственности колонистами, важно было укрепить имперское единство культурными скрепами. Выталкиваемый из Европейской России за Урал земельной теснотой и нищетой переселенец уносил с собой сложное чувство грусти по покинутым местам и откровенной неприязни к царившим на утраченной родине порядкам. В специальной записке о состоянии церковного дела в Сибири, подготовленной в конце XIX века канцелярией Комитета министров, указывалось на необходимость объединения духовной жизни сибирской окраины и центральных губерний «путем укрепления в этом крае православия, русской народности и гражданственности». Постановка этой важной задачи, по мнению правительства, вызывалась сибирскими особенностями: определенным религиозным индифферентизмом сибиряков-старожилов, разнородным этноконфессиональным составом населения. Обер-прокурор Синода С.М. Лукьянов призывал создать на Дальнем Востоке тот внутренний уклад

жизни, «который действительно придает переселенцу облик русского человека». Роль православной церкви для русского человека будет тем более велика, доказывал глава ведомства православного вероисповедания, что он здесь попадает в непривычные условия жизни, тоскует по покинутой родине и может попасть под влияние разного рода сектантов⁷⁶. Существовало осознанное беспокойство по поводу культурного воздействия на российское население в Азии со стороны китайцев, корейцев, японцев, монголов и даже якутов и бурят, которые воспринимались как конкуренты русского имперского колониационного проекта. Опасались, что, попав под влияние иностранцев и инородцев, переселяющиеся в край русские люди утратят привычные национальные черты, отдалятся от своей родины и потеряют чувство верноподданности. Современники сознавали культурно-цивилизационную слабость русского крестьянина как культуртрегера⁷⁷. Задумывавшийся о задачах политики русификации в отношении инородцев А.И. Термен, послуживший в Туркестане, Забайкалье и Маньчжурии, понимал, что нужно принимать действенные меры для того, чтобы не только «выработать из вверенного ему материала надежно слитую с коренным элементом империи культурную единицу»⁷⁸, но и поднять нравственность самого русского народа на окраинах, повысить авторитет православной церкви и русской школы.

Чтобы остановить процесс отчуждения переселенцев от «старой» России и восстановить в «новой» России знакомые и понятные властям черты русского человека, необходимо было заняться целенаправленной культуртрегерской политикой. Сибиряк, утверждал А.Н. Куломзин, забыл свою историю, забыл родину и, живя несколько веков замкнутою зауральскою жизнью, перестал считать себя российским человеком. Куломзин писал в мемуарах, что перед его внутренним взором «каким-то кошмаром» стояла мысль о том, что «в более или менее отдаленном будущем вся страна по ту сторону Енисея неизбежно образует особое отдельное от России государство»⁷⁹. Это приводило зачастую к необоснованным поискам сибирского сепаратизма. Иркутский генерал-губернатор А.Д. Горемыкин выискивал и вычеркивал в газетных статьях слова «Сибирь и Россия», заменяя их словами «Сибирь и Европейская Россия», вместо «сибиряки» требовал писать «уроженцы Сибири»⁸⁰. М.Н. Катков и К.П. Победоносцев неоднократно напоминали Александру III об опасности областнических настроений в Сибири и происках поляков⁸¹.

Впрочем, другой наблюдатель, Фритьоф Нансен, рассуждая о

возможности сибирского сепаратизма, оценивал его скептически. Напротив, утверждал он, сибиряки – это не ирландцы, добывающиеся гомруля, они никогда не забудут того, что они русские, и будут всегда противопоставлять себя азиатским народностям. Отвергал Нансен и опасение, что азиатские владения Российской империи вытягивают лучшие силы из центра страны, понижая тем самым ее экономический и культурный уровни. В отличие от испанских, португальских и британских колоний, Сибирь представляет, по его мнению, «в сущности естественное продолжение России, и ее надо рассматривать не как колонию, а как часть той же родины, которая может дать в своих необозримых степях приют многим миллионам славян»⁸².

Осознание экономического и культурного своеобразия Сибири, раздражение сибиряков, вызванное несправедливым отношением к ним столичных властей, создавало в сибирском обществе атмосферу отчуждения от Европейской России и общего недовольства, на которой и мог произрасти сибирский сепаратизм. Несмотря на многочисленные факты и свидетельства сепаратистских настроений, правительственных страхов и настойчивых поисков борцов за сибирскую независимость (или автономию), это неприятие существовавшего приниженного положения так и не переросло в реальную опасность утраты Россией Сибири.

Массовое переселенческое движение начала XX века, породившее напряженность в отношениях сибирских старожилов и новоселов, в известной степени сняло остроту опасности формирования сибирской идентичности и регионального патриотизма. В Сибири и на Дальнем Востоке все еще не доставало интеллектуалов, способных пропагандировать в массах идеи сибирской автономии, было мало высших и средних учебных заведений, местных культурных центров, а также региональных демократических институтов (не было даже земских органов), вокруг которых мог бы сфокусироваться сибирский патриотизм, перерастая во влиятельную политическую силу, способную, как это случилось в Австралии или Канаде, возглавить движение за независимое государство-нацию. Переселенческие общества внутренней Сибири и Дальнего Востока России в XIX – начале XX века имели низкие показатели этнической конфликтности, с тенденцией ее возрастания на фронтальной периферии: на юге Западной Сибири («киргизский вопрос») и юге Дальнего Востока («желтый вопрос»)⁸³. Хотя Российская империя, а затем и СССР рухнули, однако, как отмечает Д. Дивен, новой России удалось вобрать в себя и поглотить в своем «материнском лоне»

жемчужину своей имперской короны – Сибирь, и благодаря этому остаться великой державой (чего не удалось ни Турции, ни Австрии, ни даже Англии и Франции)⁸⁴. В основном это произошло благодаря русским крестьянам-переселенцам, которые не только скрепили огромное имперское пространство, но и обеспечили перспективу национального строительства России.

Примечания:

1 *Столыпин П.А.* Нам нужна Великая Россия... Поли. собр. речей в Государственной думе и Государственном совете, 1906–1911 гг. М., 1991. С. 127.

2 *Милюков П.Н.* Очерки по истории русской культуры. М., 1993. Т. I. С. 488.

3 Страна без границ. Тюмень, 1998. Кн. II. С. 6.

4 *Ливен Д.* Русская, имперская и советская идентичность // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999. С. 299.

5 *Барретт Т.М.* Линии неопределенности: северокавказский «фронт» России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология. Самара, 2000. С. 168.

6 *Ерофеева И.* Славянское население Восточного Казахстана в XVIII–XX вв.: миграционное движение, стадии социокультурной эволюции, проблемы реэмиграции // Этнический национализм и государственное строительство. М., 2001. С. 333.

7 *Уманец Ф.М.* Колонизация свободных земель России. СПб., 1884. С. 33.

8 *Яковенко И.Г.* Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999. С. 103. Постановку вопроса о связи строительства империи с русской крестьянской колонизацией см.: *Лурье С.В.* Историческая этнология. М., 1997. С. 161–169.

9 *Шиловский М.В.* К вопросу о колониальном положении Сибири в составе Русского государства // Европейские исследования в Сибири. Томск, 2001. С. 14.

10 *Миролюбов [Ювачев] И.Л.* Восемь лет на Сахалине. СПб., 1901. С. 214.

11 *Кропоткин П.А.* Записки революционера. М., 1990. С. 189.

12 *Куropаткин А.Н.* Итоги войны: Отчет генерал-адъютанта Куропаткина. Варшава, 1906. Т. 4. С. 44.

13 Цит. по: *Головачев П.* Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1904. С.

57.

14 Бродель Ф. Что такое Франция? Пространство и история. М., 1994. Кн. I. С. 272.

15 Горизонтов Л.Е. «Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 130.

16 Рибер А. Устойчивые факторы российской внешней политики: попытка интерпретации // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. Самара, 2001. С. 119.

17 Кэмпбелл Е. «Единая и неделимая Россия» и «инородческий вопрос» в имперской идеологии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 206–207.

18 Шенк Ф.Б. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе // Политическая наука. 2001. № 4. С. 14–15. См. также: Ремнев А.В. Географические, административные и ментальные границы Сибири (XIX – начало XX в.). В печати.

19 Записки Ф.Ф. Вигеля. М., 1892. Ч. II. С. 196–197.

20 Надеждин Н.И. Опыт исторической географии Русского мира // Библиотека для чтения. 1837. Т. 22. Ч. II. С. 39.

21 См.: Мирзоев В.Г. Историография Сибири. М., 1970. С. 139.

22 Васильев В.П. Восток и Запад // Восточное обозрение. 1882. 1 апреля.

23 Семенов П.П. Значение России в колонизационном движении европейских народов // Известия РГО. 1892. Т. XXVIII. Вып. IV. С. 354.

24 Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М., 1996. С. 539.

25 Азиатская Россия. СПб., 1914. Т. I. С. 199.

26 П.К. Значение Амурской железной дороги // Окраины России. 1908. № 17 (26 апреля). С. 250.

27 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М., 1991. С. 486.

28 Вернадский Г.В. Против солнца. Распространение русского государства к востоку // Русская мысль. 1914. № I. С. 57–58.

29 Менделеев Д.И. К познанию России. М., 2002. С. 181–182.

30 Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. СПб., 1913. С. 55–75.

31 Завалишин Д.И. Письма о Сибири // Московские ведомости. 1864. 24 октября.

32 Радде Г.И. Автобиография // Граф Н.Н. Муравьев-Амурский в

воспоминаниях современников. Новосибирск, 1998. С. 171.

33 Н.Р. Ребиндер – вел. кн. Константину Николаевичу (1855) // Российский государственный архив Военно-морского флота. Ф. 410. Оп. 2. Д. 1016. Л. 11–12; Ф. 224. Оп. г. Д. 236. Л. 161–162. См. также: *Bassin M. Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century* // *The American Historical Review*. 1991. Vol. 96. № 3.

34 Кроноткин П.А. Указ. соч. С. 173.

35 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский. По его сочинениям, письмам и рассказам современников. М., 1883. С. 383.

36 Там же. С. 382. О православной миссионерской деятельности на Амуре см.: Исаченко Б.А. Православное миссионерство на Амуре во второй половине XIX в. // Вестник Амурского государственного университета. 2001. Вып. 12. С. 21–23.

37 Очерки истории белорусов в Сибири в XIX–XX вв. Новосибирск, 2001. С. 60.

38 Отчет по Восточной Сибири за 1860 г. // РГИА. Ф. 1265. Оп. 10. Д. 202. Л. 3.

39 Гильфердит А.Ф. Мнение западных славян об Амуре и его колонизации // Амур. 1860. 28 июня. С. 373–374. В начале XX в. интерес к переселению проявляли черногорцы, см.: Хлебникова В.Б. Черногорцы на русском Дальнем Востоке и в Китае // Исторический опыт открытия, заселения и освоения Приамурья и Приморья в XVII–XX вв. (К 350-летию начала похода В.Д. Пояркова на Амур). Владивосток, 1993. С. 80–82.

40 Приморский военный губернатор П.В. Казакевич – генерал-губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову (24 июня 1864 г.) // Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ). Ф. 87. Оп. I. Д. 287. Л. 25–31.

41 Всеподданнейшая записка генерал-губернатора Восточной Сибири М.С. Корсакова (19 декабря 1868 г.) // Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 400. Оп. г. Д. 162. Л. 11.

42 Записка старшего советника Приморского областного правления Аносова «О заселении средствами правительства Южно-Уссурийского округа Приморской области Восточной Сибири» // Там же. Л. 114.

43 Куломзин А.Н. Пережитое // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1642. Оп. г. Д. 190. Л. 53; Д. 191. Л. 1–2.

44 Там же. Д. 191. Л. 3.

45 Бунге М.Х. Загробные заметки // Река времен (Книга истории и культуры). М., 1995. КН. I. С. 211.

- 46 Россия. Комитет Сибирской железной дороги (Материалы). [1895]. Т. г. Л. 290.
- 47 Московские ведомости. 1891.5 апреля.
- 48 РГИА. Ф. 1622. Оп. г. Д. 711. Л. 41.
- 49 Всеподданнейший доклад министра финансов С.Ю. Витте // РГИА. Ф. 560. Оп. 22. Д. 267. Л. 8–9.
- 50 Тобольский губернатор Н.Л. Гондатти – управляющему делами Совета министров Н.В. Плеве (г марта 1908 г.) // Библиотека РГИА. Печ. зап. № 2487. С. г.
- 51 Государственный совет. Стенографические отчеты. Сессия III. СПб., 1908. Заседание 30 мая 1908 г. С. 1440.
- 52 Львов Г.Е. С Дальнего Востока: Переселение и колонизация // Русские ведомости. 1908.18 сентября.
- 53 Тхоржевский М.И. Последний Петербург // Нева. 1991. № 9. С. 190.
- 54 Кривошеин К.А. Александр Васильевич Кривошеин: Судьба российского реформатора. М., 1993. С. 131.
- 55 Дальневосточное обозрение. 1911. Вып. I. С. 82.
- 56 Тхоржевский М.И. Указ. соч. С. 189.
- 57 Там же. С. 190.
- 58 Крыжановский С.Е. Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 4. С. 113.
- 59 О проекте «большой русской нации» см.: Миллер А.М. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000. С. 31–41.
- 60 Унтербергер П.Ф. Приамурский край. 1906–1910 гг. СПб., 1912. С. 4.
- 61 Приамурье: Факты, цифры, наблюдения. Собраны на Дальнем Востоке сотрудниками Общеземской организации. М., 1909. С. 717–718.
- 62 Фетисова Л.Е. Адаптационная роль фольклора в системе бытовой культуры первопоселенцев Приамурья и Приморья // Адаптация этнических мигрантов в Приморье в XX в. Владивосток, 2000. С. 27.
- 63 Георгиевский А.М. Русские на Дальнем Востоке: Фольклорно-диалектологический очерк. Владивосток, 1929. С. 9. Всплеск национально-культурных запросов дальневосточных украинцев наблюдался уже после революции 1917 г.
- 64 Арзудяева Ю.В. Проблемы этнической истории восточных славян Приморья и Приамурья // Славяне на Дальнем Востоке: проблемы истории и культуры. Южно-Сахалинск, 1994. С. 19–21. Не случайно по данным социологических опросов, проведенных в 1997–1998 гг., русские Дальнего

Востока лидируют среди других регионов России по числу людей, не знающих этнического происхождения своих предков (*Кожевникова Н.И., Рыбаковский Л.Л., Сигарева Е.П.* Русские: этническая гомогенность. М., 1998. С. 11).

65 *Кабузан В.М.* Русские в мире: Динамика численности и расселения (1719–1989). Формирование этнических и политических границ русского народа. СПб., 1996. С. 210.

66 *Куломзин А.Н.* Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. I. Д. 202. Л. 34.

67 *Шелегина О.Н.* Адаптация русского населения в условиях освоения территории Сибири. М., 2002. Вып. 2. С. 20–21.

68 Русские в Омском Прииртышье (XVIII–XX века). Омск, 2002. С. 4.

69 *Дударенок С.М., Сердюк М.Б.* Взаимоотношения религиозных конфессий и структур государственной власти на юге Дальнего Востока (1858–1917) // Исторический опыт открытия, заселения и освоения Приамурья и Приморья в XVII–XX вв. (К 350-летию начала похода В.Д. Пояркова на Амур). Владивосток, 1993. С. 122–124.

70 На рубеже XIX–XX вв. существовал проект заселения старообрядцами и русскими сектантами соседней с Амурской областью территории Маньчжурии. После принятия законов о веротерпимости в 1905–1906 гг. на Дальний Восток переселилось около трех тысяч австрийских и румынских старообрядцев. См.: *Аргудьева Ю.В.* Старообрядцы на Дальнем Востоке России: этнокультурное развитие во второй половине XIX – начале XX в. Диссертация в виде научного доклада на соискание степени д-ра ист. наук. М., 2002. С. 20–21.

71 *Унтербергер П.Ф.* Приамурский край, 1906–1910 гг. СПб., 1912. С. 18.

72 *Барсуков И.Л.* Указ. соч. С. 394–395. Очевидно, это не было исключением в российской имперской политике. Схожий факт, имевший место на западной окраине империи, приводит Л.Е. Горизонтов: *Горизонтов Л.Е.* Раскольничий клин: Польский вопрос и старообрядцы в имперской стратегии // Славянский альманах. 1997. М., 1998. С. 148.

73 Приамурье. Факты, цифры, наблюдения... С. 720.

74 В 1896 г. раскольники составляли в Амурской области 10% населения, существенно меньше их было в Приморской области – 1%. См.: *Капранова Е.А.* Государственная переселенческая политика и ее религиозная направленность на Дальнем Востоке // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Благовещенск, 2002. Ч. 3. С. 559.

75 См.: *Ядринцев Н.М.* Сибирь как колония. СПб., 1892; *Сватилов С.Г.* Россия и Сибирь (К истории сибирского областничества в XIX в.). Прага,

1930; Вуд А. Сибирский регионализм: прошлое, настоящее, будущее? // Расы и народы. М., 1998. Вып. 24. С. 203–217; Watrous S. The Regionalist Conception of Siberia, 1860 to 1920 // Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture. New York, 1993. P. 113–131; Сверкунова Н.В. Региональная сибирская идентичность: опыт социологического исследования. СПб., 2002.

76 С.М. Лукьянов – П.А. Столыпину (16 января 1910 г.) // Архив внешней политики Российской империи. Ф. Тихоокеанский стол. Оп. 487. Д. 762. Л. 177-6.

77 Sunderland W. The «Colonization Question»: Vision of Colonization in Late Imperial Russia // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2000. Vol. 48. № 2. P. 231. См. также: *Idem*. Russians into Iakuyts? «Going Native» and Problems of Russian National Identity in the Siberian North, 1870-s – 1914 // Slavic Review. 1996. № 4. P. 806–825.

78 Термен А.И. Воспоминания администратора: Опыт исследования принципов управления инородцев. Пг., 1914. С. 2.

79 Куломзын А.Н. Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. I. Д. 204. Л. 107. Об опасениях сибирского сепаратизма см.: Ремнев А.В. Призрак сепаратизма// Родина (Москва). 2000. № 5. С. 10–17.

80 Попов И.И. Забытые иркутские страницы: Записки редактора. Иркутск, 1989. С. 59; Сватыков С.Г. Россия и Сибирь. Прага, 1930. С. 78.

81 Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. М., 1966. Т. I. С. 380, 534.

82 Хансен Ф. Страна будущего // Дальний Восток. 1994. № 4/5. С. 185.

83 Куприянов А. Великороссия и Сибирь – материк этнического спокойствия в море имперской конфликтности (1881–1904 гг.) // Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей. М., 2001. С. 122–135; Дятлов В.И. Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? М., 2000 (глава 2, «Китайская диаспора и дискуссии о „желтой опасности“ в дореволюционной России»).

84 Ливен Д. Россия как империя: сравнительная перспектива // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999. С. 273.

Елена Безвиконная

Геополитическое пространство Степного края: Омская область и проблема границы в государственном строительстве Российской империи (20-30-е годы XIX века)

В первой половине XIX века подошел к своему логическому завершению один из этапов процесса строительства Российского имперского пространства. Имперскую политику этого донационального периода можно охарактеризовать как совокупность военно-административных, социально-экономических и идеологических мероприятий, направленных на регулирование отношений между центром и окраинными территориями. Поиски наиболее эффективных методов управления регионами продолжались на всем протяжении XVIII века и эволюционировали от установки на централизацию и унификацию власти до использования децентрализаторских элементов. Интегрируя вновь присоединенные внешние окраины (Закавказье, Сибирь, Степной край и др.) в имперскую модель административного управления, самодержавие избегало унификаторского подхода по отношению к ним, стремясь учитывать региональные особенности. Вместе с тем в имперской политике присутствовала тенденция к постепенной модернизации принципов управления, судебной системы, социально-экономических отношений на окраинах по образцу центральных провинций. Фактически применительно к XIX веку речь идет об оформлении нового направления имперского администрирования – региональной политики, требующей дифференцированных подходов к каждой административно-территориальной единице.

Неотъемлемой составляющей завершающего этапа интеграции окраин в империю являлось утверждение четких государственных границ как гаранта имперской безопасности и территориального единства. Совершенно очевидно, что попытка российского самодержавия установить границы в Степном крае во многом была результатом переноса европейского дискурса геополитики на азиатскую почву (о чем ярко свидетельствует язык публикуемых ниже документов, в частности, попытка рационализации пространства Степного края с помощью

маркировки природных рубежей и соотнесения административной единицы с характером населения). Но специфика географических условий азиатской России, образ жизни населения региона, сложность геополитической ситуации (столкновение различных империй) обусловили потребность в дифференцированном подходе к понятию «граница».

Предложенная А. Рибером классификация «границ» достаточно удачно вписывается в реалии Степного края начала XIX века¹. В данном случае можно говорить о трех взаимосвязанных типах границ. Прежде всего – граница *политическая* (в терминологии офицера Генерального штаба, сотрудника Русского географического общества М.И. Венюкова – «действительная» государственная граница²), представляющая линию военных крепостей и форпостов. Последние рассматривались в качестве этапов продвижения в Центрально-Азиатский регион (см. ниже Представление генерал-губернатора Западной Сибири И.А. Вельяминова военному министру А.И. Чернышеву от 23 марта 1835 года). Определение границ Омской области демонстрирует важность соотношения политической границы с границей *культурно конструируемых* метарегионов – европейского и азиатского. Наконец, *социально-экономический* тип границы образуется в результате столкновения двух жизненных укладов – оседло-земледельческого и кочевого скотоводческого. Основанные на различных социально-правовых нормах (обычном праве и унифицированном законодательстве), эти жизненные уклады с начального момента своего взаимодействия порождают многочисленные противоречия и конфликты³. Используя терминологию современной геополитики, данную типологию возможно объединить в сложносоставной феномен «азиатской границы»⁴, под которой понимается нестабильное, постоянно изменяющееся пространство, выступающее как база для последующего расширения имперской территории. Применительно к Сибири и Степному краю еще более адекватным кажется определение «евразийская» (а не «азиатская») граница. В книге такого представителя российского евразийского движения, как П. Савицкий, она определяется как укрепленная линия, то появляющаяся, то исчезающая⁵. Действительно, с начала XVIII века самодержавная власть, руководствуясь преимущественно необходимостью защиты южных территорий государства от набегов казахских кочевников, инициировала строительство «линий» военных укреплений (Сибирской, Иртышской, Кольванской и др.). Последние представляли собой крепости и форпосты, расположенные на достаточно большом расстоянии друг от друга⁶. Например, Сибирская

линия протянулась на достаточно протяженном пространстве от Бухтарминской до Звериноголовской крепости. Практика возведения отдельных оборонительных укреплений, которые впоследствии превратились в административные центры Сибири и Степного края, позволила имперскому центру определить направления последующей экспансии. Н.Ю. Замятина охарактеризовала данную политику как стратегию «оцентрирования территории»⁷. Эта стратегия заключалась в создании отдельных административных опорных пунктов (городов, укреплений) с целью утверждения позиций империи в регионе. Основывая военные пункты, государство утверждало свое право на данное пространство, формировало соответствующую имперскую идеологию, умозрительные, а впоследствии и вполне реальные представления о его принадлежности и полной зависимости от имперского центра. Организация военно-административных единиц значительно опережала процессы торгово-промышленного проникновения в Степной край.

В начале XIX века потребность завершения имперского строительства, опыт управления другими национальными окраинами, отсутствие возможности локализовать пограничные конфликты силами иррегулярных войск заставили самодержавие перейти к юридическому оформлению статуса Степного края, продвижению «линии» военных укреплений в пределы степной зоны. «Устав о сибирских киргизах» от 22 июля 1822 года⁸ способствовал не только систематизации принципов управления, судопроизводства, социально-экономических отношений, но и законодательно оформил стратегические планы самодержавия в отношении государственной границы в регионе. Параграф 317 Устава гласил: «Сибирские линии в значении стражи не составляют учреждения на всегдашние времена, но по мере распространения порядка в занимаемых киргизами землях, стража сия продвигается вперед и, наконец, должна кончить постоянным утверждением себя на действительной государственной границе». Под «действительной государственной границей» понимались «естественные пределы», т. е. реки и горные хребты. С точки зрения подавляющего большинства российских чиновников – представителей центральной и сибирской администрации – степная зона не обеспечивала надежных границ для государства, а кочевое население не представляло значительного экономического интереса для империи⁹. Военный историк, чиновник, сторонник теории «естественных границ» А.И. Макшеев рассматривал процесс проникновения российского имперского пространства в степь как «неудержимое стремление русского

народа и российской цивилизации двигаться на восток» под влиянием закона исторической необходимости¹⁰. Представленные в рубрике «Архив» материалы, связанные с проведением военно-топографического обозрения Омской области в 1832 году (обозрение проводилось штабс-капитаном Генерального штаба М.П. Бутовским по инициативе начальника Главного штаба генерал-лейтенанта П.П. Сухтелена), свидетельствуют о том, что за основу разделения региона были взяты «естественные пределы», т. е. реки, озера, горные хребты, которые могли стать вехами для постановки пограничных знаков. Совершенно очевидно единство взглядов центральной и сибирской администраций по вопросу о целях дальнейшей имперской экспансии в Центральной Азии. Фактически стратегической целью имперской политики России являлось продвижение в регион до границ с Китаем и Афганистаном. Статус пограничных опорных пунктов постепенно должен был перейти от крепостей, расположенных на Сибирской линии, к административным единицам внутри Степного края – окружным приказам. Для осуществления столь трудной задачи была учреждена новая административно-территориальная единица – Омская область.

Переходный и динамичный характер этого «рубежа» обуславливался присутствием на территории Омской области постоянных и иррегулярных войск, предоставлением областному начальнику гражданских, военных и даже дипломатических полномочий. Основными задачами областной администрации, прежде всего областного начальника, стали: проведение четких пограничных линий между Омской областью и Томской и Тобольской губерниями (императорский указ от 26 января 1822 года)¹¹; организация внутренних округов и их разграничение; формирование системы внешних округов с учетом социальной обстановки в Степном крае. Представленные в рубрике архивные материалы свидетельствуют о том, что проблема проведения точных границ между данными территориальными образованиями не была окончательно разрешена вплоть до упразднения Омской области в 1838 году. Представленный в 1826 году проект военно-топографического обозрения области, составленный генерал-квартирмейстером Михаилом Петровичем Бутовским, начал реализовываться лишь с 1832-го, и то не в полном объеме. Регулярно возникающие противоречия между администрациями Тобольской и Томской губерний и Омской области по вопросу о ведомственной принадлежности отдельных населенных пунктов и укреплений, ограниченность финансовых средств не позволяли окончательно

разрешить вопрос о северо-западных и восточных границах области, но свидетельствовали о значительной доле самостоятельности губернской и областной власти в решении пограничных вопросов. Что касается южных пределов Омской области, то они вовсе не были обозначены. Единственное ограничение состояло в том, что областному ведомству подчинялись казахи Средней орды. В силу кочевого характера жизнедеятельности населения Степного края возможность очертить даже приблизительные контуры будущей государственной границы сводилась на нет. Предпринимаемые Генеральным штабом и сибирской администрацией попытки уточнить примерные границы кочевков казахов обычно сводились к проведению топографической съемки отдельных частей региона, крепостей и близлежащих кочевий.

Совершенно очевидно существование некоторых различий в установках центральной и региональной администраций по вопросу об интенсивности продвижения Российской империи в Степной край. Первоначальный энтузиазм сибирского руководства в деле скорейшей организации окружной системы (первые два округа – Кокчетавский и Каркаралинский, были созданы уже в 1824 году) достаточно быстро сменился более осторожной и продуманной политикой. В течение последующих нескольких лет (1825–1830) было решено отказаться не только от открытия новых окружных приказов, но и от проведения статистического учета населения в уже созданных¹². Социальные конфликты в кочевом обществе, народные движения (военные действия, грабежи, нападения на российские крепости) под руководством Саржана и Кенесары Касымовых, Сартая Чингисова и др., вызванные внутриродовыми противоречиями казахской аристократии, угрозой со стороны среднеазиатских ханств, попытками российской администрации внести элементы европейской рациональности в образ жизни кочевников, обострение противоречий между казахами и казаками, отношения с Китайской империей заставляли областное руководство действовать постепенно и не торопиться с окончательным решением вопроса о границах между округами. Таким образом, южные окраины Омской области в 20-30-х годах XIX века были представлены отдельными административно-военными укреплениями (окружными приказами) с определенным штатом чиновников и отрядами казаков. Между отдельными приказами зачастую полностью отсутствовало взаимодействие, что существенно осложняло процесс принятия управленческих решений в масштабах области. Областная администрация, убедившись в невозможности проведения четких пограничных линий между отдельными

округами, предпочла сосредоточиться на организации эффективной работы приказов, отложив решение вопроса о границе на более дальний срок.

Несомненно, что особенности степного рельефа, отсутствие естественных преград, отделяющих Российское государство от соседних территориальных образований, неизбежно толкали самодержавие к расширению своих пределов даже вопреки требованиям здравого смысла. Огромные финансовые затраты, с которыми был сопряжен процесс формирования имперского пространства¹³, окупались достижением территориальной целостности и конкурентоспособности государства на международной арене. В этом отношении Омская область исполнила роль административного центра в процессе продвижения империи в Центрально-Азиатский регион, подготовила почву для последующего проведения военных мероприятий, в результате которых удалось решить и проблему установления более определенных южных границ империи. Сложность поставленных задач, громадность пространства, которое предполагалось реорганизовать, столкновение разнообразных геополитических интересов обусловили противоречивость и незаконченность административных преобразований в Степном крае.

Омской области была уготована роль стратегического ориентира, «опытного образца» в процессе последующего освоения региона империей. Прекращение функционирования данной административной единицы в соответствии с положением «Об отдельном управлении сибирскими киргизами» от 6 апреля 1838 года¹⁴ означало движение политической границы Российской империи от Сибирской линии в глубь степного геополитического пространства. Оно также означало сохранение глубоких внутренних границ социально-культурного свойства на вновь приобретенной территории, которые и позволяют говорить об имперском характере российской истории.

Публикуемые ниже документы хранятся в Государственном архиве Омской области (ГАОО), в третьем фонде Главного управления Западной Сибири. Они включают рукописные материалы преимущественно официального делопроизводства (рукописные тексты расшифрованы автором публикации). Основным критерием подбора документов явилась степень раскрытия в них вопросов пограничного устройства Российской империи в Степном крае, а также взглядов сибирской и центральной администраций на эти вопросы. Несмотря на то, что эти документы высоко востребованы исследователями – как российскими, так и

западными – предлагаемый мною аспект их рассмотрения с точки зрения имперского видения «естественных», символических, политических и социально-экономических границ раскрывает новые возможности их использования.

Документы из Государственного архива Омской области (ГАОО)

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приемля основанием учреждение для Управления сибирских губерний, в 22 день июля 1822 года Высочайше утвержденное, предполагается об открытии новой Омской области, сделать следующее:

§ 1. Торжественное открытие Управлений Омской области, общего и частного, в прилагаемом при сем под лит. А, расписании поименованных, назначается сего года ноября в 8 день.

§ 2. С того времени все чиновники в сию Область Высочайше утвержденные по представленной власти Генерал Губернатором назначенные, равно и областным начальством избранные, в прилагаемом при сем под лит. Б, расписании поименованные, по приведении их на верность службы Его Императорскому Величеству к присяге, вступают в отправление их обязанностей, Высочайше утвержденным о Сибирских Губерниях Учреждением¹⁵ и всеми существующими государственными узаконениями постановленных.

§ 3. По открытии областных Управлений, общего и частных, каждое из них должно донести ближайшему своему новому высшему по нем начальству о совершении открытия и о принятом действии своих обязанностей.

§ 4. Действия Областного Управления общего и частных, по открытии их, заключатся будут по узаконениям формальным образом в отношении только линейных внутренних округов¹⁶; к устройению же на таком положении внешних из сибирских киргизов, по особенному об них Высочайше утвержденному Уставу¹⁷, приступить впредь по мере удобств, какие изысканы и представлены для сего лучшими, по предварительному рассмотрению касающихся к оным обстоятельству, ближайшему обозрению местных положений и по соображении всех видов к достижению возможных способов учредить их порядком, могущим служить к твердому восстановлению благосостояния сего народа и к настоящей пользе; а до того оставаться за линейным киргизам на прежнем положении, по

местному удобству, под зависимостью и надзором ближайших на линии окружных начальств, коим предоставлено действовать к сохранению между ними тишины и спокойствия кроткими и благоразумными средствами, сообразно с правилами в Уставе об них начертанными; в случае каких либо беспорядков, или важных происшествий, по которым нужно будет принять меры к пресечению зла и доставлению в обидах по жалобам удовлетворения следствием и расправою, донести областному начальству и поступать по его разрешению.

§ 5. Границы Области сообразно с примерною картою¹⁸, заключают все воинские посты и заселения на линии¹⁹ и в близком от оной расстоянии лежащие. По сему все земли и угодья, коими городские жители и воинские команды доньше пользовались, так же земли и угодья принадлежащие селениям в Область Омскую входящие, остаются в тех самых границах, как городские обыватели, водворенные казаки, солдаты, крестьяне и станичные киргизы владеют оными ныне²⁰ с наступлением же в будущем 1824 году весны, для назначения постоянных границ Области от Тобольской и Томской Губерний, натуральною чертой, а где удобно живыми урочищами и постановлением знаков, отправятся на места, как от оных Губерний, так и от Области чиновники, которые снабжены будут подробными по сему предмету наставлениями²¹.

§ 6. Округи внутренние заключают в себе, тоже сообразно с примерною картою, от границ Тобольской и Томской Губерний, все места на линии и близ оной, в область входящие, в нижеследующем пространстве, начиная с правой стороны линии: округ Петропавловский: от редута Сибирского до крепости Полуденной, исключительно с оными. Округ Омский: от редута Атмасского, исключительно с оными. Округ Семипалатинской: от редута Татарского до редута Талицкого включительно с оными. Округ Усть-Каменогорский: от форпоста Шульбинского, за устье речки Берель, к вершинам реки Бухтармы до Китайских владений²².

§ 7. Округи сии образуясь известным назначением их пространства, соответственно местному расположению на линии казачьих полков (кроме 9 и 10-го, расположенных в Томской губернии)²³ вмещают в себя все заключающиеся на том пространстве города, крепости, редуты, форпосты и прочие заселения, в прилагаемой при сем под лит. Б, Ведомости именованных, со всеми в оных обывателями, купцами, мещанами, торговцами Азиатскими, иноземцами, крестьянами, казаками, отставными солдатами и станичными киргизцами. По сей ведомости означает число

станций, соответственно расположению эскадронов, коими должны управлять командиры их, о заселении внутри линии и близ оной, где живут крестьяне, образуются особые волости, расположение коих по местному обозрению представлено Окружным начальникам <...>

§ 9. Со дня открытия Управления Омской области общего и частных (о чем известится и чрез публичные ведомости) прекращается действие начальств Тобольской и Томской Губерний на места и жителей в новое ведомство области Омской поступающих; а во всех потребных случаях Губернские и окружные начальники и присутственные места сносятся с начальством областным и окружным и Присутственными местами Омской области на общих правилах.

§ 10. По открытии Области и частных учреждений, обязаны они заняться немедленно составлением о всем ведению и управлению каждого предоставленном подробных ведомостей и доставлением оных по порядку к ближайшему своему начальству, для составления общего статистического по новому области устройству описания.

§ 11. С открытием областного Управления, дела существующей Пограничной Комиссии²⁴, поступают в оное, сообразно их роду, одни по заграничным сношениям в канцелярию областного Совета, а другие исковые и уголовные в Областной суд; чиновники же ее размещаются к должностям в числе прочих показанных по расписанию упомянутому в § 2.

*Полковник Броневский*²⁵

(ГАОО. Ф. з. Оп. I. Д. 127. Л. 81–86)

II. ДОНЕСЕНИЕ ОБЛАСТНОГО НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛ ГУБЕРНАТОРУ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ²⁶ П.М. КАПЦЕВИЧУ от 13 мая 1824 г.

В бытность мою за границую в Совете Омского Общего Областного Управления рассматривалось донесение Омского Окружного начальника²⁷ последовавшее с представления к нему управляющего Омским земским судом о невошедших в Областное Ведомство крестьянских селениях состоящих от линии не менее чем в 30-ти верстах²⁸; о чем Председательствующий тогда в Совете представил ко мне в копии журнал, предоставляющий войти с представлением Главному Начальству, с испрошением от оного на определенное расстояние от линии назначения Областной черты разрешения. Согласясь во всем с положением Областного Совета, приемлю смелость представить на уважение к Вашему Высокопревосходительству с оного список и покорнейше прошу: разрешить

меня в решительном положении Областной черты от состоящей линии в Ведомства Губернские; при чем смею присоединить, что настоящее от Губернских мест в Область причисление крестьянских селений и по собственному моему удостоверению неудобно: ибо многие селения, которые от линии далее, причислены к области, а ближние остались в Губернском Ведомстве; бывшие у одного прихода, или принадлежа одной церкви раздроблены и некоторые выселки из деревень имея общие связи родства и владея смежно землями и угодьями тоже разлучены теперь разделом в разные ведомства; и потому если как предположено означить новую черту Области, то она весьма будет неровна и от того неминуемо произойдут в землях у крестьян споры, как Совет в своем положении изъясняет. Буде же решительно благоугодно будет Вашему Высокопревосходительству приказать Областную черту назначить повсеместно от линии в прямом направлении не далее 30-ти или 40 верст, тогда крестьяне Областные и Губернские будут уверены в постоянном черты проложении и предстоящие недоразумения и тяжбы о угодьях отвращены будут; да и киргизцам, переходящим на зимовку и верноподданным доставится удобство кочевать на землях ведомства Областного и не переходить в соседственные Губернии, где уже власть надзора по силе Сибирского учреждения со стороны Областного Начальства не простирается. Впрочем я полагаю еще со своей стороны всю не заселенную степь между Иртыша и Чановских озер, равно между Обью и Иртыша лежащую определить в Область, которая оставаясь в диком состоянии и натурою как бы назначена для кочевых народов, где они и действительно в большом количестве со своими стадами находятся; предаю сие впрочем Начальственному Вашему благоусмотрению.

Гвардии полковник Броневский

(ГАОО. Ф. 3. Оп. I. Д. 127. Л. 162–163)

III. ОТНОШЕНИЕ ТОМСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА ФРОЛОВА К ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ П.М. КАПЦЕВИЧУ от 31 октября 1824 г.

Исправляющий должность Омского областного начальника, в следствие положения Областного Совета в представлении к Вашему Высокопревосходительству от 13 мая сего года за № 179 испрашивал разрешения на распространение черты Области с прилегающими к оной Губерниями в прямом направлении по линии на 30 или 40 верст и о включении в границы области всей незаселенной степи между Иртыша и Чановских озер равно между Обью и Иртышом лежащей <...>

По рассмотрении такового представления полковника Броневского ко мне от Вашего Высокопревосходительства препровожденного, я долгом поставляю изложить по сему предмету мнение мое на Главноначалъственное Ваше усмотрение.

Омская область по смыслу Высочайшего учреждения оной, будучи составлена преимущественно для лучшего устройства киргизкайсаков средней орды, а также киргизов внутри линии кочующих²⁹, должна включать в себя не только крестьянские селения, кои состоят в смежности в линию, что представляло бы затруднительность в Управлении их посторонним начальством. Посему не представляется особенной надобности во включении в границы Области многих крестьянских селений, кои как выше изъяснено составляют только побочную цель учреждения оной. <...>

(ГАОО. Ф. 3. Оп. I. Д. 127. Л. 172–175)

IV. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОМ ОБОЗРЕНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (14 декабря 1826 г.)

Чтобы произвести сие обозрение со всевозможною верностью и подробностью, то сообразив что пространство оной заключает в себе не менее боо. 000 квадратных верст, что она обитаема только кочующими киргизами, кроме внутренних округов, что местоположение в оной большей частию гористое и дикое, что есть большие пространства в оной вовсе необитаемые и безводные, – я полагаю для сего обозрения удобнее всего употребить <...>³⁰: оно может быть сделано не более как в три года, следующим образом:

Обозрение 1-го года должно состоять в том, чтобы приняв за основание Сибирскую линию снятую инструментально в прошедших годах, определить границу Омской области, главнейшие места в оной и связь инструментальных линий. Таким образом в 1-м годе будет сделана главная инструментальная сеть всей области, в которую в следующие годы будут вноситься все подробности военно-топографического обозрения. Для определения сей сети, я полагаю в 1-й год командировать пять партий, каждую с эндометром в следующие места: – 1-я партия должна отправиться в крепости: Бухтарминскую вдоль возле Китайской границы, мимо озера Нар-Зайсана и определив место в котором из сего озера вытекает река Иртыш, продолжать идти вдоль возле Китайской границы мимо г. Чугучака, по реке Караталу до того места, где чрез оную протекает

главная караванная дорога в Кашгарию; от сего места и сею же дорогою обратно до города Семипалатинска. <...>

2-я партия должна отправиться из города Семипалатинска купеческой дорогой идущей в Ташкент и Кокандию, до реки Чуй, впадающей в Сыр-Дарью, и от того места чрез Каркаралинский округ и чрез урочище Баянаул до крепости Ямышевской. 3-я партия отправится из крепости Ямышевской до источника реки Ишим, и от оного мимо озер Тент и Кызылак до города Омска. 4-я партия отправится из Омска, чрез Кокчетавский внешний округ до того места, где речка Кинкул впадает в реку Ишим, отсюда вверх по реке Ишиму до источника оной; от оного пройти возле хребта гор Алгинских до источника реки Кинкул. 5-я партия отправится из города Петропавловска вверх по реке Ишиму, до того места где в сию реку впадает речка Кинкул; отсюда вверх по сей речке до источника оной, от коего пройти возле хребта гор Алгинских по направлению к реке Тоболу и дойдя до сей реки пройти вниз по правому берегу оной до крепости Звериноголовской. <...>

Кроме подробного топографического обозрения сей области, чтобы иметь всевозможные сведения об оной в отношении политических и торговом, отклонив однако же все вредные для правительства толки китайцев, киргизов и других соседних народов, которые все вообще мнительны и столько же любопытны, должно строго внушить всем чинам в партиях находящимся, что цель сего обозрения относится единственно только к разным открытиям и исследованиям по части ботаники, минералогии, медицины и вообще по ученой части. Того же чиновника Квартирмейской части, которого угодно будет начальнику назначить для осмотру и поверки производства обозрения всех партий, поставить в неперемennую и главную обязанность приобретать с большей осторожностью всевозможные сведения в отношении политическом и торговом, как то: узнавать истинное мнение киргизов и соседей о предполагаемом открытии округов и вообще о новом их устройстве; будет ли оно полезно для распространения торговли российской во внутри Азии; неизвестны ли там какие действия англичан касательно торговли и других предметов; какого рода сведения собирают англичане, ибо как известно, некоторые из них были около южных границ Омской области; не откроются ли какие другие способы, которыми бы можно мирно и успешно достичь полезной для России торговли; имеют ли вновь приобретаемые киргизы искреннюю доверенность к российским купцам и к частным начальствам, а если нет, то почему именно, и чем более оную можно приобрести и пр. и пр. <...>

Штабс-капитан, Генерал-квартирмейстер Главного штаба Его

Императорского Величества Михаил Бутовский
(ГАОО. Ф. 3. Оп. I. Д. 642. Л. 3–4)

V. ПРОЕКТ О ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОМ ОБОЗРЕНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (декабрь 1826 г.)

<...> Между тем, как все сии пять партий в первый год будут заниматься составлением инструментальной сети верно и по возможности подробно, дабы в последствии времени удобные места можно было вносить в оную глазомерную рекогносцировку – остальные топографы при съемке Сибири стоящие, в тот же год должны производить подробную глазомерную рекогносцировку на пространстве покрытом на сей карте синею краской. Рекогносцировка сия должна производиться, начиная от округа Каркаралинского, во все стороны на всем пространстве: следовательно в 1-й год должна быть кончена инструментальная сеть всей Омской области и часть глазомерной рекогносцировки.

Во 2-й год все топографы при съемке Сибирской состоящие, должны производить глазомерную рекогносцировку, начиная от округа Кокчетавского во все стороны на пространстве покрытом на сей карте желтой краской; и наконец, в 3-й год, глазомерная рекогносцировка должна производиться силами же топографов, начиная от древнего здания Кузу-Курпещ, во все стороны на пространстве, покрытом на сей карте розовою краскою. <...>

Штабс-капитан Михаил Бутовский
(ГАОО. Ф. 3. Оп. I. Д. 642. Л. 7-10)

VI. ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ за 1823 год

Часть первая

Об устройстве вообще

Отделение I.

Образование Управлений

§ 5. Образование и открытие Управления Омской области

<...> До открытия Омской области, Генерал-Губернатор озабочен был приуготовительными мерами главнейшие к определению границ ее с таковою правильностью, чтобы входящие в состав ее жители имели все удобства к их зависимости, а местные начальства – к управлению вверенными им частями без малейшего столкновения от сторонних начальств. Сие столь обширное дело было тем более затруднительным, что губернские карты будучи токмо примерными при проверке их показывали во многих местах не то, что есть в натуре. Наконец произведенная

корпусным обер-квартирмейстером инструментальная съемка правого и левого фланга Сибирской линии дала возможность составить верную карту Омской области с определением границ ее от Тобольской и Томской губерний³¹.

При очертании границ Омской области согласно с присланной Сибирским комитетом картою оказалось, что крепость Звериноголовская с редутом Алабужским, состоящая в конце Оренбургской линии, входят в черту Омской области по положению их на правом берегу реки Тобола, непосредственно примыкаясь к Сибирской линии. Река сия образуя естественную границу между Оренбургской и Сибирской линиями, подала причину к предложению о присоединении той крепости и редута к Сибирской линии; но на предложение сие Высочайшего соизволения не последовало. <...> Главное препятствие к открытию в киргизских степях округов встретилось от не имения верной и подробной карты степей сих, не довольно еще известных по географическому своему положению. Карта сия никогда не была столь необходима, как в настоящем случае сколько для руководства при образовании внешних округов, столько же в отношении к другим видам, от точной известности киргизской степи произойти могущих. Все сие побудило Генерал-Губернатора признать необходимым приступить к рекогносцировке степей киргизских и даже в нужных пунктах к инструментальной их съемке, о предположениях сих с объяснением имеющихся здесь средств к исполнению, представлено Начальнику Главного штаба Его Императорского Величества от 13 марта 1823 года для исходатайствования Высочайшего на то соизволения.

(ГАОО. Ф. 3. Оп. I. Д. 228)

VII. СПИСОК С ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСПОДИНУ ВОЕННОМУ МИНИСТРУ, КОМАНДИРА ОТДЕЛЬНОГО СИБИРСКОГО КОРПУСА И ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ от 23 марта 1835 года

<...> С того времени, назначенные Высочайше утвержденным уставом о сибирских киргизах: разграничение земель и определение новой линии остается без исполнения. Первое из них необходимо как для многих общих по управлению внешними округами отношений, так и для частной пользы киргиз и прекращения между ними распрей нередко возникающих от споров о принадлежности земель, а во втором, по неизвестности мне видов правительства в отношении пределов с владениями Средней Азии, я должен ограничить свои суждения следующим:

<...> Сибирские крепости сохраняют только название крепостей, но в сущности не соответствуют названию: ибо признаки древних укреплений

время от времени исчезают; а потому я не находя прямой пользы от существования упомянутых крепостей кордонного ведомства в настоящем их положении и встречая подобно предместникам моим затруднения в расходовании сумм на возведение в них прочих зданий могущих быть впоследствии оставленными, а вместе с тем полагая, что благовременное основание крепостей на вновь избранных пунктах, совершенно сообразных с местностью в военном и политическом отношениях Западной Сибири, весьма неизлишне – считаю полезным: как по изложенным мной причинам так и для ограждения отдаленных волостей верноподданных киргизов от набегов Ташкенцев³² и других хищных скопищ, приступить по благоусмотрению Правительства, к учреждению линии впереди внешних округов, которые уже открыты, но для того полагал бы предварительно нужным: разграничение земель Сибирских и Оренбургских киргизов и возобновление рекогносцировки Киргизской степи: тем более что все верноподданные киргизы средней орды по объявлении им намерения и исполнения бывшей рекогносцировки не показывали ни малейшего недовольствия, и вообще всякое новое неотяготительное для них действие наших войск внутри их округов, считают доказательством покровительства. <...>

Штатные же крепости Омскую, Петропавловскую и Устькаменогорскую или вместо ее Бухтарминскую как ближайшую к китайской границе и могущую способствовать к развитию в этом крае торговли, я почитал бы полезным иметь всегда в должном виде и с достойным гарнизоном; а как устройство внешних округов увеличившее Омскую область более нежели 775 тысяч квадратных верст и полумиллионом народа делает эту часть Западной Сибири весьма значительною, как по близости азиатских владений ведущих с Россией торговлю, так и по расположению в ней части войск Сибирского Отдельного Корпуса, то для лучшего удобства в управлении, совершенствования благоустройства и скорейшего течения дел считаю также необходимым: чтобы Корпусная квартира и Главное Управление Западной Сибири находились в Омске, составляющем центр лучшей и более населенной ее части – средоточие между Тобольском и Томском.

*Генерал от инфантерии Вельяминов*³³
(ГАОО. Ф. 3. Оп. I. Д. 568. Л. 231–236)

VIII. ЖУРНАЛ СОВЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ от 22 декабря 1838 г.

Совет Главного Управления Западной Сибири во исполнение словестного предложения Г. Генерал Губернатора³⁴, имел рассуждение о назначении срока для упразднения Омской области и находя: что хотя Г. Министр Внутренних дел до сего времени не сделал никакого отзыва, в следствие отношения Его Сиятельства, от 20-го июля № 83 на счет перечисления селений и станиц по новому расписанию, согласно предполагаемому с уничтожением Омской области преобразованию Тобольской и Томской губерний <...>

По всем сим соображениям, Совет Главного Управления полагает:

1) Закрыть Омскую область 1-го января 1839 г.
2) В следствии сего предложить ГГ. Томскому Гражданскому Губернатору, состоящему в должности Тобольского Гражданского Губернатора³⁵, Управляющему Омской области³⁶ и исполняющему должность Пограничного начальника сибирских киргизов³⁷, исполнить без умедления и во всех частях разослать к ним Положение Главного Управления 17–18 ноября № 107, о средствах передачи дел и сумм по упраздненной Омской области и о всех распоряжениях по сему предмету, донести Г. Генерал Губернатору Западной Сибири.

3) В 1-е число Января наступающего года, открыть управление сибирскими киргизами с распространением сего управления на все подчиненные ему части.

4) Об упразднении Омской области и присоединении городов и округов по новому распределению согласно Высочайшему Указу 6-го Апреля сего года, равно о разграничении селений и станиц к сим округам, согласно прилагаемому расписанию³⁸, поручить Томскому гражданскому губернатору и Тобольскому состоящему в должности Гражданского Губернатора, оповестить всех жителей Западной Сибири через печатные объявления. <...>

8) О закрытии Управления Омской области донести чрез Г. Генерал Губернатора Правящему Сенату и уведомить ГГ. Министров.

*Подлинное подписали М. Никулищев, А. Полетаев,
В. Протопопов, Я. Капустин, Н. Соловьев и Е. Шакурин*

Примечания:

1 Rieber A. Changing Concepts and Constructions of Frontiers: A Comparative Historical Approach // *Ab Imperio*. 2003. No. 1. P. 23–46

2 Венюков М.И. Обзорение русско-азиатских границ. Б.м., 1873. С. 27.

3 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских

степей. Древность и Средневековье. СПб., 2000. С. 294–295.

4 *Замятин Д.Н.* Моделирование геополитических ситуаций (на примере Центральной Азии во второй половине XIX в.) // Полис. 1998. № 2. С. 64–76.

5 *Савицкий П.* Континент Евразия. М., 1997. С. 317–321. Использование понятия «евразийская граница» в интерпретации П. Савицкого не означает, что оно всесторонне характеризует данное сложное явление. Но оно отражает реальность столкновения двух противоположных миров, культурных сообществ, которые взаимодействуют друг с другом, а не пытаются тотально навязать свои принципы существования.

6 *Венюков М.* Международные вопросы в Азии // Русский вестник. 1877. № 6. С. 488–489.

7 *Замятина Н.Ю.* Модели политического пространства // Полис. 1999. № 4. С. 29–41.

8 Полное Собрание Законов Российской империи (ПСЗ-1). СПб., 1830. Т. XXXVIII. № 29127.

9 *Ремнев А.В.* «Естественные границы» империи и степь в геополитической конструкции М.И. Венюкова // Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII–XIX вв.): Тезисы докладов и сообщений II Международной научной конференции. Омск, 2001. С. 7.

10 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 400. Оп. г. Д. 4733. Л. 8.

11 ПСЗ-1. СПб., 1830. Т. XXXVIII. № 28892.

12 Государственный архив Омской области (ГАОО). Ф. 3. Оп. I. Д. 36. Л. 374.

13 *Олейников Ю.В.* Природный фактор геополитической стратегии России // Философия и общество. 1997. № 6. С. 129.

14 ПСЗ-2. СПб., 1839. Т. XIII. № 11122.

15 Речь идет об «Учреждении для управления сибирских губерний» от 22 июня 1822 г. (ПСЗ-1. СПб., 1830. Т. XXXVIII. № 29125), дополнением к которому послужили уставы «Об этапах в Сибирских губерниях», «О ссыльных», «Об управлении инородцев», «О сибирских киргизах», «О сибирских городских казаках» и др.

16 В соответствии с «Учреждением для управления сибирских губерний» в Омской области было учреждено четыре внутренних округа: Петропавловский, Омский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский. Процесс создания внутренних округов завершился к началу 1824 г.

17 Внешние округа Омской области предполагалось создать

непосредственно в казахской степи, примыкающей к линии крепостей и форпостов. Организация и деятельность данных административно-судебных единиц регулировалась «Уставом о сибирских киргизах» от 22 июля 1822 г.

18 Примерная карта границ области стала приложением к императорскому указу от 26 января 1822 г. «О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления» (ПСЗ-I. СПб., 1830. Т. XXXVIII. № 28892). К сожалению, обнаружить эту карту в Государственном архиве Омской области не удалось.

19 Сибирская линия была основана в первой половине XVIII в. и представляла собой отдельные крепости и форпосты.

20 Перечисленные в документе сословия на протяжении XVIII–XIX вв. претерпели существенное изменение своего статуса и правового положения. Городские обыватели (с 1775 г. мещане) занимались преимущественно ремеслом, мелкой торговлей и иногда незначительными земельными наделами. Казачество Сибири разделялось на две категории: городовые, превратившиеся к началу XIX в. в административно-полицейских служащих, и приграничные, входившие в состав Отдельного Сибирского корпуса. Крестьянское сословие представлено категорией государственных крестьян, в состав которых с 1720-х гг. вошли черносошные крестьяне, а также некрестьянское население, занимающееся сельским хозяйством (ямщики, монастырские крестьяне, отставные солдаты, «гулящие люди» и т. д.). Наконец, категория станичных (внутренних) киргизов появилась в Сибири в результате распространившейся практики переселения кочевников на правый берег реки Иртыш на протяжении XVIII–XIX вв., которой для кочевков выделялись земельные угодья по согласованию с крестьянской общиной и местной сибирской администрацией.

21 Действительно, корпусным обер-квартирмейстером Дьяконовым, по указанию генерал-губернатора Западной Сибири, в течение 1824 г. была проведена инструментальная съемка правого и левого флангов Сибирской линии, что позволило составить новую карту области, которая и была утверждена императором 15 сентября 1827 г. (ГАОО. Ф. 3. Оп. I. Д. 127. Л. 105).

22 До момента заключения Пекинского договора 1860 г. никаких четко фиксированных географических пределов на западной части русско-китайской границы не существовало. Архивные документы позволяют рассматривать в качестве таковых цепь китайских пикетов, протянувшихся за Тарбагатаем, в районе Тянь-Шаня и Кашгарии. См. подробнее: Границы

Китай: История формирования. М., 2001.

23 Границы внутренних округов устанавливались в соответствии с расположением полков Сибирского казачьего войска, т. е. по полковому признаку.

24 С 1816 года в городе Омске действовало особое учреждение – Пограничная комиссия, полномочия которой заключались в разрешении взаимных противоречий среди казахских кочевников по их просьбе. Данная комиссия стала прообразом окружной системы управления, созданной в Степном крае в соответствии с «Уставом о сибирских киргизах» (Бабков И.Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири, 1859–1875. СПб., 1912. С. 309–310).

25 Полковник Семен Богданович Броневский (1786–1858) – первый омский областной начальник (1823–1824), организатор окружной системы управления, участник Кавказских войн (1803–1808), генерал-губернатор Восточной Сибири (1835–1837). См. подробнее: Из воспоминаний первого омского областного начальника С.Б. Броневского / Вступительная статья, подготовка текста к печати и комментарии А.В. Ремнева // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 1999. № 7. С. 276–299.

26 Генерал-губернатор Западной Сибири первой половины XIX в. выступал главой местного сибирского управления и наделялся обширными административно-хозяйственными, финансовыми и судебными полномочиями. Под его непосредственным надзором находилась администрация губерний, округов, волостей, городов и других единиц, в том числе и омский областной начальник. При генерал-губернаторе действовал Совет Главного управления Западной Сибири, наделенный совещательными функциями. На протяжении XIX в. отмечается тенденция к увеличению его влияния в качестве политической фигуры, обеспечивающей государственную безопасность в пределах генерал-губернаторства, усилению его личной власти. Это приводит к усложнению отношений с губернаторами и расширению ведомственного присутствия министерств в регионе. См. подробнее: Ремнев А.В. Генерал-губернаторская власть в XIX столетии. К проблеме организации регионального управления Российской империи // Вестник Омского отделения Академии гуманитарных наук. Омск, 1997. С. 79–85.

27 Начальник Омского внутреннего округа полковник Безносовых поддержал инициативу крестьян, обратившихся в суд с просьбой определить их ведомственную принадлежность.

28 Речь идет о двух крестьянских волостях – Лузинской и

Кулачинской.

29 В соответствии с «Учреждением для управления сибирских губерний» 1822 г. юридически закреплялось существование такой категории казахских кочевников, как «внутренние киргизы». Последние на протяжении XVIII – начала XIX в. регулярно переходили Сибирскую линию и кочевали на внутренней стороне реки Иртыш в поисках защиты от родовых междоусобиц и внешней агрессии среднеазиатских государственных образований. На них распространялись основные положения «Устава об управлении инородцев». Впоследствии, с 1854 г. казахи, проживающие во внутренних округах, были подчинены особому управлению.

30 Нечеткий почерк.

31 Это утверждение не соответствует реальной действительности, поскольку и в 1835 г. отсутствовали точные границы между Омской областью и Тобольской и Томской губерниями (ГАОО. Ф. 3. Оп. г. Д. 568).

32 Население Ташкентского бекства – среднеазиатского полугосударственного образования, поглощенного в первом десятилетии XIX в. Кокандским ханством. Основными занятиями населения явились торговля и грабеж. Российская администрация термином «ташкенцы» зачастую называла все народы, проживающие за озером Балхаш, за исключением бухарцев – жителей Бухарского эмирата. См. подробнее: История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней / Под ред. К.З. Ашрофян. М., 1989. С. 387.

33 Иван Александрович Вельяминов – генерал-губернатор Западной Сибири (1827–1834).

34 Должность западносибирского генерал-губернатора с 1836 по 1851 г. исполнял Петр Дмитриевич Горчаков.

35 Полковнику Ф. Бергу.

36 Обязанности областного начальника в 1838 г. исполнял Иван Дмитриевич Талызин, который в 1834 г. занимал данную должность.

37 Полковнику Фалецкому.

38 Основные положения нового административного деления были изложены в положении «Об отдельном управлении сибирскими киргизами» от 6 апреля 1838 г. Внутренние округа Омской области присоединялись к Тобольской и Томской губерниям, а внешние образовывали отдельную область сибирских киргизов.

Между колонией и метрополией

Анатолий Ремнев

Университетский вопрос в Сибири XIX столетия

22 июля 1888 года в Томске состоялось торжественное открытие первого в Сибири университета. Его ректор произнес речь, которая имела не только программный, но и полемический характер, понятный тогда многим. В ряду положенных по такому случаю торжественных слов, он объявил:

Пусть откроет он в недрах народной жизни источники новых деятельных сил и докажет потомству, что при помощи света, правды и разума можно превратить страну ссылки, скорби и запустения в благоустроенную, равноправную и равносильную с остальными русскими областями, нераздельную часть великого Российского государства!¹

Чтобы понять, в чем был смысл этих слов, следует обратиться к истории университетского вопроса в Сибири, который был гораздо шире учреждения высшего учебного заведения.

Тяжба сибиряков по поводу университета имела уже к тому времени длительную историю, начало которой может быть отнесено к первым годам XIX столетия. Действуя в духе эпохи Просвещения и верный заветам царственной своей бабки Екатерины II, Александр I в самом начале своего царствования принялся за реформирование системы образования. Главным побудительным мотивом такой просветительской политики являлась острая нужда в образованных людях на государственной службе. Преобразования государственного устройства должно было сопровождаться мерами по улучшению качественного состава бюрократии. Указом 24 января 1803 года «Об устройстве училищ» предусматривалось: «Ни в какой губернии спустя пять лет... никто не будет определен к гражданской должности, требующей юридических и других познаний, не окончив учения в общественном или частном училище»². В стране создавалась единая система учебных заведений, разделенных на разряды: приходские, уездные, губернские (гимназии). Центром образования в учебном округе являлся университет. Было организовано шесть учебных округов, открыто несколько высших учебных учреждений. Упоминалась в этом указе и Сибирь. Александр I, намечая места, в которых следует в

будущем открыть университеты, считал, что таким городом для Сибири должен стать Тобольск. Видимо, царские планы подвигли горнозаводчика П.Г. Демидова, внука знаменитого Никиты Демидова, пожертвовать в 1803 году на сибирский университет 50 тысяч рублей. Но это не помогло, вопрос о сибирском университете отложили на неопределенное время, а демидовский капитал под проценты был помещен в Московскую сохранную казну, а затем был частично использован на содержание тобольской гимназии.

Следующим правительственным актом, повысившим образовательный ценз для получения классного чина, стал известный указ 6 августа 1809 года, подготовленный М.М. Сперанским. Согласно этому указу, для получения чина коллежского асессора необходимо было иметь свидетельство об окончании университета или требовалось сдать экзамен университетской комиссии³. Для последней категории организовывались университетские курсы⁴. Однако Сибирь была избавлена от действия этого указа, и за Урал на службу поспешили титулярные советники, которые из-за образовательной преграды не смогли получить следующий чин, а значит, и потомственное дворянство в Европейской России.

На какое-то время острота нехватки чиновников в сибирских губерниях могла быть снята за счет льгот и привилегий за службу в отдаленных местах империи. Но это отнюдь не улучшило качественный состав сибирской бюрократии, что не могло не беспокоить местную администрацию. Сибирский генерал-губернатор И.О. Селифонтов полагал, что льготы не смогли положительно изменить состав сибирских чиновников, «ибо, привлекаема будучи сею приманкою, набрела туда всякая сволочь»⁵. М.М. Сперанский, проводивший в 1819–1821 годах ревизию сибирских учреждений, жаловался, что заменить замеченных в злоупотреблениях чиновников нечем. Но каких-либо новых мер по подготовке чиновников для Сибири Сперанский не предложил, лишь зафиксировал в «Сибирском учреждении» 1822 года прежнюю систему привилегий службы за Уралом. Сохранилось в том числе и право посылать на казенный счет стипендиатов в высшие учебные заведения Европейской России, но и эта льгота оказалась малоэффективной из-за слабого развития сибирских гимназий и нежелания выпускников университетов возвращаться в Сибирь.

Вновь к идее создания сибирского университета вернулся первый западносибирский генерал-губернатор П.М. Капцевич, назначенный на эту должность в 1822 году. Уже 20 марта 1823 года он ходатайствовал перед

Сибирским комитетом об учреждении в крае высшего учебного заведения. Столкнувшись не просто с недостатком толковых сотрудников, но и с откровенным противодействием старых сибирских чиновников, Капцевич остро почувствовал необходимость обновить состав здешнего бюрократического аппарата. В своем рапорте он ярко обрисовал бедственное состояние образования в Сибири, в которой было только две гимназии – в Тобольске и Иркутске.

По его свидетельству, оканчивали полный гимназический курс из-за бедности родителей всего «пять учеников, если еще не менее». Поэтому ожидать, что эти выпускники поедут учиться в российские университеты, тогда как «нет средств пользоваться и местным учением», не приходилось. Отправлять желающих за казенный счет дорого, да к тому же это совершенно не решает проблемы: что будут значить для Сибири два-три студента?⁶ Капцевич попытался обратить внимание на нужды Сибири самого царя: «Примыкаясь к своему отечеству одною линиею и продолжаясь между неприступным морем и чуждающимися соседями, Сибирь что иное представляет, как не колонию сиротствующую, которая по сему самому и должна чаще вызывать к отцу ее отечества»⁷. Официальное ходатайство западносибирский генерал-губернатор подкрепил частным письмом к своему петербургскому покровителю, всесильному тогда гр. А.А. Аракчееву, питая надежду, что тот примет «дело сие ближе, нежели кто другой». В письме Капцевич не жалел черных красок: «Не можно равнодушно видеть начальнику, до какой степени гниет нравственность в состоянии даже высших чинов. Она долго будет поддерживаться перепискою людей порочных из России, да и как иначе!»⁸

П.М. Капцевич предлагал избрать для Высшего училища, как он именовался в документе, один из городов, удобный как для Западной, так и Восточной Сибири. В рапорте такой город не назывался, указывалось только, что лучше всего остановить выбор на одном из городов на юге Сибири, «куда населенность по естественным причинам сама собою склоняется». В дальнейшем все же будут иметь в виду Тобольск как административный центр Западной Сибири, где есть гимназия, хотя Капцевич уже отдавал пальму первенства Омску, куда и перенес свою резиденцию. Проектировалось установить казенное содержание воспитанникам из Западной Сибири: в гимназии 120 человекам, а в Высшем училище – 60. Число воспитанников из Восточной Сибири должен был определить местный генерал-губернатор. По учебной части Высшее училище предусматривалось подчинить Министерству народного

просвещения, а по хозяйственной – Главному управлению Западной Сибири.

Ходатайство Капцевича об устройстве высшего учебного заведения в Сибири подало попечителю Казанского учебного округа (в состав которого входила вся Сибирь) М.Л. Магницкому мысль реорганизовать тобольскую гимназию, присвоив ей особый статус. В представлении министру духовных дел и народного просвещения кн. А.Н. Голицыну 30 марта 1823 года Магницкий предложил расширить программу обучения в ней, что позволило бы готовить хороших чиновников. Такая гимназия, по его мнению, помогла бы решить целый ряд проблем:

Доставляла бы из нужного числа казенных воспитанников: 1, студентов университета, 2, учителей для училищ сибирских, 3, таких чиновников для сего края, кои бы, имея о нем хорошее понятие и зная обычаи разных к нему принадлежащих областей и языки маньчжурский и монгольский, могли с пользою быть употребляемы в разные гражданские по Сибири и пограничные должности, и, наконец, 4, купеческих детей, которые имели бы нужные для торговли с Китаем познания в языках, законах и обычаях сей империи⁹.

В целом, по его представлению, во всех сибирских гимназиях в дальнейшем должны преподаваться восточные языки, право, основы судопроизводства. Желательно было бы также усилить изучение естественных наук и истории. Отлично закончивший такую гимназию выпускник мог бы сразу при поступлении на гражданскую службу получать XIV классный чин по Табели о рангах. Главное затруднение в благоустройстве Сибири, подчеркивал попечитель Казанского округа, заключается в отсутствии не просто благонадежных чиновников, но чиновников, связанных своим происхождением с этим краем. Одно воспитание, писал Магницкий, совершенно в духе формировавшейся уже в те годы «официальной народности», «может дать Сибири, отдаленной от прочих стран империи природою, постановлениями и обычаями, учителей, судей, полицейских чиновников, которые бы были не пришельцы под величественным ее небом и берегли ее как свою родину»¹⁰.

Разделял Магницкий и мнение Капцевича, что готовить чиновников в самой Сибири значительно дешевле, чем привлекать их из Европейской России. Однако если же устраивать в Сибири высшее учебное заведение, то, как полагал Магницкий, расположить его нужно в Барнауле, «по его

климату и срединному положению в Сибири, а также по наличию ученых горных чиновников». Предложение его было поддержано Министерством народного просвещения, которое согласилось открыть Высшее училище в Барнауле как отделение Казанского университета. Правда, оговаривалось, что расходы на его содержание следует отнести на счет сибирских средств.

Сибирский комитет в принципе согласился с этой идеей, но желал разместить его в Томске – губернском городе, который также расположен в центре Сибири и к тому же на Московском тракте. В качестве аргумента против Барнаула было заявлено, что там от горных заводов нездоровый воздух. В пользу Томска высказался и местный губернатор П.К. Фролов, известный своими изобретениями в металлургии.

Но выбрать город для высшего учебного заведения оказалось далеко не самым важным делом. Камнем преткновения стал вопрос финансовый. П.М. Капцевич испрашивал из казны пб 750 рублей на устройство Высшего училища, а сумму на содержание казеннокоштных студентов планировал найти в самой Сибири. Генерал-губернатор Восточной Сибири А.С. Лавинский, хотя сразу же не подверг сомнению возможность содержать высшее учебное заведение и его студентов собственно сибирскими средствами, но проявил удивительную осведомленность в финансовых делах столь далекого от Сибири Виленского университета. В 1803 году в Вильно вместо Главной школы Великого княжества Литовского, которая содержалась на средства иезуитов, был учрежден университет. С целью отыскать имущество иезуитов после запрещения их деятельности в Российской империи была даже создана специальная комиссия. Так вот, Лавинский предложил обязать эту комиссию предоставить часть конфискованных у иезуитов средств на содержание сибирского высшего училища!¹¹

Однако Капцевич, как ему казалось, нашел более реальный финансовый источник. Он решил обложить оброчным платежом рыбные промыслы на крупнейших озерах Западной Сибири, с тем чтобы он был использован на содержание сибирского университета. Но рыбопромышленников, желающих взять с торгов эти озера, не нашлось ни в 1824-м, ни в 1825 году. Крестьяне отказывались платить оброк за рыбную ловлю. И только после организации охраны озер казаками государственные крестьяне согласились с 1 июля 1825 года взять в аренду традиционные для них места ловли¹².

Впрочем, это не мешало крестьянам и далее саботировать «просвещенное» начинание генерал-губернатора. За двухлетний период с

гг озер, обложенных казенным оброком, вместо 46 722 рублей 50 копеек было собрано всего 6103 рубля 62 копейки, а остальная сумма числилась в недоимке. К тому же сама эта затея оказалась пустой, так как даже полностью собранных средств не хватило бы на содержание планируемых 180 студентов гимназии и Высшего училища¹³. Необходимой суммы не нашлось и у Министерства народного просвещения. А между тем за приписных крестьян, занимавшихся рыбной ловлей, вступился кабинет Его Императорского Величества. Как выяснилось, он не собирался делиться доходами с Министерством просвещения. В таких условиях Сибирский комитет вынужден был отменить решение Капцевича об озерном оброке.

Несмотря на внешнюю привлекательность проекта, устроить в то время Высшее училище в Сибири было вряд ли возможно. Это обуславливалось не только финансовыми трудностями или усилением в конце царствования Александра I реакционных тенденций в правительственной политике. Ведь в Петербурге «сибирских просветителей» поддерживали А.А. Аракчеев и занявший в 1824 году пост министра народного просвещения А.С. Шишков. Очевидно, только такой поддержкой можно объяснить то, что проект не был провален в самом начале.

С вступлением на престол Николая I ситуация изменилась. После отставки Аракчеева П.М. Капцевич лишился опоры в столице, а вскоре и своего поста. Отправленная в феврале 1827 году в Западную Сибирь сенаторская ревизия кн. Б.А. Куракина и В.К. Безродного идею создания сибирского высшего училища не одобрила. Ревизоры заключили, что проект преждевременен, так как в Сибири пока нет необходимых условий для основания высшего учебного заведения. В их донесении Николаю I указывалось, что наполнение Высшего училища достаточным числом студентов было бы невозможно не только из-за недостатка средств:

...[в] училище сие воспитанники должны приниматься... только из учеников, с отличием окончивших полный, преподаваемый в гимназиях курс наук, а в Западной Сибири существует одна только гимназия в Тобольске, да и в оной полный курс обучения едва ли оканчивают два или три ученика... прочих же родители или родственники их, не имея по бедности своей способов к их содержанию, берут из гимназии преждевременно, не дожидаясь окончания гимназического курса, спешат определить в самое низшее приказное состояние собственно для получения какого ни есть жалованья¹⁴.

Впрочем, их аргументы против сибирского высшего училища в этой части почти буквально совпадали с тем, что Капцевич излагал как мотивирующую потребность в ходатайстве 20 марта 1823 года. При этом ни Капцевич, ни Магницкий не задумывались, где они возьмут для будущего университета подготовленных абитуриентов и знающих свое дело профессоров. Неизбежно они должны были пойти на понижение уровня требований при приеме студентов и программы преподавания. Их умами владела прежде всего мысль о возможно более быстром наполнении бюрократического аппарата Сибири образованными чиновниками в надежде тем самым повысить эффективность управления и достичь «исправления нравов» в местном обществе. П.М. Капцевич был, по определению А.И. Герцена, выходцем из административной школы Аракчеева, не чуждым, как и его патрон, прожектерства в духе своего времени¹⁵. В 1820-е годы появилось большое число проектов, проникнутых общей идеей преобразования России, в которых вопросам просвещения и воспитания отводилось заметное место. Позднее часть этих проектов отолются в официальную формулу «православие, самодержавие, народность»¹⁶, и не случайно, что в ряду преобразователей оказались аракчеевец П.М. Капцевич и обскурант Магницкий.

О преждевременности учреждения высшего учебного заведения в Сибири неожиданно заявил визитатор училищ сибирских губерний, человек близкий к М.М. Сперанскому, П.А. Словцов, которого трудно заподозрить в равнодушии к делу просвещения¹⁷. Словцов, очевидно, подходивший с довольно высокой меркой к университетскому образованию, вообще усомнился в необходимости для сибирских чиновников обладать высшим образованием. По его мнению, Сибирь еще не готова к восприятию учреждений такого уровня образования:

...Малая населенность страны, малочисленность училищ, которые даже не по всем уездным городам еще открыты и самое число губернских гимназий, которых только две в целой Сибири, изменяют в настоящее время благим намерениям, если бы сии намерения снова клонились к предположению особых высших училищ в той и другой Сибири¹⁸.

Нужно расширять сеть сибирских гимназий и других средних учебных заведений, дополнив программу обучения предметами, необходимыми потребностям края. Поэтому Словцов, как и его казанский начальник Магницкий, предлагал повысить статус сибирских гимназий и прибавить

еще два года для изучения дополнительных наук (римское и российское право, политэкономия, прикладная математика, физика, сочинение, иностранные языки и проч.). С отменой льгот приезжающим, как правило, временно на службу в Сибирь чиновникам в погоне за чинами и доходными местами нашлись бы и нужные деньги для осуществления такого нововведения. Выпускникам, окончившим шестилетний курс в гимназии, при поступлении на гражданскую службу можно было бы присваивать сразу XIV классный чин, фактически приравняв их к выпускникам высших учебных заведений. Но, видимо, и на этом Словцов пока не настаивал, рассматривая такую меру лишь в качестве дополнительного варианта решения проблемы. Пока, считал он, первоочередной задачей является открытие гимназии в Томске, что и было осуществлено только в 1838 году.

Генерал-адъютант Н.Н. Анненков, ревизовавший Западную Сибирь в 1849–1851 годах, отметил в очередной раз низкий образовательный уровень сибирского чиновничества и поставил университетский вопрос в тесную зависимость от способов решения увеличения дворянского сословия в Сибири¹⁹. Основное население, получившее прочную оседлость в крае, составляло крестьянство, но его нравственно-политический облик вызывал опасение у правительства. Необходимо было найти противовес, как полагал Анненков, влиянию ссылки и раскола. Воздействие же чиновничества на народные массы признавалось недостаточным – оно, по заключению ревизора, слабо связано с краем и смотрит на свое пребывание в нем, «как на средство достижения частных своих и нередко непозволительных видов». В таких условиях университетский вопрос для Сибири приобретал политическое значение. Теперь на пути внедрения высшего образования за Уралом вставала общая социально-экономическая отсталость, ее специфика, связанная прежде всего с сибирской ссылкой и отсутствием местного дворянского общества. В отчете Анненкова формулировалось:

Следует решить, должно ли предоставить дальнейшее развитие Сибири из начал, в ней уже существующих, или должно стараться привить к ней общие жизненные начала, которые усвоились прочими частями государства... Первое приведет, без сомнения, к развитию Сибири на основаниях, не соответствующих потребностям русской жизни и не сообразных с началами монархическими. Последнее требует водворения в Сибири сословия дворян с предоставлением им права

собственности на землю, т. е. такого сословия, которое, будучи привязано к стране материальными выгодами и составляя часть постоянного населения, по образованию своему и общественному положению могло бы быть связующим между правительством и крестьянством и поставлять из среды своей верных слуг престолу и безусловных исполнителей воли монаршей²⁰.

Считалось, что, не имея земельной собственности в крае, дети сибирских чиновников, получив высшее образование, все равно будут стремиться покинуть Сибирь. Поэтому в проекте плана работ II Сибирского комитета, учрежденного в 1852 году, уже было официально закреплено, что высшее учебное заведение в Сибири может быть основано не раньше, чем там появится особое дворянское сословие²¹. Однако планам насаждения за Уралом помещичьего землевладения не суждено было сбыться, что поставило под сомнение и решение университетского вопроса для Сибири.

В ходе этой дискуссии главноуправляющий II Отделением Его Императорского Величества канцелярии гр. Д.Н. Блудов, опираясь на доминирующий старый тезис, что Сибирь «есть, так сказать, запасной край России», предлагал не спешить. Он утверждал, что для образования сибирского чиновничества в настоящее время достаточно выделяемых мест в Казанском университете. Но Блудов отвергал план насаждения помещичьего землевладения в Сибири, лучше «бодрять, поощрять полезные в сем крае предприятия по разным отраслям промышленности и торговли, охранять ее действия и вообще людей, свободно там водворяющихся, силою закона и благоразумного, беспристрастного управления»²². Министр государственных имуществ гр. П.Д. Киселев, для которого Сибирь была зоной особого внимания, также отнесся с большой осторожностью к помещичьему проекту Анненкова, видимо, оберегая прежде всего казенный интерес. Согласившись, что необходимо дать сибирскому чиновничеству средства к образованию их детей, он ограничился предложением усовершенствовать уже существующую систему обучения в сибирских гимназиях. Фактически это было дальнейшим развитием ранее высказанных идей: учредить при гимназиях «высшие классы», в которых бы преподавались законоведение, судопроизводство и основы делопроизводства. Окончившим с «отличием» такие «высшие классы» можно было бы присваивать сразу XII классный чин, а остальным – XIV. Кроме того, Киселев настаивал, что в условиях

Сибири не следует делать различия между детьми чиновников и дворян-помещиков²³.

В результате Сибирский комитет 22 ноября 1852 года постановил, что учреждение высшего учебного заведения в Сибири было бы «не только преждевременным, но даже едва ли полезным и удобным». Это вызовет неоправданные расходы, и к тому же за Уралом слишком мало лиц, действительно испытывающих потребность в высшем образовании. Сибирская элита состоит преимущественно из чиновников и купцов, для которых достаточно имеющихся учебных заведений, а также выделенных сибирякам 28 вакансий в Казанском университете. Богатое же купечество, посчитали в Сибирском комитете, вполне способно за свой счет отправлять своих детей учиться в столичные университеты²⁴. Как и 20 лет назад, Сибирский комитет предлагал расширить сеть низших и средних учебных заведений в самой Сибири, хотя уровень предложений заметно снизился.

Сибирские генерал-губернаторы и губернаторы уже не замахивались на создание сибирского университета, более прагматично концентрировали свое внимание на среднем и низшем уровнях образования. На этом настаивал и западносибирский генерал-губернатор Г.Х. Гасфорд. Он также предлагал уравнивать в правах на льготы и привилегии за службу за Уралом сибирских уроженцев, получивших высшее образование, с приезжающими из Европейской России²⁵.

Неожиданно против сибирского университета и привилегий для сибирских уроженцев выступил генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев (будущий граф Амурский), которого потом назовут «сибирский янки». Его позиция объяснялась той борьбой, которую ему пришлось вести в эти годы с оппозицией иркутского купечества и сроднившегося с ним местного чиновничества. В отзыве на отчет Анненкова Муравьев довольно категорично заявил, что вообще что-либо менять в системе образования в Сибири нельзя,

особливо в тех видах, чтобы заведения эти образовывали для Сибири чиновников из тамошних уроженцев, которые, имея родственные и другие там связи и получив там первоначальное воспитание, неминуемо получают и то пагубное направление, которым отличается сословие местных купцов и чиновников. Гораздо полезнее, чтоб присутственные места в Сибири наполнялись благонамеренными людьми, рожденными и получившими надлежащее образование во внутренних губерниях

России, а если даже и из сибирских уроженцев, то, во всяком случае, таких, которые с юных лет удалены были для воспитания с места их родины и тем избавились от заразы, сильно распространившейся в сибирском крае в этом классе²⁶.

В 1858 году именно Муравьев помешал министру народного просвещения А.С. Норову сдвинуть с мертвой точки вопрос о сибирском высшем учебном заведении. Не помогло и то, что Норов заручился поддержкой Александра II и был уже готов заняться «начертанием плана сего высшего учебного заведения, которое, не теряя своего университетского характера, должно быть числом, составом и направлением своих факультетов приспособлено к потребностям страны»²⁷.

Новый этап в развитии университетского вопроса в Сибири начался в 1860-е годы, и не только совпал с эпохой «великих реформ», но и стал частью пробуждающегося общественного сознания самих сибиряков. В борьбу за открытие высшего учебного заведения за Уралом вступила сибирская общественность, сделав это частью своего рода программы за уравнивание в правах Сибири с Европейской Россией. Из разговоров в тесных кружках сибирской интеллигенции или в сибирских землячествах в столицах и Казани университетская тема выходит на страницы журналов и газет. Примечательно, что в данном вопросе общественные инициативы, как правило, находили, пусть и осторожную, поддержку местной высшей администрации. В 1860 году в Иркутске вокруг чиновника Б.А. Милютина, брата известных реформаторов Н.А. и Д.А. Милютиных, сложилась небольшая группа единомышленников (братья Павлиновы, С.И. Турбин и др.), которые живо обсуждали перспективы открытия сибирского университета. В Главном управлении Восточной Сибири их поддерживал В.Д. Карпов, игравший, по свидетельству Б.А. Милютина, при генерал-губернаторе М.С. Корсакове важную роль²⁸. Воспитанник Царскосельского лицея Карпов и в Сибири мечтал создать что-то вроде альма-матер, где бы готовились образованные чиновники. Милютин впоследствии писал, что в 1860 году состоялся торжественный обед, на котором произносились в духе времени речи, обращенные к иркутскому губернатору П.А. Извольскому. Последний выразил готовность поддержать идею создания университета в Восточной Сибири, но интриги не дали ему развернуться, и он вскоре вынужден был оставить свой пост. Сменивший его Н.Ф. Щербатский с еще большим энтузиазмом поддержал это начинание: был разработан проект учреждения университета с медицинским и

юридическим факультетами. Но и этот проект не дожидаясь до стадии серьезного обсуждения. На смену ему, по свидетельству Милютина, был составлен еще более грандиозный план создания «целой системы народного образования в крае, которую предполагалось осуществить при содействии винооторговцев. Во главе системы должно было стоять нечто вроде *лицея* (выделено в тексте. – Л.Р.), в который с прибавкой двух старших классов (8 и 9) должна была преобразоваться иркутская гимназия»²⁹.

Идею сибирского университета поддерживал и тобольский губернатор А.И. Деспот-Зенович, известный своими либеральными взглядами³⁰. Для финансового обеспечения иркутского плана им предлагалось установить 10%-ный сбор с ведра водки, выкуриваемой в Сибири, и ввести дополнительный налог с золотопромышленников³¹. Но и этот план, по словам Милютина, «заглох где-то». Правда, в 1864 году сибирским казенным стипендиатам было разрешено наряду с Казанским поступать и в столичные университеты, а в 1872 году в Петербургском университете было учреждено несколько специальных сибирских стипендий.

К тому же 1860 году относится обсуждение университетского вопроса на собраниях студентов-сибиряков в Петербурге. В числе участников этих собраний Н.М. Ядринцев называл Н.М. Павлинова, братьев А. и И. Черемшанских, А.К. Шешукова, С.С. Шашкова, инициатора создания сибирского студенческого землячества в Петербурге казака Сидорова, поэта И.В. Федорова-Омулевского, художника Пескова, будущего бурятского просветителя И. Пирожкова и др. В известной степени областническая идея как раз и формировалась вокруг таких вопросов, как университетский вопрос. В юном воображении влюбленных в свою родину сибиряков уже рисовались дивные картины будущего:

Портик должен быть из белого мрамора с золотой надписью «Сибирский университет». Нет, лучше на черном, внутренность из малахита, яшм, кругом сад, в котором сосредотачивается вся сибирская флора. В кабинеты доставлены коллекции со всей Сибири, общественная подписка дала огромные средства. Аудитории кишат народом, где мы встречаем рядом с плотными коренастыми сибиряками наших инородцев, наш друг Пирожков, изучающий философию Гегеля, был для нас примером, университет привлечет японцев и китайцев, – говорили другие. Так развивалась мечта³².

Но до ее хотя бы частичного осуществления было еще далеко. Пропаганда идеи открытия сибирского университета оказалась небезопасной, она сталкивалась с противодействием закосневшего в бюрократической рутине сибирского чиновничества и с апатией не осознавших своих потребностей местного купечества и городского мещанства.

Особую известность и широкий общественный резонанс получила речь Н.М. Ядринцева в ноябре 1864 года на литературном вечере в Омске, где он не только публично заявил о необходимости университета в Сибири, но и выдвинул развернутую аргументацию, едва ли не политическую программу. И это несмотря на то, что главный инспектор училищ Западной Сибири Попов, предварительно цензурировавший текст выступления Ядринцева, вычеркнул показавшуюся ему слишком дерзкой фразу: «...и, говорят, даже находятся тупоумные обскуранты, утверждающие, что в Сибири учреждать университет еще рано»³³. Рукою Попова против этих строк было подобострастно приписано, что «это утверждало главное начальство Западной Сибири и некоторые государственные люди, насколько они правы – это решит правительство и потому автору... советую об этом умолчать»³⁴. Ядринцев писал своему товарищу и единомышленнику Г.Н. Потанину, что при этом Попов орал на него³⁵. Основной пафос речи, произнесенной Ядринцевым, заключался в призыве поддержать сибиряков, отправляющихся учиться, ибо только эти труженики, голодающие теперь по университетам, явятся к нам общественными деятелями, внесут новый дух в наше усыпленное общество и поведут его с распушенным знаменем науки, истины и цивилизации в то заветное будущее, которое готовится стране нашей и ее народу³⁶.

Ядринцеву устроили горячие овации присутствовавшие на вечере ученики Сибирского кадетского корпуса. Однако обвинения, брошенные Ядринцевым в адрес сибирского купечества и местной администрации в их безынициативности и бездеятельности, не остались безответными. Против него начались интриги, некоторым присутствовавшим на вечере кадетам грозили расправой. Кадет Михайлов, написавший в защиту Ядринцева открытое письмо, был посажен в карцер, 11 декабря 1864 года А.Д. Шайтанову об омских событиях сообщал его брат, учившийся в то время в кадетском корпусе:

Сочувственников Ядринцеву оказалось немного, только одна молодежь, да наши кадеты, между тем, как против него

восстали почти что все и в том числе наши корпусные начальники и преподаватели, исключая только некоторых. Вследствие этого наши начальники и наблюдатели каются не раз, что отпустили нас на этот вечер. Многие из воспитанников чуть-чуть не пострадали из-за сочувствия Ядринцеву... Для большей строгости ввели снова в употребление субботницы, т. е. розги³⁷.

Ядринцеву было отказано в частных уроках, которые он имел у омского купца Кузнецова. Вдохновителем гонений стал преподаватель словесности кадетского корпуса В.П. Лободовский, кичившийся в свое время дружбой с Н.Г. Чернышевским.

Однако речь Ядринцева через некоторое время под названием «По поводу сибирского университета. Общественная жизнь наших городов» была опубликована в «Томских губернских ведомостях» (1864. № 5). Сам Ядринцев вспоминал впоследствии, что «так зарождались в эмбрионе те идеи, которым посвящено было все служение нашей жизни и 30-летняя защита этого вопроса в печати, пока мы не дождались радостного дня открытия университета в 1888 г.»³⁸.

Чтобы разрушить общую апатию, Ядринцев предложил создать особое общество, которое бы пропагандировало идею сибирского университета, доказывало необходимость скорейшего его создания и собирало пожертвования. Г.Н. Потанин в 1874 году призывал начать сбор средств на университет при редакции «Камско-Волжской газеты», с которой сибирские областники тогда активно сотрудничали³⁹.

Однако для областников «идея» сибирского университета была шире только вопросов подготовки специалистов с высшим образованием, университету предуготовлялась высокая миссия по формированию собственной сибирской интеллигенции, способной повести за собой «сибирский народ». Поэтому было так важно, чтобы сибиряки пошли по тому пути, «которым недавно последовали валисцы в Англии»⁴⁰, а университет стал бы важной идейной основой для объединения разрозненных сил формирующегося сибирского общества. Университет был для областников не только целью, но и средством пробуждения регионального самосознания сибиряков, способом воспитания их патриотизма. Наряду с борьбой за отмену уголовной ссылки, введения земства и реформирования суда, сибирский университет стал частью их широкой программы. Сибирскому обществу, писал Г.Н. Потанин,

нужно кровь свою полировать общественным делом, ему

нужно для здоровья совершать денежное кровопускание из мошны на народную нужду. Это тоже отличное воспитательное средство. Нужно бы устроить, чтоб агитация вышла грандиозной, чтоб она коснулась всех мелких городишек...⁴¹

Идея создания сибирского университета вполне вписывалась в децентрализационную программу областников. Нужно было не только покончить с абсентеизмом (оттоком) талантливой сибирской молодежи, но и разрушить непомерную централизацию во всем, в том числе в научной и общественной жизни. Потанин с возмущением писал своему волжскому другу А.С. Гацисскому в сентябре 1874 года о сверхцентрализации науки, когда «все свозится в столицы»⁴². Университет должен стать не только средоточием высшего образования, но и центром научных исследований в крае.

Однако безынициативность сибирского общества, которое было погружено, по горькому признанию Ядринцева, «в животную жизнь и не чувствует никакой потребности в умственной пище», порождала особый род административного мессианства⁴³. Общественность, не надеясь на собственные силы, погрязшая в бесплодном прожектерстве, ждала нового прогрессивного генерал-губернатора типа М.М. Сперанского, как ждут мессию⁴⁴. В данных условиях университет мог появиться только в результате союза, пусть даже и вынужденного, либеральной бюрократии и активной части местного общества.

Такого государственного деятеля сибирская областнически настроенная интеллигенция обрела с назначением в 1875 году генерал-губернатором Западной Сибири Н.Г. Казнакова. Это был администратор, который попытался глубоко вникнуть в насущные проблемы вверяемого ему в управление края. Он не побоялся привлечь к сотрудничеству знающих Сибирь людей, в том числе и имеющих репутацию политически неблагонадежных. Очень скоро ближайшим помощником Казнакова стал недавно вернувшийся из архангельской ссылки Н.М. Ядринцев. Знакомством с Казаковым Ядринцев был обязан золотопромышленнику, исследователю Севера, меценату М.К. Сидорову, который уверил его, что новый генерал-губернатор заинтересован в решении многих сибирских проблем. Через того же Сидорова зимой 1875 года Ядринцев подал Казнакову записку об университете, после чего и состоялось их личное знакомство. В автобиографии об этой первой встрече он вспоминал: «Я был в восторге, что нашел администратора, который так живо

интересовался сибирским вопросом»⁴⁵. Вскоре Ядринцев получил от Казнакова предложение поступить на гражданскую службу и отправиться в Омск⁴⁶.

Еще до прибытия в Омск Казнаков представил Александру II свои предложения об устройстве университета в Сибири, на что и получил принципиальное согласие. К марту-апрелю 1875 года относится знакомство западносибирского генерал-губернатора с В.М. Флоринским, будущим первым ректором Томского университета. Флоринский проявил осведомленность и напомнил Казнакову о неудавшейся попытке А.С. Норова дать Сибири высшее учебное заведение, а также предложил свои услуги в подготовке проекта сибирского университета⁴⁷. О том, что университетское дело удалось двинуть, Г.Н. Потанин 28 апреля 1875 года с радостью сообщал А.С. Гацисскому. Писал он и том, что министр финансов М.Х. Рейтерн выказал готовность дать на университет 250 тысяч рублей⁴⁸. Заручился Казнаков и поддержкой в университетском вопросе у министра народного просвещения Д.А. Толстого. Подбадривала генерал-губернатора в его прогрессивных начинаниях и либеральная пресса. Газета «Голос» предсказывала Казнакову добрую славу, полагая, что его управление Западной Сибирью составит целую эпоху в ее истории:

основание предложенного им университета будет началом нового периода – периода возрождения, на котором воздвигнется дальнейшее развитие Сибири⁴⁹.

Даже далекий от Сибири «Одесский вестник», сообщал в июле 1875 года Потанин Ядринцеву, перепечатал из столичных «Новостей» известие, как его назвали, фантастического свойства, что некоторые петербургские профессора готовы отправиться в Сибирь и что в сибирском университете планируют открыть целых три отделения: естественно-историческое, медицинское и промышленное⁵⁰.

Для Н.Г. Казнакова подготовка местных чиновников, врачей и учителей в самой Сибири становится решающим аргументом в пользу университета. Отток молодой сибирской интеллигенции из края так же, как и для областников, не внушал серьезные опасения Казнакову, и он был готов допустить, в разумных пределах разумеется, сибирский «патриотизм». Насколько такие настроения были в то время распространены, свидетельствует отчет томского губернатора:

Пока наши молодые сибиряки не будут привязаны к своей

стране в силу привычки, пока они не будут изучать ее на школьной скамье, пока не в состоянии будут получать живых и никогда неизгладимых впечатлений университетской жизни на месте их будущей деятельности, до тех пор они плохие слуги своей страны⁵¹.

Под этими строками вполне могли подписаться и областники.

Однако эйфория от быстрых успехов и радужных ожиданий прошла, и на повестку дня выдвинулись вопросы реализации намеченных планов. У сибирского университета оказалось много не только союзников, но и противников, и не только в стане консерваторов. Сомнения в целесообразности высшего учебного заведения в Сибири высказал один из ведущих публицистов «Отечественных записок» Г.З. Елисеев, сам по происхождению сибиряк. Елисеев не понаслышке знал сибирские реалии: позади у него были голодные годы детства в Таре, семинарская жизнь в Тобольске, а после окончания Московской духовной академии и краткого периода преподавания в Казанской духовной академии – служба в окружных и губернских учреждениях Западной Сибири. Он фактически повторил старые доводы, заявив, что в Сибири слишком мало средних учебных заведений, которые бы дали студентов для университета. Сомневался Елисеев и в том, что удастся поставить преподавание в университете на достойном уровне. Да и вряд ли сибиряк, получивший высшее образование, добавлял он, останется жить в душной атмосфере провинциальной Сибири, где талантливые люди до сих пор затираются. Очевидно, собственная судьба Елисеева убеждала его и в этом. Вместе с тем, не замечая противоречия в своих доводах, он утверждал с присущим критическим ему настроением, что до тех пор, пока в Сибири все важнейшие административные посты будут заняты приехавшими из Европейской России «искателями карьеры, легкой наживы и просто проходимцами», государственная служба в родном крае для образованных сибирских уроженцев останется непривлекательной⁵². Нужно дать служебные привилегии именно сибирякам, привлечь снова в Сибирь тех, кто ее когда-то покинул, увеличить число сибирских стипендий в университетах Европейской России, и через каких-нибудь десять лет Сибирь получит такое количество образованных элементов, каких она не приобретет в течение 50 лет не только с одним, а с пятью университетами, основанными в Сибири⁵³. В противном случае сибирский университет станет лишь одной обузой для платящего подати мужика.

Опровергая такое мнение, областники считали, что студенты в Сибири

найдутся, да и сам университет в сибирских условиях будет более демократичным по своему составу, нежели прочие российские учебные заведения. Г.Н. Потанин прогнозировал, что сама жизнь сделает «мужичьим» сибирский университет⁵⁴. К тому же расчет, что стипендии и льготы будут менее тягостны для податного населения, чем сибирский университет, как утверждал Потанин, вряд ли верны⁵⁵. Патриотическое воспитание, развитие местной общественной жизни создадут условия к тому, чтобы образованные сибиряки оставались на родине. С этим связывалась другая, кардинальная для областников задача – формирование своей сибирской интеллигенции. Для областников университет был больше, чем обычное высшее учебное заведение, и этого, видимо, не захотел увидеть Г.З. Елисеев. Еще в своей омской речи Н.М. Ядринцев провозглашал: «В университете вся наша будущность»⁵⁶.

Следующей преградой на пути к основанию сибирского университета стала проблема выбора для него города. И это имело не только географический интерес. Специфика общественно-экономической жизни сибирских городов могла предопределить будущее университета. О важности выбора города свидетельствовала не только страстная полемика на страницах сибирских газет, но и набор аргументов, которые выдвигали члены специальной правительственной комиссии, созданной для этой цели в Петербурге.

На звание университетского города претендовали Омск, Томск и Иркутск. Омск как административный центр Западной Сибири, казалось бы, имел преимущество: именно здесь сосредоточилась основная масса военных и гражданских чиновников края, за устройство университета в Омске стоял сам генерал-губернатор Н.Г. Казнаков, его поддерживало в этом и Министерство народного просвещения. По инициативе Казнакова омским архитектором Эзетом был уже подготовлен проект университетского здания для Омска. В глазах местной и столичной администрации Омск мог выглядеть предпочтительнее, нежели Томск, наполненный ссыльными (в том числе и политическими), или удаленный Иркутск. Г.Е. Катанаев в статье «Томск или Омск?», отстаивая интересы Омска, вопрошал: «Но чем же хуже административно-казенное влияние Омска ссыльно-купеческого влияния Томска?»⁵⁷ В пользу Омска был еще один весомый довод: университет мог бы распространить свое влияние и на степные области, где проживали не только казахи и казаки, но куда направлялась мощная волна русских переселенцев.

Хотя при рассмотрении этого вопроса 6 апреля 1877 года в

Государственном совете большинство поддержало выбор Омска, все же решили создать еще одну комиссию, которая бы тщательно изучила все обстоятельства этого дела⁵⁸. Однако у Томска нашлись свои влиятельные защитники. Ставший к тому времени членом Государственного совета бывший восточносибирский генерал-губернатор граф Н.Н. Муравьев-Амурский писал 5 мая 1877 года А.В. Головнину, что он не разделяет мнение о выборе Омска и будет говорить об этом на общем собрании Государственного совета. «Для этой цели, по мнению моему, – заключил он, – должен быть Томск или Иркутск»⁵⁹. Бывший тобольский губернатор А.И. Деспот-Зенович подготовил для комиссии пространную записку о том, что ссылка для Сибири не так уж и страшна⁶⁰.

Областники первоначально высказывались в пользу Иркутска, но затем отдали свои симпатии Томску⁶¹. Влияние на полемику оказала появившаяся 31 октября 1876 года в иркутской газете «Сибирь» статья Г.Н. Потанина об Омске с красноречивым названием: «Город Акакиев Акакиевичей»⁶². Н.М.Ядринцев буквально осаждал В.М. Флоринского, которого уже тогда прочили в ректоры будущего сибирского университета, письмами, в которых повторялась одна мысль:

...в Омске, под крылом генерал-губернатора, университет погибнет, что нравственная атмосфера там неудовлетворительная, ссыльных почти столько же, как и в Томске, что помощи от города нельзя ждать никакой и что Омский университет никогда не будет привлекать сочувствие сибиряков⁶³.

Не пугало областников и то, что вряд ли университет в Томске «начнет давать людей, независимых от капитала», более тлетворным им казалось бюрократическое влияние⁶⁴. По мнению Потанина, наоборот, университет будет способствовать «культурной шлифовке» сибирской буржуазии, формированию «благородных» предпринимателей с осознанными патриотическими чувствами к Сибири⁶⁵. Их не мог не вдохновлять пример известного сибирского мецената Сибирякова, который был однокашником некоторых из них по Петербургскому университету.

На заседании комиссии 22 ноября 1877 года В.М. Флоринский стал на сторону сторонников Томска и чуть не рассорился из-за этого с Казнаковым. Будущий ректор изложил целый ряд условий, которым должен отвечать университетский город в Сибири:

1) благоприятное географическое положение относительно сибирских городов, т. е. по возможности центральное в географическом и этнографическом смысле и удобное по существующим путям сообщения, 2) удобства жизни данного города в климатическом и экономическом отношениях, чтобы учащие и учащиеся не испытывали значительных затруднений в первых жизненных потребностях..., 3) средства города для устройства необходимых учебных пособий и учреждений университета, как, например, клиник, и возможность приобретения анатомического материала для медицинского факультета, способы снабжения кабинетов учеными коллекциями, средства содействия и поощрения ученых трудов профессоров по вопросам научного исследования Сибири и проч., 4) средства города и данной местности для целесообразной и необременительной для казны постройки университетских зданий, 5) значение города в настоящем и будущем как центра умственной, промышленной и торговой жизни страны, развитие в нем средних учебных заведений, подготовляющих к поступлению в университет, существующие потребности высшего просвещения и материальные средства, которыми город может располагать для удовлетворения этих потребностей в пособие значительным затратам со стороны правительства⁶⁶.

Этим самым Флоринский как бы подвел доказательную базу под основание выбора в пользу Томска. Хотя в 1881 году, когда он впервые проехал через Омск, то «нашел этот город весьма приличным, и был весьма удивлен, почему Ядринцев отзывался о нем так плохо в своих письмах»⁶⁷. Очевидно, что у областников были куда более веские резоны, которых не содержалось в пунктах будущего ректора.

За Томск свидетельствовало и то, что это был один из наиболее развитых в промышленном и торговом отношении городов Сибири, находившийся на единственной тогда сухопутной транспортной артерии – Сибирско-Московском тракте. В отличие от Омска, томское купечество охотнее откликнулось на идею создания университета, хотя Флоринскому приходилось лично убеждать именитых томичей делать пожертвования на науку и образование. Большую роль в этом сыграл также томский городской голова купец I гильдии З.М. Цыбульский, ревностно заботившийся о престиже родного города. Сумма его личных

пожертвований составила 140 тысяч рублей, при общей сумме строительства 800 тысяч рублей. Благодаря поддержке общественности университет стал поистине всесибирским делом. Деньги на его сооружение вносили купцы, золотопромышленники, городские думы и даже крестьяне, пожертвования собирали добровольцы не только по Сибири, но и за ее пределами. В качестве подарков будущему университету поступали книги, разного рода коллекции, оборудование для музея и лабораторий. В 1880 году, когда было начато строительство зданий для университета, городские власти бесплатно выделили участок земли, разрешили беспоплатно заготовить лес, доставили кирпич и т. п. По индивидуальному проекту было выстроено главное здание (архитектор Наранович), общежитие со столовой, анатомический театр, лаборатории, зоологический музей, часовня и даже фонтан. Университет стал гордостью всей Сибири и архитектурным украшением Томска.

Уже шло полным ходом строительство университетских зданий, но сибирскую общественность вплоть до открытия университета не покидали сомнения, будет ли на этот раз дело доведено до завершения. Нападки на будущий университет в Сибири не прекращались. Публикации в «Московских ведомостях» поставили под удар в первую очередь сибирский университет, принципиальное решение об открытии которого было принято еще Александром II в 1875 году. Как известно, М.Н. Катков проявил невиданную активность при обсуждении нового университетского устава 1884 года, существенно урезавшего права российских университетов. Агитацию за пересмотр правительственной политики в университетском вопросе на страницах подведомственных ему изданий Катков сочетал с «придворной» публицистикой в письмах и записках к царю и влиятельным сановникам. Оценивая свои политические заслуги, он имел все основания заявить о ведущей роли своей газеты: «В ней не просто отражались дела, в ней многие дела делались»⁶⁸.

Судя по всему, публикация М.Н. Каткова была непосредственно связана с обсуждавшимся 4 января 1886 года в Государственном совете вопросом об открытии университета в Томске. Министр народного просвещения И.Д. Делянов предложил начать занятия в университете уже в 1886/87 учебном году. Государственный совет одобрил это, признав необходимым в первую очередь открыть физико-математический и юридический факультеты. Однако из Петербурга в Томск конфиденциально сообщали, что при рассмотрении бюджета на 1886 год в Государственном совете было заявлено о том, чтобы отложить открытие

университета⁶⁹.

М.Н. Катков был взбудоражен корреспонденцией из Томска 25 января 1886 года, где содержался, по сути дела, донос на сибирскую печать и выдвигались обвинения в адрес местных властей, попустительствующих проповеди местного патриотизма, и указание на то, что именно ссыльные поляки посеяли зерна «сибирской национальности»⁷⁰. К.П. Победоносцев на следующий день после выхода номера «Московских ведомостей» переслал его императору с сопроводительным письмом:

Благоволите, Ваше Императорское Величество, просмотреть прилагаемую статью. В тех условиях жизни, кои существуют в Томске, возможно ли идти, так сказать, навстречу вредным элементам и настаивать на учреждении в Томске университета, что уже решено в департаменте экономии... Мысль об учреждении университета в Сибири (возникшую в период совершенного оскудения и падения наших университетов) я с самого начала называл несчастною и фальшивою... Общество томское состоит из всякого сброда; можно себе представить, как оно воздействует на университет и как университет на нем отразится⁷¹.

В подкрепление своих доводов он привел свидетельство восточносибирского генерал-губернатора А.П. Игнатьева, который при своем проезде через Томск писал Победоносцеву: «...осмотрели пресловутый сибирский университет. Здание чрезмерно роскошное; не знаю, наполнится ли оно и кем? и что из всего этого выйдет?»⁷² Позднее Победоносцев уже в своих наставлениях путешествующему через Сибирь наследнику престола, будущему императору Николаю II написал:

В Томске есть университет. Это, по мнению моему, – ошибка. Задумано дело в. кн. Константином Николаевичем и гр. Толстым, по его желанию. А потом, когда отстроили дом на частные пожертвования, не решились идти назад. Теперь там один только медицинский факультет. В этой глуши каких наберешь профессоров и каких студентов? Томск наполнен ссыльными из всякого сброда. Студентов надо было привлекать всякого рода льготами, и потянулись туда разные неудачники, большею частью из семинаристов⁷³.

Александр III 31 января 1886 года прямо заявил министру народного просвещения И.Д. Делянову, что ввиду приведенных «Московскими ведомостями» сведений он теперь сомневается в своевременности открытия университета в Томске⁷⁴. В ответ Делянов предложил собрать особое совещание под председательством министра внутренних дел Д.А. Толстого. Однако государственный секретарь А.А. Половцов настоял на том, чтобы совещание возглавил председатель Государственного совета вел. кн. Михаил Николаевич, видимо, опасаясь, что Толстой будет по-прежнему поддерживать сибирский университет. Совещаться были приглашены, помимо Делянова, Победоносцева и Половцова, министр внутренних дел Д.А. Толстой, министр государственных имуществ М.Н. Островский, министр финансов И.А. Вышнеградский. Примечательно, что Делянов предлагал пригласить в качестве эксперта бывшего томского губернатора В.И. Мерцалова, но тому припомнили увольнение с губернаторского поста за покровительство полякам и политическим ссыльным.

Состав совещания в большинстве своем был настроен, если не против университета вообще, то за создание его в сильно урезанном виде. Половцов взял на себя миссию предварительно переговорить с членами совещания, выяснить их взгляды и, очевидно, настроить против сибирского университета. После разговора с Островским Половцов убедился в том, что тот будет выступать против университета. Уверен Половцов был и в позиции Победоносцева, с которым он обсуждал этот вопрос еще в ноябре 1885 года. Тогда он назвал сибирский университет «выдумкой либерального чиновничества» и «опасной политической ошибкой». «Отчего не открыть в построенном здании, – предлагал Половцов, – горную, инженерную, политехническую школу и т. п.»⁷⁵ Под предлогом бюджетного дефицита государственный секретарь предлагал отложить открытие университета и образовать особое совещание, которое «образумило» бы Делянова.

Впрочем, полностью отказаться от создания в Сибири университета было трудно, с этим были связаны память об Александре II, начавшееся строительство зданий, пожертвования сибиряков, а также публичные заявления Александра III по поводу 300-летия Сибири⁷⁶.

«После упорного отстаивания Толстого и Делянова, – записал в дневнике 13 февраля 1887 года А.А. Половцов, – решают открыть один медицинский факультет и покамест ни о чем не говорить. Оппонируют Толстому Победоносцев и я. Вышнеградский говорит о подробностях, а

Островский старается уклониться»⁷⁷. Опасаясь, что Толстой или Делянов могут обратиться лично к императору и переубедить его, Половцов поспешил, пользуясь влиянием вел. кн. Михаила Николаевича, прекратить споры и прийти к желаемому, пусть и компромиссному решению.

Заметим, что позиция Толстого и Делянова в этом деле несколько выбивается из того имиджа реакционеров, который им создала либеральная и демократическая публицистика. Очевидно, это связано с тем, что именно в министерстве Толстого было принято решение об учреждении сибирского университета, поддержанное не только председателем Государственного совета вел. кн. Константином Николаевичем, но и самим императором Александром II. Примечательно, что в то время влияние М.Н. Каткова на правительственные сферы заметно понизилось и возродилось только с началом нового царствования. Следует также подчеркнуть, что влияние Каткова на Толстого и Делянова не было абсолютным и, несмотря на близость их позиций, триумvirат «Победоносцев – Катков – Толстой» является в значительной степени изобретением советских историков, хотя редактор «Московских ведомостей» готов был взять на себя роль «ментора» и министра народного просвещения, и министра внутренних дел⁷⁸. Кампанию против сибирского университета уже после его открытия продолжил вести издатель влиятельной официозной газеты «Гражданин» князь В.П. Мещерский.

Когда поползли слухи о том, что в 1886 году университет не будет открыт и будет ли он создан вообще, «Восточное обозрение» попыталось рассеять подозрения, что с основанием университета возникнет какое-то обособление и разъединение образованных людей на окраине.

Нам кажется, – пытались доказать областники, – что университет может сделать гораздо более к объединению окраин, чем железная дорога, создающая обмен материальный, тогда как при помощи образовательных учреждений является обмен нравственный и духовный. В университете на окраине будет преподаваться та же русская государственная наука; он сам собою явится рассадником и проводником русской гражданственности, культуры, русской славы и величия в Азии...⁷⁹

За сибирский университет вступился либеральный «Вестник Европы». Наличие группы людей, отстаивающих самобытность окраин, как отмечал

журнал, пытаясь высмеять эту патологическую страсть к поискам внутренних врагов империи, вряд ли дает основание «поднять крик о государственной измене или, по меньшей мере, об отсутствии патриотизма?»

Главное занятие некоторых представителей «национальной» или «русской партии» заключается, как известно, в повсеместном сыске «неблагонадежных» или «неблагонамеренных» элементов. Такой сыск был произведен недавно в больших размерах по отношению к Сибири и увенчался, по-видимому, полным успехом; были обнаружены газеты, находящиеся всецело «в руках ссыльных поляков», были разоблачены какие-то крамольные стремления – еще немного, и налицо оказался бы самый подлинный сибирский сепаратизм⁸⁰.

Иронизируя по поводу публикаций «Московских ведомостей», «Вестник Европы» не без основания опасался, что поднятый Катковым шум может серьезно повредить Сибири, скомпрометировав ее в глазах столичных властей.

Женевское «Общее дело», издаваемое русскими эмигрантами, также отметило, что «стоило Каткову написать, что наука способствует лишь сепаратизму», как Министерство народного просвещения «спохватилось» и попыталось приостановить открытие университета⁸¹. В октябре 1887 года «Общее дело», продолжая следить за судьбой сибирского университета, упомянуло на своих страницах, что в Сибири, в этой несчастной дореформенной стране, где бюрократический произвол, царствующий в России, свирепствует с удесятеренной силой...до сих пор не решаются даже открыть университета, должно быть из страха все того же сепаратизма, которым пропаганда Каткова заразила наших правителей⁸².

25 февраля решение совещания было утверждено Александром III. Таким образом, критика Каткова была услышана и поддержана на самом высоком уровне: Томский университет был открыт только в 1888 году и в сильно урезанном виде, и ему, очевидно, не случайно не присвоили наименование «Сибирский». Не случайно и то, что открытие университета совпало с концом либеральной «Сибирской газеты», дальнейшее существование которой В.М. Флоринский считал опасным для молодежи, которая заполнит университетские аудитории. Было также принято решение об удалении всех политических ссыльных из Томска. Университет

был открыт в составе всего одного факультета – медицинского. Только через десять лет добавился юридический факультет, а историко-филологический и физико-математический факультеты появились только после революции.

Почти вековая история университетского вопроса в Сибири вобрала в себя комплекс проблем, связанных как с эволюцией правительственной политики в отношении Сибири, так и с особенностями процесса формирования общественно-политических позиций сибирской интеллигенции. В борьбу за университет оказались втянуты самые разные силы в центре страны и в Сибири. Аргументация, выдвигаемая сторонниками и противниками развития высшего образования за Уралом, демонстрирует, насколько сложно оказалось реализовать этот проект, который с такой легкостью был выдвинут еще в начале царствования Александра I.

Примечания:

1 Цит. по: *Ястребов Е.В.* Василий Маркович Флоринский. Томск, 1994. С. 87–88.

2 *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. М., 1978. С. 30.

3 *Шепелев Л.Е.* [Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. М., 1991].

4 *Зайончковский П.А.* Указ. соч. С. 30–31.

5 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1.1804 г. Д. 229. Л. 32–33.

6 РГИА. Ф. 1264. Оп. I. Д. 638. Л. 18.

7 Там же. Л. 19.

8 Письмо К.П. Капцевича А.А. Аракчееву, 22 марта 1823 г. // Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I. СПб., 1883. С. 364.

9 РГИА. Ф. 1264. Оп. I. Д. 638. Л. 5.

10 Там же. Л. 6.

11 РГИА. Ф. 1264. Оп. I. Д. 638. Л. 43.

12 *Зиновьев В.П.* Озерное рыболовство в Сибири в XIX – начале XX в. // Хозяйственное освоение Сибири: история, историография, источники. Томск, 1991. С. 64–65.

13 РГИА. Ф. 1376. Оп. I. Д. 4. Л. 143.

14 РГИА. Ф. 1376. Оп. I. Д. 4. Л. 143–144.

15 *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1975. Т. 4. С. 247.

16 *Шпет Г.Г.* Очерк развития русской философии // Введенский А.И.,

Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991. С. 483–488.

17 Отзыв П.А. Словцова сенаторы Куракин и Безродный включили в свой отчет о ревизии Западной Сибири Николаю I.

18 РГИА. Ф. 1376. Оп. I. Д. 4. Л. 86.

19 Следует иметь в виду, что фактическим составителем отчета, представленного Анненковым в Сибирский комитет, был будущий тобольский губернатор и видный деятель эпохи «великих реформ» В.А. Арцимович.

20 РГИА. Ф. 1265. Оп. I. Д. 167. Л. 24.

21 Там же. Д. 132. Л. 39.

22 Прутченко С.М. Сибирские окраины. СПб., 1899. Т. 2. С. 394, 396.

23 Там же. Т. 2. С. 425.

24 Там же. С. 492.

25 РГИА. Ф. 1265. Оп. I. Д. 167. Л. 131.

26 РГИА. Ф. 1265. Оп. I. Д. 167. Л. 58.

27 Мокеев Н. К истории университетского вопроса в Иркутске // Сибирская летопись. 1916. № 9/10. С. 463–464.

28 Милютин Б.А. Генерал-губернаторство Н.Н. Муравьева в Сибири // Исторический вестник. 1888. № 12. С. 605.

29 Значение истекающего 1875 г. для Сибири и сопредельных ей стран // Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах. СПб., 1875. Т. I. С. 84.

30 В оригинале ссылка пропущена. – *Примеч. ред.*

31 Мокеев Н. Указ. соч. С. 467.

32 Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1979. Т. 4. С. 316.

33 Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1980. Т. 5. С. 236.

34 Государственный архив Омской области (ГАОО). Ф. 3. Оп. 15. Д. 18759. Л. 54.

35 Письмо Н.М. Ядринцева Г.Н. Потанину, 23 ноября 1864 г. // Литературное наследство Сибири... Т. 5. С. 234.

36 ГАОО. Ф. 3. Оп. 15. Д. 18759. Л. 55.

37 Там же. Д. 18760. Л. 63–64.

38 Литературное наследство Сибири... Т. 4. С. 287.

39 Письмо Г.Н. Потанина Н.М. Ядринцеву, март 1874 г. // Письма Г.Н. Потанина. Иркутск, 1988. Т. 2. С. 98.

40 ГАОО. Ф. 3. Оп. 15. Д. 18759. Л. 21.

41 Письмо Г.Н. Потанина Н.М. Ядринцеву, 27 мая 1875 г. // Письма Г.Н. Потанина... Т. 2. С. 167.

42 Письмо Г.Н. Потанина А.С. Гацисскому, сент. 1874 г. // Там же. Т. 2. С. 136.

43 Неделя. 1873.4 февраля.

44 Там же. 1 июля.

45 Литературное наследство Сибири... Т. 4. С. 335.

46 Подробнее см.: *Ремнев А.В.* Н.Г. Казнаков и Н.М. Ядринцев (Из истории общественной жизни Сибири 70-х гг. XIX в.) // Проблемы классовой борьбы и общественного движения в Сибири в дооктябрьский период. Омск, 1992. С. 46–60.

47 Заметки и воспоминания В.М. Флоринского // Русская старина. 1906. № г. С. 81–82.

48 Письмо Г.Н. Потанина А.С. Гацисскому, 14 мая 1875 г. // Письма Г.Н. Потанина... Т. 2. С. 161.

49 Голос. 1875.19 июня.

50 Письмо Г.Н. Потанина Н.М. Ядринцеву, июль 1875 г. // Письма Г.Н. Потанина... Т. 2. С. 178.

51 ГАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 13334. Л. 90–91.

52 Отечественные записки. 1875. № 6. С. 270.

53 Там же. С. 271.

54 Письмо Г.Н. Потанина Н.М. Ядринцеву, 27 мая 1875 г. // Письма Г.Н. Потанина... Т. 2. С. 167.

55 Письмо Г.Н. Потанина Н.М. Ядринцеву, 30 июня 1875 г. // Там же. С. 173.

56 ГАОО. Ф. 3. Оп. 15. Д. 18759. Л. 54. «Ядринцев – со ссылкой на Венюкова о смысле университета» [Эта фраза стояла в основном тексте после сноски 56. А. Ремнев не успел вписать цитату. – *Примеч. ред.*] (*Ядринцев Н.М.* Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношениях. Новосибирск, 2003. С. 504).

57 Сибирь. 1876. № 18.

58 Председатель комиссии: товарищ министра внутренних дел кн. А.П. Ширинский-Шихматов; члены: член совета министра внутренних дел А.И. Деспот-Зенович, член медицинского совета МВД В.М. Флоринский, главный инспектор училищ Западной Сибири А.В. Дзюба, вице-губернатор Акмолинской области М.Н. Курбановский.

59 Письмо гр. Н.Н. Муравьева-Амурского А.В. Головнину, 5 мая 1877 г. // ОР РНБ. Ф. 208. Д. 129. Л. г.

60 Труды комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об избрании города для сибирского университета. СПб., 1878. С. 132–134.

- 61 Литературное наследство Сибири... Т. 4. С. 287.
- 62 Там же. Т. 7. С. 216–219.
- 63 Заметки и воспоминания В.М. Флоринского... С. 108.
- 64 Письма Г.Н. Потанина... Т. 2. С. 167, 173.
- 65 Там же. Т. 3. С. 230.
- 66 Труды комиссии, учрежденной по высочайшему повелению для изучения вопроса об избрании города для сибирского университета... С. 2–3.
- 67 Ястребов Е.В. Василий Маркович Флоринский... С. 66.
- 68 Цит. по: Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. С. 103, 106.
- 69 Письмо В.И. Добровольского В.М. Флоринскому, 6 янв. 1886 г. // Ястребов Е.В. Сто неизвестных писем русских ученых и государственных деятелей к Василию Марковичу Флоринскому. Томск, 1995. С. 83.
- 70 Подробнее см.: Ремнев А.В. Михаил Никифорович Катков в поисках «сибирского сепаратизма» // Личность в истории Сибири XVIII–XX веков. Новосибирск, 2007. С. 64–80.
- 71 Письма Победоносцева к Александру III. М., 1926. Т. 2. С. 99–100.
- 72 Письмо К.П. Победоносцева Александру III, 26 янв. 1886 г. // Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 443–444.
- 73 Письма Победоносцева к Александру III... С. 300.
- 74 Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. М., 1966. Т. 1. С. 382.
- 75 Письмо А.А. Половцова К. П. Победоносцеву, 26 ноября 1885 г. // К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Минск, 2003. Т. 2. С. 103.
- 76 Подробнее см.: Ремнев А.В. 300-летие присоединения Сибири к России: в ожидании «нового исторического периода» // Культурологические исследования в Сибири. Омск, 2007. № 1 (21) С. 34–50.
- 77 Дневник государственного секретаря А.А. Половцова... Т. 2. С. 25–26.
- 78 Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Катков и его издания). М., 1978. С. 223–224.
- 79 Наступило ли время открытия Сибирского университета // Восточное обозрение. 1886. 13 марта.
- 80 Из общественной хроники (1 апреля 1886 г.): «Мнимый сибирский сепаратизм в связи с вопросом о сибирском университете» // Вестник Европы. 1886. № 4. С. 902.
- 81 Сватиков С.Г. Россия и Сибирь (К истории сибирского

областничества в XIX в.). Прага, 1930. С. 91.

82 Там же. С. 79. По мнению Сватикова, автором этих публикаций был не кто иной, как Н.М. Ядринцев.

Сергей Скобелев

Демография как политика. Коренное население Сибири в составе Российской империи и СССР: динамика численности как отражение политики центра

Систематизация проблем демографического развития коренных народов одного из крупнейших регионов России – Сибири – чрезвычайно важна для комплексного осмысления факта пребывания данной территории в составе Русского государства в течение четырех столетий (XVII–XX веков) и роли государственного центра в жизни этих народов. В обыденном сознании большинства населения нашей страны деятельность центральной власти в отношении региона виделась и видится лишь как организация колониальной эксплуатации отдаленной территории, осуществляемая без оглядки на живущих там людей. Современные российские СМИ, отдельные публицисты, ссылаясь на действительно имевшие место потери в численности отдельных народов и этнических групп, изображают Сибирь краем, где всегда шло вытеснение коренных жителей с занимаемых ими земель пришельцами-русскими, где аборигены либо вымерли вовсе, либо вымрут и исчезнут в ближайшие годы в силу комплекса социальных факторов (болезни, алкоголизм, ассимиляция и т. п.). Это обычно вменяется в вину порочной политике, проводимой государственным центром.

Анализ конкретных причин и следствий действительно имевшего место в течение четырех веков уменьшения численности отдельных коренных этносов поможет объяснить до сих пор существующее в публицистике и даже научной историографии противоречие между основанным на некоторых реальных фактах тезисом о постепенном исчезновении коренных сибиряков и достоверно известным общим ростом численности нерусского населения Сибири. В нынешней ситуации многолетнего российского кризиса (на фоне процветающих США) актуален и международный аспект данной темы – анализ аналогичных ситуаций в данном природно-географическом поясе на разных континентах – в Северной Азии и Северной Америке, т. е., проще говоря, сравнение судеб сибирских жителей и североамериканских индейцев, в

жизни которых в последние четыре столетия определяющими стали факторы внешнего характера, мало зависящие от них самих.

Для большей объективности наших выводов необходимо детальное освещение и изложение вопросов, связанных с колебаниями численности некоторых народов и этнических групп в этот исторический период. Нужно выявить, систематизировать и осмыслить каждый факт уменьшения численности коренного населения (широкие процессы ассимиляции, миграции, гибель в результате боевых действий, угоны иноземными захватчиками, голодовки, эпидемии болезней, процессы урбанизации, переселения в связи с получением образования и т. д.), определить место данных явлений в общей динамике демографического развития. Отдельно следует рассмотреть погрешности в методиках подсчета численности населения, которые иногда вели к совершенно неверным выводам. Решение данных научных задач поможет ответить на вопрос о том, как политика государственного центра сказывалась на жизни коренного населения Сибири.

Историографические представления о взаимоотношениях русских людей и коренных жителей в Сибири

Длительное время в отечественной историографии существовала, а в зарубежной продолжает бытовать вплоть до настоящего времени тенденция, усматривающая в факте включения Сибири в состав Русского государства исключительно негативные последствия для коренных этносов – жестокий колониальный гнет, истребление, нещадную эксплуатацию коренных жителей со стороны более развитого русского населения, болезни, алкоголизм, нищету, голодовки и т. д. Отсюда выводилось утверждение о постепенном вымирании коренного населения Сибири, исчезновении целых племен, этнических групп и народностей¹. Лозунгом этого направления в сибирской историографии можно считать слова Е.И. Титова, писавшего об эвенкийском населении Западной Сибири: «Факторы вымирания действуют не со вчерашнего дня; мы расхлебываем наследство почти трехвекового господства разврата и угнетения; многие племена угасают из года в год»². «Сибирская газета», один из рупоров областничества, во второй половине XIX века публиковала такие, например, сообщения: «...инородческое население Минусинского округа... вымирает с такой быстротою, при которой еще через двадцать лет, мы

вполне надеемся, не будет в долинах р. Абакана ни одного туземца»³. Один из основоположников областничества Н.М. Ядринцев демонстрировал это утверждение на примере и степных «минусинских инородцев», и таежных сосвинских манси, и народов, проживавших в иных районах Сибири. Так, по его мнению, «минусинских инородцев» в 1851 году было 40 470 человек, а в 1868-м осталось только 37 153⁴.

Возникновение и развитие подобных взглядов на историческое развитие коренного населения Сибири было, в основном, связано с сильнейшей областнической традицией в сибирской историографии и публицистике, продолжавшейся и в первые послереволюционные годы. Основания этой традиции заложили Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин. Областники, видевшие своей целью отделение Сибири от царской России и ее самостоятельное политическое и экономическое развитие, считали все беды этого края явлениями, привнесенными извне и созданными искусственно. Соответственно, отрицалась даже возможность каких-либо положительных русских влияний на коренное население. Часто преднамеренно выпячивались и преувеличивались имевшие место негативные стороны процесса присоединения Сибири и контактов русского и коренного населения на протяжении трех веков. Опираясь на слабую источниковую базу, на ограниченное количество введенного в научный оборот исторического материала, областническая традиция проявила свою несостоятельность еще до революции. Так, в работе «К вопросу о вымирании инородцев» Н.Н. Козьмин на материалах Абаканского и Аскизского ведомств (современные Хакасия и часть южной территории Красноярского края) показал, что углубленный анализ статистических данных конца XIX – начала XX века не подтверждает выводы о вымирании коренных жителей⁵. С выходом в свет в 1911–1912 годах работы С.К. Патканова «Племенной состав населения Сибири», в которой на конкретных цифрах Всероссийской переписи 1897 года показывался значительный рост численности коренного населения³, несостоятельность областнической традиции была подтверждена обширным и достоверным статистическим материалом. Существенный удар как по историческим и политическим, так и по демографическим концепциям областничества был нанесен уже в советское время вместе с началом бурного развития Сибири и вводом в научный оборот нового большого источникового материала. Вместе с тем в советской литературе пропагандистского характера рецидивы подобного подхода к освещению этнической истории Сибири продолжали бытовать вплоть до 1960-х годов,

пропагандируя роль Октябрьской революции и Коммунистической партии в деле сохранения сибирских народов, которым в царское время якобы угрожало вырождение и вымирание⁷. Рассчитанные на широкие слои общественности публикации подобного рода и создали у большей части населения нашей страны, а также кое-где и за рубежом представление о Сибири как о крае, где шло массовое вымирание коренных жителей; так, например, американский публицист Дж. Джордж считал, что небольшие местные народы революция спасла от биологического исчезновения и называл в качестве примера... алтайцев?!⁸

Зарубежные исследователи Сибири, писавшие по указанной теме, в основном уже в XX веке также отдали дань этой негативистской историографической традиции. Часть таких работ имела явно заказной антисоветский характер и соответствующие разделы сочинений отечественных историков и публицистов областнического направления как нельзя лучше подходили для иллюстрации тезиса об исконно враждебной по отношению к коренному населению политике Русского государства и глубоких исторических корнях агрессивности русско-советского империализма. Наиболее заметными представителями этой части зарубежной историографии являются В. Коларз и Р. Конквест⁹. В то же время зарубежная историография не могла игнорировать конкретные факты роста общей численности коренного населения как в XVII–XIX, так и в XX веках, и в результате появлялись работы, достаточно объективно освещавшие процессы этнического развития в Сибири и национальную политику царского и советского правительств со всеми ее положительными и отрицательными сторонами. Сюда следует отнести работы Т. Армстронга, Р. Пайпса, В. Конолли¹⁰. К чести зарубежной историографии следует отметить и тот факт, что, в отличие от отечественной, здесь впервые была сделана попытка объективно объяснить причины несколько более замедленного прироста численности коренного населения Сибири, имевшего место в 20-70-е годы XX века (по сравнению с темпами роста численности всего населения СССР)¹¹.

Так или иначе, историография всегда трактовала демографию как политику. Задача настоящей статьи – «объективировать» этот подход, пересмотрев подходы к демографическим процессам в Сибири на протяжении последних четырех столетий.

Конкретное изучение процессов исторического развития отдельных сибирских народов приводит к выводу о несостоятельности положения об их истреблении и вымирании на всем протяжении XVII–XX веков. В работах Г.И. Пелих, например, установлено, что в течение последних четырех столетий численность туземного населения Нарымского края была относительно стабильной, несмотря на постоянный отлив селькупского населения за пределы района. Сохранение постоянного числа населения селькупов могло быть возможно лишь при наличии значительного прироста. Высокий естественный прирост компенсировал не только смертность, но и массовые переселения в новые районы. Так, данные ясашной книги по Нарымскому уезду за 1629 год приблизительно совпадают с числом его жителей по материалам переписи 1897 года¹². А за это время значительное селькупское население появилось в бассейнах рек Таз, Турухан, Енисей и Чулым – там, где в XVII веке оно не отмечалось. В целом, в Томском уезде в 20-е годы XVII века насчитывалось максимально около 2,5 тысяч человек коренного населения, а в 1820 году на этой же территории проживало примерно 9 тысяч человек. За 200 лет население увеличилось в 3,6 раза, что предполагает среднегодовой прирост в 1,3 %. Этот прирост осуществлялся как за счет высокой рождаемости, так и за счет включения в ясак отдельных групп пришлого нерусского населения, например, бухарцев, телеутов, казанских татар и других. Тем не менее естественный прирост давал около 0,5 % населения в год¹³. Если же учесть тот факт, что на протяжении указанного времени проходили процессы постоянного сближения коренного населения с русским и, как следствие данного явления – крещение и исключение из числа ясачных инородцев, то цифру прироста следует считать еще более высокой.

Значительно выросли в численности многие коренные народы. Так, например, за 250 лет (к концу XIX века) численность якутов выросла приблизительно с 40 тысяч до 244,9 тысяч человек, и даже такой исключительно малый народ, как тофы, испытывавший значительные ассимиляционные влияния со стороны близкородственных тувинцев, не потерял в своем числе: если в 1837 году их насчитывалось 431 человек, то в 1914-м – уже 447¹⁴. По тщательным подсчетам Б.О. Долгих, в целом по Сибири (включая народы Дальнего Востока и Северо-Востока) в начале XVII века насчитывалось около 200 тысяч человек коренного населения, а в пределах русских границ в 50-е годы XVII века – около 160 тысяч¹⁵. Сравнивая эти цифры с данными переписи 1897 года, мы видим, что численность коренного населения увеличилась до 822 тысяч человек, т. е.

приблизительно в 4 раза¹⁶. Только с 1816 по 1897 год коренное население выросло с 220 тысяч человек мужского пола до 413 тысяч, или на 87,7 %¹⁷. Продолжался рост численности коренного населения и в XX веке, несмотря на тяжелые потери в ходе Великой Отечественной войны.

Однако процесс исторического развития коренных народов в условиях включения в состав Русского государства, несмотря на рост их совокупной численности, действительно был не всегда однозначным. В отдельные периоды численность населения в пределах некоторых районов реально падала и иногда весьма существенно. Причинами этих колебаний, как выяснили исследователи на примере отдельных народов, были широкие процессы ассимиляции, переселения из одних административных районов в другие, насильственные угоны населения иноземными захватчиками, эпидемии болезней. Были отмечены и некоторые недостатки в системе подсчета численности населения, приводившие к серьезным погрешностям. В то же время, пока детально не выявлен полный комплекс причин колебаний численности, а также не прослежены эти явления на протяжении всего периода совместной жизни русского народа и коренных жителей, поддерживается точка зрения о вымирании коренного населения Сибири.

Процессы ассимиляции и численность народов Сибири

К моменту прихода русских людей в Сибирь среди коренных жителей уже шли заметные процессы внутренней ассимиляции. Так, у ненцев и северных коми эти явления привели к ассимиляции части ненцев (в основном через брачные контакты) и к образованию в XIX веке особой этнографической группы колвинских ненцев («колва-яран»); к концу XIX века ненцы Усть-Колвинской волости и более южных районов в большинстве своем были уже православными и жили, как зыряне¹⁸. Таким образом, они были исключены из процессов консолидации ненецкого народа. В свою очередь (по данным XX века), среди сибирских ненцев не менее 12 % происходили от ассимилированных ненцами ханты и не менее 8 % – от ассимилированных ненцами энцев. В течение XVII века на Таймыре слились в единое целое «пясидская самоедь» и тавги, образовав новое племя нганасан, которое в течение XVIII века ассимилировало часть тунгусов-ванядов (маятов)¹⁹. Другим заметным явлением в процессах ассимиляции в XVII–XX веках была начавшаяся задолго до этого

тюркизация угро-, кето-, самоедоязычных и других групп населения по всей зоне таких контактов, от Урала до Саян и Якутии. Среди наиболее масштабных здесь были: ассимиляция в XVII–XVIII веках татарами некоторых групп южных ханты (частично устанавливается также и по данным археологических раскопок в Барабе)²⁰; селькупского и тунгусского населения в Томском Приобье в XVII–XIX веках со стороны различных местных групп тюркоязычного населения; кето– и самоедоязычных этнических групп на Енисее (аринцы, ястынцы, котты, моторы, камасинцы, асаны, кашинцы и другие) в XVII–XIX веках со стороны качинцев, кызыльцев, тубинцев и других тюрков; почти полная к концу XIX века тюркизация кумандинцев (этноса во многом еще не установленного происхождения) со стороны окружающего тюркского населения Алтая; тунгусов и юкагиров со стороны якутов почти по всей территории современной Якутии. На Таймыре оленные эвенки (роды Эджен, Долган и другие) продолжали в XVIII веке якутизироваться и впоследствии стали основой нового тюркоязычного народа – долган. В современной Якутии, например, нет чисто эвенкийских или эвенских селений – эвенки и эвены, как правило, живут вместе с якутами и русскими. В результате смешения якутов и эвенков появилась этнографическая группа ессейских якутов, отличающаяся по многим признакам от основного этноса. По данным переписей, проживавшие в Якутской АССР эвенки считали своим родным языком якутский: В 1959 году – 76,4 %, в 1979-м – 82,2 %²¹.

В то же время ассимилировались тюрки и некоторые отореченные группы, проживавшие среди более многочисленных соседей, в первую очередь бурят; так, к концу XIX века почти завершились процессы ассимиляции карагасов и сойотов в Прибайкалье. В состав бурятского народа в течение XVIII–XIX веков влились и тунгусы, проживавшие в Южном Прибайкалье и Западном Забайкалье: в настоящее время насчитывается около двадцати родовых групп тунгусского происхождения, что составляет приблизительно 10% от общего числа бурятских родов²². Тунгусский компонент в составе бурятского народа так велик, что это сказалось и на языке, и на антропологии – современные буряты в данном отношении заметно отличаются от других народов монгольского происхождения²³. К концу XIX века почти исчезло тунгусоязычное население и в междуречье Оби и Енисея, растворившись в том числе среди селькупов и чулымских тюрков. Ассимиляции со стороны тунгусов, а затем якутов и позднее чукчей, как уже отмечалось, подверглись юкагиры. В ходе проведения в 20-30-е годы XX века национально-территориального

районирования в Средней Сибири исчезли такие, например, этнические группы, как качинцы, сагайцы, кызыльцы, бельтыры, койбалы, большинство чулымских тюрков; все они официально стали хакасами. Но если первые пять названных групп действительно к настоящему времени слились в единый народ, то чулымские тюрки, жившие в основном за пределами границ Хакасии, среди русского населения, почти слились с русскими, хотя около 7 тысячи их в середине 1970-х годов и были записаны хакасами²⁴. Хакасами числились в начале 1960-х годов и последние камасинцы²⁵.

Процессы этнической ассимиляции у небольших этносов нарастают в последние десятилетия. Так, это характерно для Красноярского края, заселенного различными по своему происхождению народами. В 1989 г. у чулымских тюрков из 214 супружеских пар однонациональными были лишь 65, у кетов из 184 – лишь 51, у энцев из 62 – лишь пять. В 1990 году вступили в смешанные браки 37,8 % долган, 47 % ненцев и 59 % нганасан, в то время как в 1971 году этот показатель у долган был 26,3 %, у ненцев 31,4 % и у нганасан 15,1 %. У эвенков в 1974–1978 годах вступили в смешанные браки 33,7 %, а в 1984–1988-м уже 44,9 %²⁶.

О масштабности процессов внутренней ассимиляции можно, хотя и косвенно, судить на некоторых конкретных исторических примерах статистики. Так, в 1840 году в Киренском округе Иркутской губернии насчитывалось 1645 человек мужского пола тунгусского населения. Перепись же 1897 года дает здесь всего 1210 человек, т. е. уменьшение на четверть. Однако приблизительно за это же время в пределах округа численность якутского населения выросла с 25 человек до 1369 человек мужского пола, или более чем в 50 раз²⁷. В 30-е годы XVIII века в Олекминском округе в Якутии в ясак было приписано около 500 якутов и 260 тунгусов. Через столетие 2-я Ясачная комиссия определила число якутов уже в 4197 человек мужского пола, а тунгусов – в 491 человек мужского пола. Таким образом, численность якутов за столетие увеличилась в 8 раз, а тунгусов – менее чем в 2 раза. В 1897 году якутов в округе было уже 7871 человек мужского пола, а тунгусов – только 448 человек мужского пола. В результате за 167 лет до переписи якутов стало больше почти в 16 раз, а тунгусов – даже менее, чем в 2 раза²⁸. По данным переписи 1897 года для 55,5 % тунгусского населения Сибири и Дальнего Востока родными языками были русский, бурятский, якутский и юкагирский²⁹. В 70-е годы XVIII века насчитывалось 827 человек томских телеутов, а в 1858-м их осталось только 549 (падение более чем на треть),

что объяснялось принятием ими ислама и причислением в отчетной документации к другой конфессиональной группе – томским татарам³⁰. К середине XVIII века численность туринских татар, например, уменьшилась почти вдвое и падала в дальнейшем, но при этом общая численность ясачных людей (в основном манси) в Туринском округе росла – 1130 человек в 1763 году и 1697 в 1816-м³¹.

В 90-е годы XX века наметились и обратные процессы. Ряд потомков небольших этнических групп, ранее вошедших в состав более крупных народов, поднимали вопросы о выделении их из этих этносов и признании в качестве отдельной национальности. Так, активисты национального движения телеутов добились в 1991 году разрешения сменить прежнюю запись в паспортах «татарин» на «телеут», и таким образом в список народов России был внесен новый этноним. Несколькими годами позже этого же добились и активисты национального движения сойотов, входивших в бурятский этнос. Отмечается определенное стремление к этническому самоопределению у кумандинцев на Алтае, у чулымских тюрок, официально считающихся хакасами. Если подобные настроения станут массовыми, то численность сибирских татар, алтайцев, хакасов и бурят может официально уменьшиться на несколько тысяч человек.

В течение XVII века соседями этносов Сибири стали и русские люди. В силу численного преобладания русского населения уже к началу XVIII века и благодаря более высокому уровню развития их хозяйства в Сибири преобладали процессы ассимиляции коренного населения.

Первыми уже в течение XVII–XVIII веков вливались в состав верхних слоев русского сибирского общества представители верхушки местного населения, которых жаловали высокими чинами и званиями и привлекали к военной и административной службе. Известны такие династии служилых людей, детей боярских и дворян, как потомки мансийского князя Аблегирима (род Албычевых), мурзы Енбулата, кондинского князя Сатыги, знатного кыргыза Айкана, якутских тойонов Сахалтина, Матвеева-Отконова, Поротова, обуряченных тунгусских князей Гантимуровых и другие. Повсеместно для несения воинской службы широко привлекались и простые люди из числа коренных жителей. Так, например, в г. Тара в 1626 году служилых юртовских татар было 57 человек, а в 1701-м – 84³². В 1627 году томские татары и чатские мурзы составляли около трети служилого населения г. Томска³³. Качинцы в XVII–XVIII веках также составляли значительную часть гарнизона г. Красноярска, много местных жителей служило в гарнизонах Тобольска, Кузнецка, Якутска и других. В

Забайкалье в начале 60-х годов XVIII века создавались казачьи полки из конных тунгусов (500 человек) и из бурят (2400 человек).

Второй крупной группой коренного населения, влившейся в состав русских сибиряков, были так называемые ясыри, т. е. пленные. В большинстве своем они проживали в русской среде, в результате чего крестились и обычно обрусевали. Документы многих сибирских городов XVII – начала XVIII века буквально пестрят подобными сообщениями.

В течение же XVIII века упомянутые процессы постепенно прекратились и на первый план вышли явления более широкой, народной ассимиляции. Именно в это время русское население выходит из-за стен острогов и широко расселяется рядом с коренными жителями. Постепенный процесс влияния со стороны соседнего русского населения к середине XIX века приобрел новое качество и привел к полному слиянию с русскими целого ряда групп коренного населения. Это относится ко всем «канским татарам», к чулымским тюркам, проживавшим по рекам Кия, Б. и М. Кемчуг, эвенкам бассейна Средней Ангары, бурятам или обуряченным тунгусам западной части Прибайкалья и бассейна Верхней Ангары, всему коренному (тюркизированному к тому времени) населению Красноярского лесостепного района и правого берега Енисея от Восточного до Западного Саяна (включая, например, всех койбалов), большинству так называемых сымских остяков. К концу XIX – началу XX века это были районы чисто русского крестьянского расселения и коренное население там уже официально не фиксировалось. Лишь «воспоминанием о прежних тунгусских жителях по Чуне и Бирюсе, – писал о бассейне левобережья Средней Ангары С.К. Патканов, – служит тип их нынешних обитателей, несколько напоминающий тунгусов»³⁴.

Как показали результаты антропологических обследований в этом же ангарском районе, у современного русского старожильского населения прослеживается заметная монголоидная примесь, свидетельствующая о недавних процессах расового смешивания³⁵.

К началу XIX века красноярские качинцы и аринцы настолько обрусели, что даже Качинская степная дума, учитывая трудности сбора ясака с них из-за значительной удаленности, вынуждена была объявить в 1827 году, что «...ежели они (красноярские качинцы. – С.С.) не возвратятся в свои кочевья, т. е. в Минусинскую округу к своим князям, то будут переименованы в крестьяне». Однако даже перспектива уплачивать более высокие подати, видимо, не испугала их; обрусевшие качинцы продолжали оставаться на прежних местах и проживали вместе с русскими людьми в

деревнях Маганской, Шало, Юксеево и других³⁶. Перепись 1897 года уже не отметила здесь туземного населения вообще.

Основная масса тунгусского населения Забайкалья, обитавшая на юго-востоке области, к концу XIX века проживала вместе с русскими людьми, в результате чего современное русское население многих сел Борзинского и соседних районов Читинской области имеет заметную монголоидную примесь (по собственным наблюдениям автора). Фактически обрусели к концу XIX века и буряты, проживавшие между реками Хилок и Никой (Цонголов род); в результате ононская русская группа Забайкалья отличается явными признаками монголоидности, свидетельствующими о массовости смешения с местным населением – буряты вошли в эту группу примерно в количестве 40 %, а эвенки – 20 %³⁷. На территории Бурятии по рекам Селенга и Уда в XIX веке также появилась крупная смешанная группа – результат масштабной деятельности Троицко-Селенгинского монастыря, выкупавшего за калым у бурят женщин и выдававшего их после крещения замуж за русских мужчин (беглых и ссыльных). По данным антропологических исследований, в забайкальских популяциях смешанного происхождения доля бурятской крови в целом составляет более 40 %³⁸. Антропологические обследования русского населения на Верхней Лене выявили бытовавшую здесь, видимо, в XVIII–XIX веках сильную метисованность, уменьшившуюся затем в результате нового прилива русских поселенцев. Здесь в русскую среду вошла крупная группа якутов. Старожильческие группы русского населения, проживающие в Заполярье от Лены до Колымы, включили в свой состав значительное число местных жителей – юкагиров, тунгусов и якутов. В настоящее время большая часть этих русских групп близка по своему расовому типу якутам при наличии явных следов участия в этническом смешении эвенов и юкагиров³⁹.

В меньшей степени процессы вливания коренного населения в состав русского были характерны для Западного Зауралья, поскольку проживавшее здесь татарское (как и другое мусульманское население Западной Сибири) по причинам религиозных различий слабо вступало в контакты с русским. Но тем не менее и здесь в XVII веке был зафиксирован такой факт, как смена к концу столетия прежнего татарского населения по реке Исеть русским⁴⁰. Произошло это в основном в результате этнического смешения. С конца XVI и до конца XVII века наблюдается сокращение татарского населения среднеиртышского региона⁴¹.

Численность тюменско-туринских татар несколько уменьшилась и в конце XVIII века – с 6501 человека в 1763 году до 6268 в 1782-м⁴². Сильно обрусели к концу XIX века телеуты, проживавшие в русской среде по рекам Ур, Ускат, Кондома и Томь, т. е. в отрыве от центра своего расселения⁴³. В советское время религиозные препятствия стали играть заметно меньшую роль и межэтнические контакты усилились – так, полностью растворились среди русского населения туринские и обские татары, значительная часть калмаков, меньшая часть эушпинцев и барабинцев. В настоящее время количество межэтнических браков (на 85 % и более – с русскими) у татар Западной Сибири, проживающих в городах, достигает 60-80%, а в сельской местности – 20–40 % в разных регионах⁴⁴. У приобских селькупов в 1981–1985 годах, например, количество межэтнических браков (также в основном с русскими людьми) составило более 97 %⁴⁵.

Серьезное влияние на динамику численности некоторых народов в XX веке оказали процессы индустриализации и связанной с этим урбанизации. Наиболее ярким примером здесь является судьба шорцев, проживающих большей частью на территории одной из самых урбанизированных областей России – Кемеровской. Так, по переписи 1897 года было учтено 12 037 шорцев, а по переписи 1979-го – 16 033 человека (из них в Кемеровской области – 12 767). Известно также, что в 1926 году в городах проживало всего 45 шорцев, а в 1989-м уже 9,3 тысяч. Только за пределами РСФСР в 1970 году проживали 1,5 тысячи шорцев⁴⁶. В течение последних десятилетий шорцы стали одним из самых урбанизированных народов не только Сибири, но и страны в целом. Естественно, что, оказавшись в иноэтничной среде, в отрыве от родных мест, эта весьма значительная часть шорского народа не могла не подвергаться широким процессам ассимиляции и растворялась среди других этносов, в основном среди русских. Поэтому не удивительно, что если до 1970 года еще шел общий численный рост шорцев, то в 1979 году и в дальнейшем фиксировался его спад как в Кемеровской области, так и по стране в целом⁴⁷.

Вторым по степени урбанизированности из числа крупных сибирских народов, видимо, являются хакасы. Например, число хакасов-горожан с 1926 по 1939 год выросло в 25 раз и составило 5186 человек, а в настоящее время их удельный вес в общей численности народа выше, чем у алтайцев и бурят. Кроме того, среди хакасов больше лиц, проживающих за пределами своей республики, чем у алтайцев, тувинцев и бурят⁴⁸.

Процессы ассимиляции коренного населения, как внутренние, так и с

русскими людьми, заметно сказывались на динамике его численности. Так, устойчиво положительной эта динамика была лишь у наиболее крупных и компактно проживавших этносов Сибири – бурят и якутов. Происходило это за счет и внутреннего воспроизводства, и включения в их состав иноэтничных элементов. В результате численность бурят с XVII века к 1897 году выросла приблизительно с 25–27 тысяч до 288,6 тысяч человек, а численность якутов за это же время выросла приблизительно с 28–30 тысяч до 225,8 тысяч человек. При этом уменьшалась, иногда до полного исчезновения, численность проживавших на этих же территориях тунгусов, юкагиров, карагасов и сойотов; так, например, в Якутской области число тунгусов с 1859 по 1897 год уменьшилось с 13152 человек до 12 231⁴⁹. Совокупное же число коренных жителей неизменно росло. Так, в середине 70-х годов XVII века в Якутском уезде значилось ясачных якутов, тунгусов и юкагиров 9515 человек, в 1737–1738 годах – 14 175 человек, а в 1775 году – 30 183 человека. В Якутской области в 1818 году насчитывалось коренного населения 142 405 человек обоего пола, в 1897 году – 235 623, а к 1911 году – 256 253⁵⁰. Значительно прибавили в численности, особенно в течение XIX века, и так называемые минусинские татары, фактически включив в свой состав большинство окружающих иноэтничных групп. Выросло и число сибирских татар; например, только численность барабинцев выросла с 845 человек в 1701 году до 4983 в 1823-м, а общая численность тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины в 1816 году достигала 35,6 тысяч человек⁵¹. В 1989 году только сибирских татар здесь уже проживало 180 тысяч человек⁵². При этом численность соседних с татарами ханты, манси и селькупов росла значительно медленнее, а некоторые их территориальные группы исчезли вовсе; так, если в местах проживания обских татар в XVII – середине XIX века фиксировались и «татары», и «остяки», то в начале XX века «остяки» не упоминались вовсе.

Таким образом, мощные процессы ассимиляции, вместе с рядом других факторов, сдерживали рост численности целого ряда малочисленных или сильно рассеянных на больших территориях этносов. В первую очередь это относится к сибирским тунгусам, расселенность которых на обширных территориях вела к их слиянию с соседями – бурятами, якутами, русскими и другими народами. Общая численность тунгусов с XVII века к 1897 году выросла в 3,5 раза, составив 62 068 человек⁵³. Однако динамика роста, особенно применительно к отдельным территориям, была крайне неустойчивой. Например, численность тунгусов

Средней и Западной Сибири в XVII веке по подсчетам В.А. Туголукова составляла 12,6 тысяч человек; в 1897 году она упала до 9,8 тысяч, а к 1927-му – до 7,7 тысяч человек, что сам автор объясняет широкими процессами ассимиляции распыленно проживавшего на огромных пространствах тунгусского населения со стороны многочисленных соседей⁵⁴.

Слабо росла, конечно, и по причинам иного характера, численность некоторых групп населения Обь-Енисейского междуречья; как уже отмечалось, число селькупов Нарымского края, по данным ясашной книги 1629 года, приблизительно совпадает с их численностью по материалам переписи 1897 года. Мало выросла за это время и численность ненцев и энцев – приблизительно с 8 тысяч в XVII веке до 11,5 тысяч в 1897-м (при этом около 10–12 % ненцев происходило от ассимилированных ханты). В последние десятилетия стала заметнее падать численность чулымских тюрков, так как это, пожалуй, единственный народ Сибири, у которого метисы не вливаются в данный этнос, а почти поголовно предпочитают считать себя русскими⁵⁵.

Процессы ассимиляции, особенно заметные с XIX века, привели к существенному изменению этнической карты Сибири. То, что именно они в большинстве случаев играли определяющую роль в замедлениях роста, колебаниях численности или в общем уменьшении, иногда вплоть до полного исчезновения отдельных этнических групп, подтверждается фактом роста общей численности совокупного коренного населения Сибири в XVII–XX веках, несмотря на интенсивное вливание коренного населения в состав русских сибиряков. Внутренняя ассимиляция в среде сибирских аборигенов и ассимиляция с русскими привели к тому, что к началу XX века на территории региона уже не отмечалось самостоятельного существования нескольких этнических групп, известных здесь ранее, а рост численности ряда небольших этносов заметно сдерживался, поскольку их представители на протяжении долгого времени пополняли состав соседних, более крупных коренных народов.

Боевые действия и их влияние на численность коренного населения

В процессе присоединения Сибири происходили боевые действия, в ходе которых гибли коренные жители. Все случаи вооруженных столкновений можно разделить на три типа: между отдельными группами коренного населения; между русскими и коренными жителями; между

коренными жителями и иноземными агрессорами.

«До-русское» время для большинства сибирских народов известно как период ожесточенной межплеменной или межродовой войны. Включение Сибири в состав России не сразу привело к окончанию всех этих конфликтов. В течение XVII века и несколько позже продолжались набеги ненцев на ханты и ответные действия последних, убийства тунгусами якутов, которых они заставляли в своих охотничьих угодьях на Витиме, Патоме и Олекме, отдельные столкновения между бурятами и тунгусами; отмечалась частая гибель коренного населения в ходе набегов кыргызов на русские ясачные волости. Столкновения эти иногда были весьма масштабными. Так, в 1653 году ханты разгромили род ненецкого князца Ледерея, находившийся на соболином промысле⁵⁶. В 1678–1679 годах пришли на Обдорь «воровская самоедь больше 400 человек и ясачных остяков... убили 23 человек... а жен их грабили... а детей имали к себе в полон...»⁵⁷. Енисейские кыргызы неоднократно громили шорцев, чулымских тюрков, кузнецких татар, убивая десятки людей. В 1692 году они почти полностью разорили «канских татар».

К сожалению, точные цифры потерь коренного населения установить не удастся, надо полагать, что в целом, в русское время, они были достаточно невелики. В ходе таких столкновений погибло, по нашему мнению, около 500 человек ненцев и ханты, 300–400 тунгусов и якутов, около г тысячи человек населения Саяно-Алтая, несколько сот бурятов и других, т. е. всего несколько более 2 тысяч человек, что составляет около 1% совокупной численности коренного населения на начало XVII века.

Вооруженные столкновения с русскими людьми были известны на большей части региона, но длились они, за небольшими исключениями, лишь до начала XVIII века, т. е. в период присоединения Сибири. В дальнейшем они полностью прекращаются и исключаются из числа факторов, влияющих на численность коренного населения.

Первые бои, в которых участвовали сибирские татары, манси и ханты, понесшие определенные потери, произошли еще в XVI веке, в ходе продвижения отряда Ермака. Боевые действия затем продолжались во время походов по территории Западной Сибири. В 1593 году велась борьба против мансийского князца Аблегирима, а через несколько лет – против селькупского союза племен – Пегой орды. Все это время воевали и против откочевавших в степи и оставшихся верными Кучуму сибирских татар; апогей военных действий пришелся на 1598 год, когда произошло крупное сражение на реке Ирмень. В начале XVII века в ходе продвижения на Томь

и Енисей произошли первые столкновения с енисейскими кыргызами, не желавшими расставаться с властью над подчиненным ими населением (кыштымами). Борьба с енисейскими кыргызами, поддерживаемыми монгольскими феодалами, продолжалась почти столетие (до первых лет XVIII века) и отличалась крайним ожесточением. В ней, кроме кыргызов, участвовали (а больше страдали от войны) и их бывшие данники – вначале часто на стороне кыргызов, а к концу XVII века в основном на стороне России. В ходе продвижения к востоку от Енисея русские отряды столкнулись с тунгусами и бурятами, где особенно упорную борьбу пришлось вести против князцов Тасея и Оилана. Ожесточенные сражения имели место и в ходе присоединения Якутии в 30–40-е годы XVII века. В целом, для большинства территорий Сибири была характерна ситуация, когда вооруженные столкновения коренного народа с русскими продолжались от нескольких месяцев до 20–25 лет, и в основном в период присоединения данных территорий к России. Исключение составляли, как уже указывалось, енисейские кыргызы, а также часть ненцев – «юрацкая самоядь», последние боевые столкновения с которыми относятся к 1797 году⁵⁸.

Первым случаем, когда может быть достоверно установлено число потерь коренных жителей в ходе боевых действий против русских людей, является упоминавшееся сражение на реке Ирмень, когда погибло и утонуло более 200 татар⁵⁹. Завершился же основной период военных столкновений с русскими еще более крупным сражением – разгромом в 1692 году кыргызов-тубинцев, которые из минусинских степей перекочевали в Канскую землю, присягнули на верность царям, а затем дотла разграбили местных ясачных людей и двинулись назад, в свои кочевья на реку Тубу. Канские «татары» направили жалобу в Красноярск, и его гарнизон вместе со служилыми «подгородными татарами» вышел на перехват тубинцев. Тубинцы были разгромлены в ожесточенном сражении, в ходе которого погибло около 650 мужчин, а в плен попали почти все женщины и дети, а также 40 мужчин⁶⁰. В результате один из четырех кыргызских улусов фактически прекратил существование.

К сожалению, точных цифр потерь коренного населения в ходе большинства боевых действий в Сибири мы не имеем. Достаточно уверенно можно лишь сказать, что они никогда не были единовременно так велики, как в названных двух случаях. Так, в ходе разгрома крупного восстания в Якутии в 1642 году, когда в своих острожках погибло некоторое число якутов, воевода П.П. Головин повесил еще 23 человека⁶¹.

Какие-то потери несли тунгусы и буряты в ходе присоединения их земель к России (например, в 1633 году было разгромлено стойбище князца Корендея на реке Чуна, а в 1641-м – улус князца Чепугая на Верхней Лене), но в источниках не отмечено случаев массовой гибели людей. Продолжительность периода военных действий для этих крупнейших коренных народов – якутов, тунгусов и бурят, была невелика и вряд ли боевые потери заметно сказывались на их численности, как, впрочем, и на численности большинства народов Сибири. Относительно же ненцев можно сказать, что их потери, также в целом незначительные, в большинстве случаев были намного ниже, чем потери их противников. Наибольшие же потери от столкновений с русскими понесли сибирские татары в конце XVI – начале XVII века, и особенно енисейские кыргызы, воевавшие до начала XVIII века. К сожалению, состояние источников не позволяет произвести точный подсчет потерь. Проведенный нами расчет, весьма приблизительный, позволяет говорить, что всего погибло около 3–3,5 тысяч кыргызов и их кыштымов, не более 1 тысячи татар, вместе около 1 тысячи бурят, тунгусов и якутов и около 500 человек из других народов, т. е. всего около 6 тысяч человек. Предполагая, что гибли, главным образом, мужчины и условно считая их число в Сибири на начало XVII века равным числу женщин (т. е. 80–100 тысяч человек), можно сказать, что в ходе боевых действий погибло от 6 до 7 % мужского населения. При этом не менее половины числа таких потерь пришлось на долю енисейских кыргызов, численность которых вместе с ближними кыштымами на начало века определялась в 8–9 тысяч человек (т. е. 4–4,5 тысячи мужчин). Для остального же населения Сибири совокупное число потерь мужского населения колебалось, видимо, в пределах 3–4%. При этом необходимо также помнить, что эти потери были разнесены во времени, а к концу XVII века численность коренного населения выросла. Потери населения в ходе боевых действий против русских людей были ощутимы, но для подавляющего большинства народов не имели серьезных последствий.

Коренные жители гибли и в результате вторжений иноземных захватчиков (набегов Алтын-ханов, а затем и джунгар в Саяно-Алтае вплоть до начала XVIII века, калмыков и тех же джунгар в Западной Сибири до середины XVIII века, а также казахов и каракалпаков вплоть до XIX века; на северо-востоке Сибири в конце XVII века начались и в течение следующего столетия продолжались набеги независимых тогда чукчей на юкагиров). Вооруженные силы России, включавшие и отряды коренных жителей, были еще не в состоянии обеспечить надежную защиту

границ, что приводило к многочисленным случаям гибели коренного населения – сибирских татар (в том числе барабинцев, телеутов и других), разнородного населения Приенисейского края и Кузнецкой земли, бурят и «конных тунгусов», а также юкагиров и других – от рук иноземцев.

Страницы сибирских документов донесли до нас много таких фактов. Общее число потерь, связанных с вторжениями иноземцев, также весьма приблизительно, можно определить для татар в 1,5 тысячи, населения Приенисейского края в 1,5–2 тысячи, бурят и конных тунгусов в 0,8–1 тысячу, юкагиров в несколько сот человек. Всего же в результате таких вторжений погибло от 4 до 5 тысяч человек из числа коренного населения, что сравнимо с числом погибших от рук русских людей.

В течение большей части XVIII века и всего XIX века коренное население было наконец избавлено от потерь, связанных с боевыми действиями, а угроза иноземных вторжений была в основном ликвидирована. Потери такого рода стали известны уже в XX веке. Призванные на тыловые работы во время Первой мировой войны коренные жители в основном оставались в Сибири и работали на заводах, фабриках, железных дорогах, в шахтах и т. д. Участия в боевых действиях они не принимали и число погибших не выходило за рамки производственного травматизма, характерного для довоенного времени, когда многие из них работали на золотых приисках, угольных коях и т. п. В годы Гражданской войны боевые действия на территории Сибири были очень быстротечны и коренного населения почти не коснулись, что показала демографическая Всероссийская перепись 1920 года. Тем не менее именно к этому времени относится факт массовой единовременной гибели коренных жителей – второй по числу погибших в истории Сибири, когда в ходе подавления антисоветского восстания под руководством П. Лубкова в окрестностях города Мариинска в бою было убито около 400 сибирских татар (по данным сводок частей особого назначения). Самая же тяжелая ситуация сложилась в годы Великой Отечественной войны. Призывы в действующую армию касались уже большинства коренных жителей, и тысячи мужчин на несколько лет были оторваны от семей. Боевые потери коренного населения Сибири были так же высоки, как и потери остального населения СССР, проживавшего на не оккупированной врагом территории и давшего армии максимальное число мужчин. Лишения военного времени, серьезные трудности с продовольственным обеспечением в тылу и связанная с этим повышенная смертность также негативно сказывались на численности населения.

К сожалению, мы до сих пор не имеем конкретных цифр боевых

потерь и смертности в тылу среди коренного населения в годы войны. Поэтому динамику его численности можно проследить лишь по косвенным данным, сравнивая сведения последней предвоенной переписи 1939 года и первой послевоенной 1959-го. Так, в 1939 году в Сибири (без народов Дальнего Востока и северо-востока) насчитывалось 689,6 тысяч человек коренного населения, а в 1959-м – 690,8 тысяч (без тувинцев). За эти 20 лет совокупное население выросло всего на 1,2 тысячи человек, а численность подавляющего большинства народов (кроме бурят) упала. Так, ненцев стало меньше на 1,3 тысячи человек, селькупов на 2,1 тысячи, эвенков на 5,6 тысяч человек, эвенов на 700 человек, алтайцев на 4 тысячи, шорцев на 1,4 тысячи, хакасов на 3,8 тысяч, кетов на 300 человек, якутов на 9,8 тысяч⁶² (по другим данным, якутов с 1939 по 1946 год стало меньше на 20,3 тысячи человек)⁶³. Большинство названных народов от переписи 1926 года до переписи 1939-го и затем после переписи 1959-го, т. е. в мирные годы, показывали, в основном, рост своей численности. Причинами чрезвычайно низкого совокупного прироста за 20 лет с 1939 по 1959 год, а также падения за это время абсолютной численности большинства отдельных народов можно считать главным образом высокие потери на полях боев и очень тяжелые условия жизни в тылу в годы войны. В качестве подтверждения данной посылки можно сослаться на пример тувинцев – народа, вошедшего в состав СССР только в 1944 году и в меньшей степени ощутившего тяготы войны: их численность за эти же 20 лет выросла с 62 тысяч человек до 99,9 тысяч, т. е. более чем на треть⁶⁴. Таким образом, эта война явно стала причиной крупнейшего за четыре столетия уменьшения численности коренного населения Сибири.

Видимо, война была и одной из важнейших причин отмеченного Т. Армстронгом замедления роста численности северных народов с 1926 по 1959 годы, когда она выросла только на 8 %, при среднем росте населения по стране 20 %⁶⁵. Наряду с другими факторами, в первую очередь широкими процессами ассимиляции, на которых акцентировал внимание Т. Армстронг, нужно помнить и о высоких потерях коренного населения в годы войны. Сильное же отставание коренного населения Сибири от общесоюзных темпов роста в эти годы следует объяснять также и тем, что в 1939–1945 годы в состав СССР вошли новые территории с многочисленным населением, что дало заметный прирост численности к 1959 году по сравнению с 1926-м. Но уверенно можно заявлять, что если когда-либо будет проведено специальное исследование динамики численности именно довоенного населения СССР (например, какой-то

группы, проживавшей на его территории в 1938 году) за тот же период, то мы получим приблизительно такие же цифры, как и для коренного населения Сибири.

В последние годы рядом исследователей высказывались также мнения, что социально-экономические изменения, происходившие в нашей стране в 20–30-е годы XX века, негативно сказались на динамике численности коренного населения Сибири. Так, уменьшение числа якутов на 2,6 тысяч человек с 1926 по 1939 год объясняется исключительно ломкой традиционной формы их хозяйства в ходе коллективизации в деревне, сокращение численности бурят на 12 тысяч человек за тот же период – последствиями репрессий и разделением территории Бурят-Монгольской АССР в 1937 году на несколько частей, а падение численности хакасов с 1926 по 1936 год на 5 тысяч человек – массовой принудительной коллективизацией в национальной деревне⁶⁶. Не подвергая сомнению вероятность потерь численности коренного населения в результате действия указанных факторов, следует напомнить, что одновременно с этим действовал целый комплекс причин и иного рода, не связанных с прямым изъятием людей из воспроизводства населения (гибель, пребывание в заключении и т. д.). Например, В.А. Кышпанаков, охарактеризовавший указанное выше уменьшение числа хакасов (исключая переселения в Туву и другие районы) как прямую его убыль, приводит данные, из которых видно, что с 1936 по 1939 год, т. е. всего за три года, хакасов стало больше на 5,5 тысяч человек, и в результате за такой невероятно короткий по демографическим понятиям срок убыль, копившаяся в течение десяти лет, вдруг была компенсирована и даже превзойдена⁶⁷. Ввиду этого требуется более детальное изучение демографических процессов в нашей стране в 10–50-е годы XX века. О реальной сложности их в указанное время в Сибири может говорить и такой парадоксальный на первый взгляд факт, как заметный рост численности бурят с 1939 по 1959 год (с 225 тысяч до 253 тысяч человек) на фоне отмеченного сильного ее падения у всех остальных народов Сибири (кроме тувинцев – в силу названных выше причин).

Миграции и угоны

Одним из важных факторов, влиявших на колебания численности применительно к отдельным районам Сибири, были внутрисибирские

миграции коренного населения, а также уходы за пределы границ России и насильственные угоны со стороны иноземных захватчиков. Если уходы и угоны населения за пределы русских границ имели место в основном в XVII – начале XVIII века, то миграции продолжали существенно влиять на динамику численности и позже.

К моменту прихода русских в Сибирь лишь незначительная часть ее жителей вела оседлый образ жизни. Большинство же населения было кочевым, совершавшим либо сезонные переходы, либо мигрировавшим достаточно далеко в поисках новых кормовых или охотничье-промысловых угодий. Особенно широкие миграции на огромных пространствах Восточной и части Западной Сибири в XVII–XIX веках совершали тунгусы. Переселения в заметных масштабах в это время известны также у татар, манси, селькупов, якутов, части бурят. Сибирские татары, например, с берегов Ишима и Тобола доходили, вероятно, до Чульма и Енисея. После того как в 1703 году джунгары увели кыргызов со Среднего Енисея и степи Хакасско-Минусинской котловины оказались свободными, туда сразу же хлынуло население из соседних таежных районов и русских ясачных волостей, скрывавшееся там от кыргызских набегов. Сюда переселились качинцы, аринцы, ястынцы, сагайцы, кызыльцы и другие племенные группировки, составившие затем ядро хакаского народа. В районах Красноярска и на правобережье Енисея уменьшилось количество населения в ясачных волостях. Однако естественный приросту оставшегося коренного населения был так велик, что уже в начале XIX века их число стало прежним. Среди качинцев в Красноярском округе, например, в 1826 году только ясачных людей арийского происхождения насчитывалось уже 41 хозяйство. В то же время в Минусинском округе среди качинцев было 125 аринских хозяйств⁶⁸; численность же качинцев и кызыльцев составила около 40 тысяч человек, а всего коренного населения там вместе с Ачинским округом в 1897 году было 89 705 человек⁶⁹, т. е. минимум в 4 раза больше, чем в конце XVII века. Одной из причин уменьшения численности тунгусского населения в Якутской области и Иркутской губернии были его переселения на запад и юг. Так, к 1897 году, со времени ревизии 1859 года, численность тунгусского населения в соседней Енисейской губернии увеличилась на 10%, а в Забайкальской области с 1840 по 1897 год – на 125,7 %. Еще, видимо, к XVII веку тунгусы в своем движении на запад достигли Енисея и в дальнейшем появились на реках Таз, Худосей и Поколкы. «Ревизия 1859 г. застаёт там по р. Сыму в области остяков уже целый род тунгусов, нигде более не встречавшийся»⁷⁰.

В течение XIX века несколько тысяч кузнецких телеутов переселились на Алтай.

Переселения коренного населения часто создавали картину запустения их прежних земель и впечатление вымирания. Но реальная численность, как уже упоминалось в случае с селькупами, не падала. Не потеряли, например, в своем числе с XVIII по XX век и манси с реки Сосьва (в частности, именно на них в качестве примера ссылался Н.М. Ядринцев, говоря о «вымирании» «инородцев»). Так, по данным V ревизии 1795 года на Сосьве (территория нынешнего Сосьвинского сельсовета) проживали 603 манси, по VII ревизии 1816 года – 659, по X ревизии 1858 года – 617, по переписи 1897 года – 504, по Приполярной переписи 1926 года – 624, по данным 1990 года – 671. Уменьшение численности манси в течение XIX века объяснялось исключительно их миграциями в восточном направлении – на реки Обь и Казым. Одновременно с этим сильно колебалось и число жителей в населенных пунктах на указанной территории, когда в одних она падала на 37–68 % и возрастала на 100–500 % в других. Данная ситуация также обуславливалась постоянными миграциями манси, которые стимулировались потребностями промыслового хозяйства, нуждавшегося в непрерывной смене угодий. Демографическая структура общин в XIX веке отличалась гармоничностью: почти равное соотношение числа мужчин и женщин (54:46 %), высокая доля лиц трудоспособного возраста от 16 до 50 лет (57 %), значительный процент детей (31 %) и незначительный – стариков (12 %). Такие особенности демографической структуры говорят об устойчивом воспроизводстве населения и никак не подтверждают широко бытовавший тезис о «вымирании» и «деградации» вогулов-манси⁷¹.

Разовое и массовое переселение, подобное описанному событию начала XVIII века на Енисее, обычно отмечалось в источниках, и исследователи не удивлялись запустению прежних земель. Растянутые же по времени миграции, подобные передвижениям манси, селькупов, тунгусов и других, фиксировались слабо и поэтому создавали почву для догадок, иногда далеких от реальности. Общая численность коренного населения, иногда действительно падавшая в отдельном административном районе, в пределах российских границ не менялась.

В течение XX века наиболее заметные переселения происходили у шорцев, когда они в массовом порядке, как отмечалось выше, переселялись из сел в города в пределах, в основном, Кемеровской области. Места их прежнего расселения пустели, что привело к исчезновению ряда шорских деревень и даже ликвидации созданного в 1926 году Горно-Шорского

автономного округа. Городской образ жизни, в свою очередь, еще больше увеличивал их подвижность и, как мы видим, в 1979 году в Кемеровской области проживало только 12 767 шорцев из 16 033 отмеченных на территории СССР.

Фиксировались в истории Сибири и вынужденные уходы коренных жителей за пределы русских границ, имевшие место с XVII по XX век. Вызывались они иногда произволом местных русских администраторов, а иногда и недовольством официальной политикой государства. Так, неоднократно уходили в степи в начале XVII века отдельные группы татар (иногда даже служилых) Тюменского и других уездов⁷². В 1629 году из-за насилий воевод города Тара барабинский князец Кугутейко с ясачными людьми откочевал к джунгарам и вернулся лишь в 1635 году⁷³. «Отъезжали» из Томска также и телеуты во главе с князем И. Уделековым, что привело к падению числа оставшихся телеутов с 300 человек в 1662 году до 240 в 1674-м⁷⁴. В 1646 году за пределы российских границ – в Туву – откочевали телесы, возглавляемые князем Айдаром. Причиной ухода последних стало, видимо, нежелание выплачивать ясак; однако размер алмана в пользу хана, выплачиваемый ими в Туве, как можно понять, оказался больше ясака, и уже в конце 50-х годов XVII века телесы вновь проживали на прежних местах и выплачивали ясак⁷⁵. Отмечены и факты ухода бурят за пределы русских границ: так, в 1658 году из-за насилий приказчика Братского острога И. Похабова крупная группа бурят ушла в Монголию. Назад они вернулись лишь в 60-е годы. Случаи ухода бурят в Монголию имели место и позднее (хоринцы, табунуты, хоногодоры), однако почти все они затем возвращались. Видимо, условия их жизни в Монголии были значительно тяжелее, чем под русской властью. Согласно бурятскому преданию, беглецы из Монголии говорили: «Наш хан провинившимся отсекает головы, а русский царь наказывает розгами. Пойдемте отсюда в подданство к белому русскому царю»⁷⁶. В результате таких уходов численность ясачного населения ряда территорий падала, а с возвращением – возрастала.

Последним крупным вынужденным переселением за пределы России был уход в 1908–1914 годах в Монголию около 32,5 % всех агинских бурят, что явилось следствием сокращения землепользования забайкальских кочевников по землеустроительному закону от 5 июня 1900 года⁷⁷. Численность бурят в Восточном Забайкалье в результате заметно упала и затем росла медленно. Неустойчивая динамика роста населения в XIX–XX веках у агинцев объяснялась также и тем, что, в отличие от других групп

бурят, они по-прежнему вели кочевое хозяйство и, соответственно, имели высокую детскую смертность из-за трудных условий быта. Кроме того, много мужчин у бурят, в том числе и у агинцев, находилось в дацанах (монастырях) и не участвовало в воспроизводстве населения. Как отмечал еще декабрист Н.А. Бестужев, живший среди бурят, «калымы и безбрачие лам останавливают размножение этого сметливого племени»⁷⁸. Все это вместе и привело к некоторому уменьшению общей численности бурятского населения в Сибири в начале XX века (с 288 тысяч человек в 1897 году до 237 тысяч в 1926-м); главным фактором конечно же был уход части агинцев в Монголию.

Коренные народы пограничной зоны в XVII – начале XVIII века подвергались не только разгромам со стороны иноземных захватчиков, но и насильственным угонам из родных мест. Это происходило по всей сибирской границе – от Урала и до Даурии. Неоднократно угонялись наследниками Кучума, джунгарами и казахами отдельные группы сибирских татар, в первую очередь барабинцы. Енисейские кыргызы многократно угоняли с собой жителей ясачных волостей Кузнецкого, Томского, Енисейского и Красноярского присудов: так, только за 20 лет с 1623-го по 1642-й более 50 % чулымского населения вольно или невольно мигрировало в кыргызские земли⁷⁹. Халхасские феодалы угрозами и посулами иногда заставляли отдельные бурятские роды переселяться в Монголию. Во второй половине XVII века дауры и дючеры были уведены из Забайкалья маньчжурами. Джунгары часто использовали кыргызов в войнах против своих соседей. Так, в 1687 году на Алтае в сражении против казахов было убито 300 кыргызов. В связи с этими потерями джунгары на следующий год вновь увели из Кыргызской земли мужчин и коней для использования в войске, а также девушек и вдов для работ в Джунгарии⁸⁰.

Один из последних и самых крупных случаев угона пришелся уже на самое начало XVIII века. В 1703 году джунгары угнали с Енисея в верховья реки Или 3000 «дымов», т. е. семей енисейских кыргызов, что составляет 12–15 тысяч человек обоего пола. Угон охватил основную массу населения Хакасско-Минусинской котловины, и ее степи на время опустели. В Джунгарии кыргызы несколько раз подвергались разгрому со стороны казахов, а затем в 50-е годы XVIII века были почти полностью истреблены в ходе войны с империей Цин. Лишь некоторая часть кыргызов уцелела и была уведена в Северную Маньчжурию, где ныне в уезде Фуюй провинции Хэйлунцзян КНР проживают их потомки⁸¹.

Внутрисибирские миграции, уходы и угоны за пределы русских границ

и последующие возвращения, как мы видим, приводили к заметным колебаниям численности коренного населения, проживавшего в пограничной полосе. И если внутрисибирские миграции сказывались на его числе лишь применительно к отдельным административным районам, то уходы и особенно угоны населения сильно влияли на численность и даже судьбы отдельных народов. Так, в результате угонов из списка народов России исчезли имена дауров, дючеров и кыргызов. Численность сибирского коренного населения уменьшилась таким образом как минимум на 20 тысяч человек.

Эпидемии и случаи голода

Не меньше, чем войны, уносили иногда человеческие жизни эпидемии, имевшие место в Сибири в XVII–XX веках. Считается, что большинство болезней было принесено русскими людьми. Это часто отмечалось в качестве примера негативных последствий включения региона в состав России. Но на самом деле еще средневековые источники отмечали эпидемии почти всех основных болезней у кочевников, например, Южной Сибири. Надо полагать, что большинство населения Сибири к приходу русских было знакомо с заболеваниями, носившими эпидемический характер. Пожалуй, единственной новой болезнью, принесенной русскими людьми, был неизвестный здесь ранее сифилис, пришедший, как считается, из Америки. Кроме того, с XVII века среди коренного населения, несмотря на правительственные запреты, распространялось пристрастие к водке и табаку, подрывавшее здоровье людей. В Сибири ко времени прихода русских отмечались многие из известных в мире болезней – оспа, тиф, корь, сибирская язва, сифилис и даже холера. Эпидемии были страшным бедствием для коренных жителей. Так, в 1610 году у нарымских остяков появилась оспа, выкосившая значительную часть населения. В 1630–1631 годах сильнейшая эпидемия оспы поразила ненцев и энцев, и в результате по зимовьям Хантайскому, Леденкиному шару и Туруханскому в 1633 году в ясаке числилось 68 человек, а в умерших – 177⁸². Таким образом, по отдельным волостям смертность достигала $\frac{2}{3}$ от общей численности населения. Эпидемии свирепствовали также в Притомье и Причулымье в 1630–1632 годах и в 1664 году. Особенно губительными они были в Мелесских волостях⁸³. Сильнейшая эпидемия оспы в 1850-1851-м отмечалась у тунгусов в

Енисейском округе. В эти же годы на Енисейском севере заболели 965 коренных жителей, и из них умерли 545 человек⁸⁴.

В советское время в связи с расширением сети медицинских учреждений угроза эпидемий была устранена. К концу 1930-х годов была в основном ликвидирована и заболеваемость бытовым сифилисом. В то же время в связи с тяжелым продовольственным положением в годы войны в хлебосеющих районах Сибири (у хакасов, бурят, татар и других) массовое распространение получило заболевание, возникавшее из-за употребления в пищу зерна, собранного весной с полей из-под стаявшего снега. Смертность в некоторых случаях была сравнима с эпидемиями. К сожалению, точная статистика этой заболеваемости и смертности неизвестна, но, надо полагать, она была в числе причин, приведших к уменьшению в годы войны численности большинства коренных народов Сибири.

Тяжелые условия жизни и сопутствующий этому голод, возникавший чаще всего у охотничье-промыслового населения, ослабляли у людей защитные функции организма. Поэтому сильным эпидемиям, как правило, предшествовали периоды голода. Так, сильный голод накануне эпидемии 1630–1631 годов отмечался в Сургутском уезде, когда у ясачного населения умерло много детей⁸⁵. Голод перед эпидемией 1850-х отмечался у юкагиров. Крупные падежи скота и последующие эпидемии имели место у барабинских татар в начале XIX века, что привело к небольшому падению их численности⁸⁶.

Ошибки в методах подсчета как фактор «уменьшения» численности населения

Существенное значение в определении численности населения всегда имела методика счета. Погрешности в этой системе иногда приводили к совершенно неправильным выводам. При определении численности коренного населения до середины XVIII века можно пользоваться только данными сводных ясачных книг. Ясачные книги указывали глав юрт (семей) как тяглых ясачных людей. Мужчины-захребетники и женщины не подлежали учету. Поэтому точно определить численность местных жителей практически невозможно. Б.О. Долгих использовал для этого увеличительный коэффициент 4 или 5. Соответственно, пользуясь такой системой подсчета, мы якобы наблюдаем на протяжении XVII века

значительное уменьшение численности коренного населения. По Кетскому уезду, например, с 1624-го по 1680 год число тягловых единиц уменьшилось со 137 до 90, по Томскому уезду – с 239 в 1630 году до 125 в 1701-м. Налицо, казалось бы, очень резкое падение численности коренного населения. Однако на самом деле она даже росла. Так, в 1720 году после проведения подушной переписи на Чулыме, где числилось 40 плательщиков ясака, фактически было выявлено только мужского населения около 500 человек. Перепись показала, что в каждой юрте проживают уже не 4–5, а в среднем 11,8 человек родственников, женатых братьев и сыновей, внуков и племянников главы семьи.

Юрты-семьи росли численно и выделялись новые, но это тщательно скрывалось от администрации, которая не в состоянии была наладить постоянный контроль и учет. Это уплотнение населения было связано с реакцией на ясачную политику, которая предусматривала ясак с главы семьи, что приводило к численному росту каждой семьи. Население же в это время росло, и если в 1720 году в 89 юртах было выявлено 1050 человек, то подушная перепись 1764 года на этой же территории выявила около 2 тысяч человек. Таким образом, за 50 лет население увеличилось в два раза, его прирост достигал 2 % в год, что помог установить более тщательный подсчет. С введением подушного учета и обложения выявлялись в какой-то степени скрытые явления, которые долгое время вводили историков в заблуждение. Проверка прироста населения по отдельным районам и этническим группам Сибири в разное время показывает, что естественный прирост шел постоянно в размере не менее 0,5 % в год⁸⁷.

В качестве примера погрешности в подсчете численности населения уже в XX веке можно привести ситуацию с численностью хакасов, когда один из авторов, основываясь на данных Госкомитета по статистике Республики Хакасия приводит информацию об общем росте числа хакасов с 1939 по 1959 год с 44,7 тысяч до 48,5 тысяч человек, т. е. на 3,8 тысяч человек⁸⁸, в то время как по данным переписей этих лет известно, что общее число хакасов в стране упало с 59,8 тысяч до 56 тысяч человек. Получается, что по одним из этих данных численность хакасов выросла в тот период времени, на который пришлась Великая Отечественная война и когда численность подавляющего большинства других сибирских народов упала. Если же полагать, что цифры роста относятся не ко всем хакасам, а только к проживавшим на территории национальной автономии, то почему именно на долю остальных пришлось такие необыкновенно большие

потери? Видимо, необходимо объяснить и уточнить методику подсчета, примененную автором в данном случае.

Политика центральных властей и численность коренного населения

Большинство коренных народов Сибири было включено в состав Московского царства в первой половине XVII века, а к началу XVIII века граница Российской империи в Сибири имела приблизительно те же очертания, что и сейчас. Обычно считается, что империей Россия стала в 1721 году – в день принятия Петром I императорского титула⁸⁹. Однако и реально, и даже официально Россия являлась империей с 1547 года – со времени коронования Ивана IV «на царство». Уже при этом первом царе его государство фактически обладало всеми признаками империи – единоличной властью государя, очень большой территорией, высокой численностью и гетерогенностью населения. Присоединение Сибири было фактом из жизни империи, а потому можно говорить о применении имперского опыта управления коренными народами в отношении Сибири.

Ко времени прихода русских людей в Сибирь у государства имелся богатый опыт управления «иноземцами» – народами Поволжья и Приуралья. Этот опыт в своей основе базировался на практике управления подвластными народами, применявшейся здесь ранее монголо-татарами. Он заключался в минимальном вмешательстве во внутренние дела, поддержке внутреннего самоуправления, обеспечении защиты от внешних врагов, невмешательстве в дела религии и отсутствия (за редкими исключениями) прямого насилия при христианизации, взимании достаточно небольшой по размерам дани. И народы Поволжья-Приуралья, и большинство коренного населения Сибири были знакомы с этой практикой, применявшейся у них со времен существования улуса Джучи и Золотой Орды в течение длительного времени. Для них это был единственно возможный и приемлемый способ управления хотя бы потому, что большая часть населения просто не знала ничего иного. Не происходило ломки устоявшихся традиций, не нарушались стереотипы поведения и мировоззрения, и местные жители испытывали по этому поводу минимум тягот и неудобств. Более того, в ряде случаев дань – ясак (монг. яса – закон, установление) в пользу царя определялась в меньшем размере, чем, например, при Кучуме или у народов, подвластных енисейским кыргызам (так, ясак, введенный сибирским ханом, с приходом русских был снижен с 10 до 9 соболей, а на 1600 году он был вовсе отменен

по случаю приема Борисом Годуновым семьи Кучума). Отсюда и проистекало в целом спокойное восприятие коренными жителями факта их вхождения в новое подданство и быстрое включение огромной территории Сибири в состав Русского государства. Основные принципы имперского административного опыта татаро-монголов (наряду с некоторыми дополнениями), широко использованные российским самодержавием в практике управления народами Сибири, просуществовали до начала XX века.

У самодержцев в XVII–XIX веках главным принципом деятельности было стремление к территориальному расширению государства и увеличению народонаселения. Поэтому правительство, заинтересованное в поступлении в казну доходов от ясака, стремилось расширять подвластную территорию Сибири, сохранять и увеличивать численность коренного населения. Подавляющая часть населения Сибири, наблюдая политику русских властей, быстро осознала, что включение в состав централизованного государства будет означать ликвидацию кровавых междоусобиц (у якутов), прекращение набегов со стороны соседей (для ханты, манси, селькупов, енисейских народов и других), ликвидацию феодальной анархии (буряты, большинство сибирских татар). В итоге процесс их вхождения в состав России прошел, как мы могли видеть, без серьезных людских потерь. Если и отмечались вооруженные конфликты, то по масштабам они были невелики и продолжались недолго. Управление процессами присоединения Сибири, как можно видеть, в данном отношении было достаточно эффективным и на практике в основном соответствовало сложившимся в регионе реалиям.

С русскими людьми в Сибирь пришла достаточно твердая государственная власть. К началу XVIII века ее территория была покрыта густой сетью острогов, в каждом из которых находился воевода или приказчик, представлявший эту власть. Таким образом в целом обеспечивался контроль за соблюдением законности. Главной задачей местной администрации в отношениях с коренным населением являлось получение ясака в казну, что было возможно лишь при сохранении численности «ясачных». Для этого принимались все меры. Так, местные власти не имели права самостоятельного вынесения смертного приговора «ясачному» человеку (в XVII–XVIII веках такие решения могли приниматься только в Москве или Тобольске). Многочисленные челобитные промышленников, просивших разрешения «переведаться» с местными жителями, «побивавшими их на промыслах», оставались без ответа. Промышленники совершенно определенно говорили, что они

«тунгусов против побивать не смеют», «от тех воров без государева указу собою оборониться не смеют»⁹⁰.

Убийство ясачного человека или причинение ему увечий и повреждений, делавших его неработоспособным, было в тех условиях равноценно прямому изъятию денег из государственной казны. Поэтому правительство и местные власти принимали меры, приводившие к положительным для местных жителей последствиям. Царские грамоты предписывали угодий у ясачных людей не отнимать. Крестьян селили только в тех местах, незаселенность которых подтверждали коренные жители, для чего проводились специальные обследования. В случаях земельных споров русских людей с ясачными решения местной администрации были обычно в пользу последних – «...людем, которые у ясачных людей угодья пустошат за то воровство наказание... бить кнутом нещадно, чтобы иным неповадно было... ясачным людем в звериных промыслах чинить поруху». Селящихся самовольно на ясачных землях приказывалось «сбити долой». В 1678 году даже у митрополита Корнилия отобрали захваченные Софийским домом земли ясачных людей⁹¹. В начале XVIII века, например, по жалобе койбала Серженяка на разночинца Л. Песегова, обосновавшегося на его охотничьих угодьях по реке Шушь, виновный и его брат выселены, а их постройки сломаны⁹². Стремление правительства разделить места проживания коренного и пришлого (в основном русского) населения приводило к тому, что в течение длительного времени искусственно сдерживались процессы ассимиляции. Подобная политика имперского центра, несомненно, способствовала сохранению и росту численности коренного населения. В целом, на протяжении трех веков коренное население несло несколько меньшую тяжесть податного обложения, чем русское. Поэтому не удивительно, что в XVII веке появляется такая категория населения, как ясачные люди – русские по происхождению, но различными путями сумевшие записаться в состав ясачных.

Опасения потерпеть ущерб от ясачных недоборов побуждали власть относиться внимательно к жалобам коренных жителей, препятствовать их закабалению (например, указами 1635 и 1649 годов запрещались всякие земельные сделки с аборигенами Сибири, суды не принимали к рассмотрению иски против ясачных на суммы выше установленных законом, в судах они выступали на равных правах с русскими людьми, с ясачных не разрешалось брать долговые расписки, ими нельзя было торговать, превращать их в холопов и привозить «на Русь», запрещался ввоз

к ним вина, табака, золота, не позволялся наем на частную работу и т. д.), наказывать людей, уличенных в жестоком обращении с ясачными, снабжать голодающих продовольствием, обеспечивать медицинское обслуживание (например, в 1835 году было разрешено учреждение больниц для «инородцев» за казенный счет) и какой-то минимум образования (с 1868 года ясачным можно было бесплатно обучаться в первом классе гимназий и прогимназий до 15-летнего возраста), защищать их от набегов и т. д.

Там, где быстро устанавливалась твердая государственная власть (что было характерно почти для всей территории Сибири), коренное население испытывало минимум неудобств и лишений. Там же, где это из-за значительной удаленности или по каким-либо иным причинам происходило с запозданием (например, в Приамурье, на Камчатке, Курильских и Алеутских островах), местные жители, как известно, сильно страдали от бесконтрольного хозяйничанья пришельцев. Так что отношение к коренному населению в Сибири объяснялось не загадочностью и широтой русской души или гуманизмом, а чисто практическим интересом, связанным с задачами удержания с минимальными затратами данной территории вместе с населявшими ее народами и пополнением казны. В основе этого лежал насаждаемый правительством и наработанный в течение столетий положительный стереотип восприятия коренного жителя, позволявший в реальной жизни терпимо относиться к его инокультурной традиции. Это же, несмотря на мощнейшие тенденции ассимиляции, способствовало и сохранению вплоть до настоящего времени подавляющего большинства сибирских этносов. Народы Сибири не были истреблены пришельцами, как это произошло, например, с индейцами многих регионов Америки или тасманийцами. Они в основном сохранили свой бытовой уклад, свой язык. В их истории не отмечалось острых и масштабных конфликтов на национальной, антирусской почве, а отдельные вспышки таких возможных конфликтов гасились покровительственной по отношению к ним политикой русского правительства. Жизнь коренных народов Сибири в рамках Российской империи до наступления процессов модернизации (массовая урбанизация, призыв в армию, ассимиляция) являет собой классический пример сосуществования имперского центра и периферии, в рамках которого периферия обладала достаточно большой свободой для собственного развития и сохранения традиционного социального уклада жизни.

Система управления «инородцами» включала в качестве важнейшего

элемента принцип их внутреннего самоуправления. Организацией жизни коренного населения ведали административные органы, созданные из числа самих коренных жителей. Принцип их формирования зависел от конкретных условий района. Местное управление строилось не на территориальном принципе, а на основе этноконфессиональной принадлежности людей. Какие-либо автономные территориальные образования в Сибири, в отличие от Финляндии, Польши и Средней Азии, отсутствовали. Тем не менее в повседневной жизни людей обеспечивалась реальная, внутренняя автономия коренных жителей. Принимаемые в течение XVII–XIX веков меры по организации этого управления оказались достаточно эффективными и положительно сказались на численности коренных жителей, которая выросла к концу XIX века в 4 раза.

В начале XX века царское правительство заняло более интервенционистскую позицию по отношению к сибирскому региону и его населению, которая ухудшила его экономическое положение и привела к уменьшению численности некоторых из проживавших на территории империи народов (применение норм землеустроительного закона 1900 года, мобилизация коренного населения в ходе Первой мировой войны и другое). В результате реакции коренного населения на более интервенционистскую политику имперского центра и правительства, падение царского режима в 1917 году и попытки его восстановления в ходе Гражданской войны не вызвали поддержки со стороны коренного населения Сибири.

В ходе революции и Гражданской войны контрреволюционные власти и большевики на первых порах изменений в системе управления почти не производили. Реальные нововведения начались лишь в 1920-е годы. Советское правительство от принципа этноконфессиональной автономии перешло к системе территориальной автономии, полностью унифицировав в этом отношении Сибирь и остальные территории СССР. Тем самым была ликвидирована определенная национальная замкнутость, оторванность коренных сибиряков от процессов социально-экономического развития в стране, характерная для дореволюционной эпохи. Руководствуясь в основном теми же принципами, что и организаторы реформы управления «иногородцами» 1822 года, советское руководство разделило все народы Сибири на отдельные группы и, соответственно, придало им разные формы и уровни автономии – автономные республики в составе РСФСР (Бурятия, Якутия, затем Тува), автономные области в составе краев (Хакасия и Горный Алтай), автономные округа в составе краев и областей (Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Эвенкийский и другие),

автономные сельсоветы (например, для селькупов и некоторых других малочисленных народов). После ряда изменений, переделов территорий и т. п. данная система управления к середине 1940-х в основном устоялась и просуществовала почти без изменений до 1991 года.

Реально, особенно на первых порах, это привело к ощутимой потере действительной автономии в повседневной жизни. В большинстве органов власти на территории своих автономий коренные жители не были представлены, так как почти повсюду в Сибири некоренное население преобладало по численности и уровню общей культуры и грамотности. Для поддержания хотя бы минимального представительства сибирских народов в управлении использовался ряд мер по искусственному выдвиганию коренных жителей – специальные курсы по подготовке руководителей, квоты для льготного поступления в вузы, специальные учебные заведения и т. д. В советское время все коренные жители потеряли ряд льгот, которыми они пользовались прежде – уменьшенное налогообложение, отсутствие воинской повинности (как прямой результат этого – высокие потери в Великой Отечественной войне, ставшие самыми крупными за всю их известную историю). В этом отношении их положение ухудшилось. Разрушение прежних административных барьеров значительно расширило сферы этнических контактов, что заметно ускорило процессы ассимиляции коренных жителей русскими. Но одновременно почти все сибирские народы приобрели свою письменность, больше возможностей для получения образования любого уровня, в том числе и на родных языках, современную медицину, что, конечно, способствовало внутренней консолидации этносов и создавало условия для роста их численности. Для таежных народов, где преобладали охотничье-промысловые формы хозяйства, создавались фактории, интернаты для детей, на льготных условиях продавалось продовольствие, снаряжение и т. п. (например, уже в 1921 году по результатам работы специальной экспедиции Внешторга в Москве были даны первые распоряжения по обеспечению малых народов Обского Севера продовольствием, охотничьими ружьями и боеприпасами). В итоге общий баланс последствий изменений социально-политического характера, произошедших в советское время, для коренного населения Сибири оказался в целом положительным. В течение XX века также продолжался общий рост его численности, несмотря на мощнейшие процессы ассимиляции и заметные потери населения в годы Великой Отечественной войны.

Оценивая реальный опыт организации системы управления коренным населением Сибири в Российской империи и СССР, следует особо

обратить внимание на следующие факторы:

- общий рост совокупной численности коренного населения в XVII–XX веках;
- сохранение большинства сибирских этносов, их национального самосознания, культуры и т. д.;
- наличие в течение всего этого времени элементов реальной автономии (национально-конфессиональной до революции и национально-территориальной в советское время) в жизни коренного населения;
- отсутствие случаев каких-либо серьезных вооруженных выступлений коренного населения против российской власти.

Организация управления, применяемая в Российской империи, была единственно возможной и приемлемой для Сибири в условиях XVII – середины XIX века. В дальнейшем требовались существенные ее корректировки, что и было сделано уже в советское время. Но при этом в основе своей принципы управления остались прежними. Опыт Российской империи и СССР применительно к Сибири очень похож на аналогичный опыт Китая. Сходство это проистекает из общности принципов управления некоренными этносами: русское самодержавие восприняло у татаро-монголов принципы, которые те, в свою очередь, позаимствовали из китайской государственной практики. В дальнейшем же – в XX веке – уже китайские руководители заимствовали в СССР опыт современного национально-территориального устройства. В отличие от современных им империи Габсбургов и Оттоманской державы, в России и Китае государством в большей мере обеспечивались возможности внутреннего самоуправления, свободы вероисповедания и меньше поощрялись проявления национально-конфессиональной розни, в первую очередь со стороны государствообразующей нации. Поэтому, несмотря на серьезные общественно-политические катаклизмы и потери XX века, Россия и Китай по-прежнему сохранились в виде государств, обладающих многими признаками империи.

Крупнейшая держава западного полушария – США, также обладающая рядом признаков империи, реально в своей внутренней политике всегда проводила часть этих принципов, но в основном применительно к пришлому разноэтничному населению. К сожалению, в связи с небольшой ролью государства в освоении новых территорий ситуация с положением коренных жителей – индейцев, была иной, чем в Сибири. Иными были и их судьбы – известно, что они сильно потеряли в своей численности, а

большинство коренных индейских этносов не сохранилось; даже во второй половине XIX века имели место острые вооруженные конфликты с немногочисленными уже индейцами, что для Сибири было характерно лишь на первых этапах ее присоединения. Ситуация эта во многом напоминает период XVII–XVIII веков в истории коренных жителей некоторых окраинных территорий Российской империи – Приамурья, Камчатки, Курильских и Алеутских островов, освоение которых шло с незначительным участием государства и сопровождалось серьезными потерями численности населения. В настоящее время число коренных жителей в США весьма невелико, но в составе пришлого населения присутствуют заметно различающиеся между собой группы людей, очень крупные по численности. На наш взгляд, в ближайшее время в США неизбежны реформы, связанные с преобразованием реально существующих начал национально-культурной автономии в элементы автономии национально-территориальной (например, для потомков выходцев из Африки и латиноамериканцев). И наверняка российский опыт и опыт Китая послужат авторам таких преобразований (как он уже фактически во многом послужил при создании системы автономных образований – «резерваций» для немногочисленных потомков индейцев) примером, достойным внимательного изучения.

Примечания:

Работа выполнена по гранту РФФИ № 00-06-80462.

1 *Ядринцев Н.* Инородцы Сибири и их вымирание // Русская мысль. 1883. Кн. III; *Он же.* Сибирские инородцы, их быт и современное положение. СПб., 1891; *Паннер Я.* Гибель инородческих племен и друзья инородцев // Восточное обозрение. 1883. № 4; *Тыжнов И.* Эксплуатация сибирских инородцев в XIX веке (этюд из истории Нарымского края) // Вестник Европы. 1901. Август; *Евсенин И.* К вопросу о сохранении сибирских туземцев // Сибирские огни (Новосибирск). 1922. № 4; *Рычков К.* К вопросу о вымирании северных народностей Сибири // Сибирские огни (Новосибирск). 1923. № 1–2.

2 *Титов Е.И.* Очередные задачи тунгусоведения // Труды Первого Сибирского краевого научно-исследовательского съезда. Новосибирск, 1928. Т. V. С.153.

3 Сибирская газета. 1881. № 29 (13 сентября).

4 История Хакасии с древнейших времен до 1917 года. М., 1993. С. 302.

5 *Козьмын Н.Н.* К вопросу о вымирании инородцев // Сибирские

записки. 1916. № 2. С. юг.

6 Патканов С.К. Племенной состав населения Сибири. СПб., 1911–1912. Т. I–III.

7 Левашова В.П. Из прошлого Хакасии. Абакан, 1945. С. 15.

8 George G.S. *Siberia; The New Frontier*. New York, 1969. P. 351.

9 Kolarz V. *The Peoples of the Soviet Far East*. New York, 1954; *Conquest R. Soviet Nationalities Policy in Practice*. London, 1964; *Idem. The Last Empire*. London, 1962.

10 Armstrong T. *Soviet Northern Development, with Some Alaskan Parallels and Contrasts*. Fairbanks, 1970; Pipes R. *The Formation of the Soviet Union, 1917–1923*. Cambridge, 1970; Conolly V. *Siberia Today and Tomorrow*. London; Glasgow, 1975.

11 Armstrong T. *Op. cit.* P. 31; Fondahl G. *Native Peoples of the Soviet North // A Publication of the Center for Northern Studies*. Vol. 5. № 1. P. 985.

12 Пелих Г.И. Условия возникновения территориальной общины-юрты у селькупов Нарымского края // Ученые записки Томского госпединститута. Томск, 1955. Т. XIV. С. 268.

13 Емельянов Н.Ф. Этнический и численный состав коренного населения Томского края в XVII – первой половине XIX в. // Из истории Сибири. Томск, 1976. Вып. 19. С. 103.

14 Дыренкова Н.П. Тофаларский язык // Тюркологические исследования. М.; Л., 1963. С. 5.

15 Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М., 1960. С. 615.

16 Патканов С.К. Племенной состав населения Сибири...

17 Дамешек Л.М. Динамика и национальный состав коренного населения Сибири в период капитализма (1861–1917) // Исторический опыт социально-демографического развития Сибири. Вып. I: Палеодемография и демографические процессы в Сибири в эпоху феодализма и капитализма. Новосибирск, 1989. С. 98.

18 Жеребцов Л.Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. М., 1982. С. 166.

19 История Сибири с древнейших времен до наших дней. Л., 1968. Т. II. С. 56.

20 Молодин В.И. Кыштовский могильник. Новосибирск, 1979. С. 108.

21 Увачан В.Н. Г оды, равные векам. М., 1984. С. 186, 266.

22 Нимаев Д.Д. Буряты: диалектика этнического и государственного // Народы Сибири: права и возможности. Новосибирск, 1997. С. 8.

23 Рассадин В.И. Очерки по исторической фонетике бурятского языка.

М., 1982. С. 159–162; *Бураев И.Д.* Становление звукового строя бурятского языка. Новосибирск, 1987. С. 65–74; *Гохман И.И.* Происхождение центрально-азиатской расы в свете новых палеоантропологических материалов // Исследования по антропологии и краниологии СССР. Л., 1980; *Золотарева И.М.* К проблеме соотношений антропологической характеристики монголов, бурят и калмыков по данным соматологии // Материальная и духовная культура калмыков. Элиста, 1983.

24 *Аксянова Г.А.* Антропологическое изучение хакасов бассейна Чулыма // Полевые исследования Института этнографии. 1980–1981. М., 1984. С. 185.

25 *Николаев Р.В.* У последних камасинцев // Ученые записки Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Абакан, 1969. Вып. XIII. С. 52.

26 *Кривоногое В.П.* Этнотрансформационные процессы у коренных народов Красноярского края // Этносы Сибири: История и современность. Красноярск, 1994. С. 109–110.

27 *Патканов С.К.* Опыт географии и статистики тунгусских племен Сибири. СПб., 1906. Ч. I. Вып. 2. С. 48.

28 Там же. С. 52.

29 Там же. С. 194.

30 *Уманский А.П.* К вопросу о численности сибирских «инородцев» в дореволюционной России // Исторический опыт социально-демографического развития Сибири. Новосибирск, 1989. Вып. I. С. 61–62.

31 *Томилов Н.А.* Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX в. Томск, 1981. С. 60.

32 *Никитин Н.И.* Служилые люди в Западной Сибири. М., 1988. С. 33.

33 *Люцидарская А.А.* Старожилы Сибири: Историко-этнографические очерки, XVII – начало XVIII в. Новосибирск, 1992. С. 56.

34 *Патканов С.К.* Опыт географии... С. 6.

35 *Русские старожилы Сибири: Историко-антропологический очерк.* М., 1973. С. 72.

36 *Карцов В.Г.* Из истории красноярских качинцев и аринцев // Ученые записки Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Абакан, 1960. Вып. VIII. С. 90–91.

37 *Русские старожилы...* С. 75–77, 117.

38 Там же. С. 174.

39 Там же. С. 144–154.

40 *Долгих Б.О.* Родовой и племенной состав народов Сибири... С. 48.

41 *Салтыкова Р.К.* Из этнической истории татар средне-иртышского

региона (конец XVI – начало XX в.) // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1984. С. 207.

42 Томилов Н.А. Тюркоязычное население... С. 52.

43 Функ Д.А. Расселение и численность бачатских телеутов в XIX в. // Этнические и этнокультурные процессы у народов Сибири: история и современность. Кемерово, 1992. С. 40.

44 Томилов Н.А. Сибирские татары: опыт проживания в диаспоре // Народы Сибири: права и возможности. Новосибирск, 1997. С. 33, 44.

45 Шаргородский Л.Т. Современные этнические процессы у селькупов. М., 1994. С. 143 (табл. 26).

46 Патрушева Г.М. Численность и расселение шорцев в Кемеровской области в 1930–1980 гг. // Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и культур. Новосибирск, 1995. Т. II. С. 202–205.

47 Численность и состав населения СССР по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. М., 1985. С. 73, 75, 94.

48 Кышпанаков В.А. Национальный состав населения Хакасии в XX в. // Россия и Хакасия: 290 лет совместного развития. Абакан, 1998. С. 52–53.

49 Патканов С.К. Опыт географии... С. 49.

50 Бахрушин С.В. Исторические судьбы Якутии // Научные труды. М., 1955. Т. III. Ч. 2. С. 27.

51 Томилов Н.А. Тюркоязычное население... С. 176–178, 252.

52 Томилов Н.А. Сибирские татары... С. 32.

53 Патканов С.К. Опыт географии... С. 232.

54 Туголуков В.А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири. М., 1985. С. 272.

55 Кривоногое В.П. Этническая ситуация на Среднем Чульме (середина 80-х гг.) // Этнографическое обозрение. 1994. № 3. С. 26–27.

56 Бахрушин С.В. Самоеды в XVII в. // Бахрушин С.В. Научные труды. Т. III. Ч. 2. М., 1955. С. 9.

57 Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI и XVII вв. // Там же. С. 95.

58 Жеребцов Л.Н. Указ. соч. С. 160.

59 Акты исторические. СПб., 1841. Т. II. Док. № I. С. 3.

60 Кузнецов-Красноярский И.П. Исторические акты XVII столетия (1633–1699). Томск, 1890. Вып. г. № 27. С. 66–67.

61 Ионова О.В. Из истории якутского народа (первая половина XVII века). Якутск, 1945. С. 79–91.

62 Русские старожилы... С. 187.

63 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Якутская АССР. М., 1928.

С. 181; *Винокурова Т.З.* Рождаемость и смертность якутов // Языки, культура и будущее народов Арктики: Тезисы докладов Международной конференции. Якутск, 1993. Ч. I. С. 72.

64 Русские старожилы... С. 187.

65 *Armstrong T.* Op. cit. P. 31.

66 *Алексеев Н.А.* Якуты: традиционная культура и современность // Народы Сибири: права и возможности. Новосибирск, 1997. С. 76; *Нимаев Д.Д.* Указ. соч. С. 14–16; *Кышпанаков В.А.* Указ. соч. С. 52.

67 *Кышпанаков В.А.* Указ. соч. С. 52.

68 *Карцов В.Г.* Указ. соч. С. 91.

69 *Патканов С.К.* Список народностей Сибири. Пг., 1923. С. 6.

70 *Патканов С.К.* Опыт географии... С. 6–7, 45, 58.

71 *Мартынова Е.П.* Демографические процессы у сосвинских манси в конце XVIII–XX вв. // Тезисы докладов научной конференции памяти Н.М. Ядринцева. Омск, 1992. С. 10–11.

72 *Томилов Н.А.* Тюркоязычное население... С. 46, 142, 148.

73 *Бахрушин С.В.* Сибирские служилые татары в XVII в. // Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т. III. Ч. 2. С. 175.

74 *Уманский А.П.* Указ. соч. С. 61–62.

75 *Потапов Л.Н.* Алтайские телесы в этническом отношении // Проблемы происхождения и этнической истории тюркских народов Сибири. Томск, 1987. С. 62.

76 *Окладников А.П.* Очерки из истории западных бурят-монголов. Л., 1937. С. 135–137.

77 *Андреев Ч.Г.* Формирование многонационального населения Забайкалья в 1897–1914 гг. // Исторический опыт социально-демографического развития Сибири. Новосибирск, 1989. Вып. I. С. 123.

78 *Бестужев Н.А.* Гусиное озеро // Декабристы о Бурятии. Улан-Удэ, 1975. С. 132.

79 *Розов Н.С.* Материалы по краниологии чулымцев и селькупов // Антропологический сборник. М., 1976. Вып. I. С. 343.

80 *Абдыкалыков А.* Енисейские киргизы в XVII веке. Фрунзе, 1968. С. 65–105; *Бахрушин С.В.* Енисейские киргизы в XVII в. // Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т. III. Ч. 2. С. 197.

81 *Тайсян Ч., Шомаев А.А., Скобелев С.Г.* Енисейские кыргызы в Восточной Азии // Проблемы культурогенеза и культурное наследие. СПб., 1993. Ч. III. С. 63–71.

82 *Долгих Б. О.* Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М., 1970. С. 142–143.

- 83 *Долгих Б. О.* Родовой и племенной состав... С. 97.
- 84 *Латкин Н.В.* Енисейская губерния: Ее прошлое и настоящее. СПб., 1892. С. 449.
- 85 *Бахрушин С.В.* Остяцкие и вогульские княжества... С. 95–96.
- 86 *Томилов Н.А.* Тюркоязычное население... С. 180.
- 87 *Емельянов Н.Ф.* Указ. соч. С. 99–105.
- 88 *Кышпанаков В.А.* Указ. соч. С. 53.
- 89 На самом же деле императорский титул многими монархами Европы признавался лишь лично за Петром I. Поэтому наследникам Петра пришлось приложить немало усилий, чтобы закрепить его за российскими самодержцами. Окончательно это было сделано при Анне Иоанновне и, строго говоря, только с этого времени Россию можно считать абсолютно состоявшейся империей.
- 90 *Павлов П.Н.* К вопросу о пользовании охотничьими угодьями в Сибири в XVII в. // Из истории Сибири. Красноярск, 1970. Вып. 2. С. 10.
- 91 Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. СПб., 1875. Т. II. № 183.
- 92 *Ватин В.А.* Минусинский край в XVIII в.: Этюд по истории Сибири. Минусинск, 1913. С. 95.

Юлия Ульянникова

Чужие среди чужих, чужие среди своих: Русско-японская война и эвакуация Сахалинской каторги в контексте имперской политики на Дальнем Востоке

Когда Россия вступила в войну с Японией зимой 1904 года, и имперское правительство, и российское общественное мнение были настроены на быструю победу. Однако за год войны русским войскам не удалось выиграть ни одной крупной битвы. Более того, в мае 1905 года в Цусимском сражении был потерян практически весь российский флот. Хотя уже летом 1905 года положение сил на Маньчжурском фронте существенно изменилось в пользу России, ее представитель на мирной конференции в Портсмуте С.Ю. Витте жаловался, что российское военное командование не приложило никаких усилий к тому, чтобы превратить военное преимущество в дипломатическое. В своих воспоминаниях Витте со свойственной ему экспрессивностью писал: «Я не возбуждал вопроса о перемирии, приступив к мирным переговорам, для того чтобы не связывать главнокомандующего. Он знал же, что мирные переговоры идут! Ну что же, оказал ли он мне силою какое бы то ни было содействие?! – Ни малейшего!»¹

Японская сторона, напротив, с успехом использовала сложившуюся ситуацию. В то время когда русская делегация во главе с Витте только собиралась отправиться на мирную конференцию, японский десант высадился на слабоукрепленном острове Сахалин, 7 июля на юге и 24 июля на севере². После недолгого сопротивления командующий российскими войсками на Сахалине генерал М.Н. Ляпунов сдался, после чего 30 июля японское военное командование объявило об установлении своей власти на всем Сахалине и в начале августа приступило к эвакуации русского населения острова, чтобы тем самым упрочить свою дипломатическую позицию на мирных переговорах.

В том, что Сахалин был захвачен так скоро и при минимальном сопротивлении, не было ничего удивительного. При подготовке к войне российское военное командование не приложило особых усилий к тому, чтобы укрепить остров, который с 1869 года использовался империей как

каторжная колония. К моменту высадки японского десанта фортификационные сооружения здесь стояли недостроенными, а Сахалинский гарнизон насчитывал не более 3100 человек. Примерно такое же число составляли так называемые дружинники, освобожденные каторжные и ссыльнопоселенцы, которые в обмен на службу в армии получили льготы при отбывании наказания³. Таким образом, японскому десанту, насчитывавшему 14 000 человек, противостояли плохо обученные и малодисциплинированные русские войска числом 6500⁴. В результате к концу июля, по японским источникам, на Сахалине в плену оказалось 4432 человека, причем 3271 из них сдались с Ляпуновым⁵.

Вопрос о причинах неудачной обороны Сахалина не раз рассматривался в российской и зарубежной историографии. Однако нежелание и неумение российского военного командования сначала укрепить остров, а потом и защищать его рассматривается в этих работах с точки зрения военных промахов и личных качеств командующего состава, в частности генерала Ляпунова⁶. В своей статье Мари Севела подытожила господствующее в историографии мнение, в соответствии с которым потеря Сахалина представляет собой критический пример «разложения российского военного аппарата на всех уровнях» (*multidimensional decomposition of Russia's military apparatus*)⁷.

Данная точка зрения правомерна, но ограничена. Бесспорно, Русско-японская война доказала полную некомпетентность российского военного командования, но эта некомпетентность отражала не только кризис армии, но и кризис империи, разрываемой на части неразрешимыми противоречиями. В этом отношении потерю Сахалина следует рассматривать не только как неудачную военную операцию в «театре второстепенных военных действий», но и как эпизод, иллюстрирующий противоречия имперской политики на Дальнем Востоке. Иными словами, потеря Сахалина стала логическим следствием незавершившейся интеграции острова в состав империи, а последовавшая эвакуация его населения с наглядностью продемонстрировала, что сахалинцы являлись не только чужими среди чужих на оккупированном японцами острове, но и чужими среди своих в Российской империи.

Успешной интеграции острова в состав империи препятствовало несколько факторов. Во-первых, к началу XX века цели и мотивы имперской экспансии на Дальнем Востоке оставались неопределенными. Ни в центральном правительстве, ни в общественном сознании не существовало четкого понимания значения колониальных территорий для

империи, а главное – не было согласия по поводу того, нужны ли они России вообще, что не могло не сказаться на эффективности обороны Сахалина. Во-вторых, ключевую роль в отчуждении Сахалина и его жителей от империи сыграл тот факт, что вплоть до 1905 года остров продолжал оставаться местом каторги и ссылки, что способствовало формированию противоречивого образа Сахалина в имперском сознании. Одним остров виделся как процветающая колония, где практическими (а не оторванными от жизни теоретическими) методами достигалась двойная цивилизаторская миссия: обрусение колониальной окраины и исправление преступников. Для других многоэтническое, многоконфессиональное и люмпенизированное население Сахалина представляло материал, непригодный для высоких целей «колонизации». Разрешить это противоречие к началу XX века не удалось, и отношение к сахалинцам оставалось двойственным; они еще не стали «своими», хотя не были и совершенно «чужими». Это двойственное отношение в полной мере проявилось во время эвакуации сахалинских жителей в августе 1905 года.

Фактическая сторона эвакуации Сахалина достаточно подробно освещена в работах как российских, так и японских исследователей⁸. Однако в этих работах не уделяется внимание имперской составляющей проблемы эвакуации и противоречивости действий как японского, так и российского командования. Для японского военного командования мирное население Сахалина представляло собой одновременно элемент этнически чуждый, препятствовавший успешной интеграции острова в состав моноэтнической империи, и элемент социально опасный, грозивший дестабилизировать ситуацию на оккупированном острове. Хотя японское командование приложило немало усилий к тому, чтобы четко отграничить «мирных жителей» от «каторжных», удавалось это не всегда, что приводило к плачевным последствиям. Но и на материке России сахалинцы воспринимались одновременно и как вредный «преступный элемент», и как мирное население, пострадавшее в ходе военных действий. С российской стороны хаотичность эвакуации во многом можно объяснить этим двойственным отношением, когда власти не могли суверенностью сказать, с кем они имеют дело – со «своими», с «чужими» или с теми и другими одновременно.

***«Погоня за призраками»: противоречия имперской политики на
Дальнем Востоке***

23 августа (5 сентября) в Портсмуте был подписан мирный договор, положивший конец Русско-японской войне. Вопреки всем ожиданиям, основным камнем преткновения на переговорах стал вопрос о принадлежности острова Сахалин, который большую половину XIX века находился в совместном владении России и Японии и только с 1875 года официально отошел к России в обмен на Курильские острова, переданные Японии⁹. По результатам нового мирного договора Сахалин был поделен пополам: северная часть оставалась за Россией, а южная отходила к Японии¹⁰.

Первоначально исход переговоров не удовлетворил ни Россию, ни Японию¹¹, хотя на уровне мировой политики договор воспринимался как явная дипломатическая победа России. Главным победителем себя чувствовал Витте, который в принципе готов был уступить остров целиком, так как не верил в возможность вернуть его России в ближайшие десятилетия¹². Во время конференции Витте опрометчиво признал шаткость русских претензий на остров, заявив в ответ на аргументы японской делегации об исторической принадлежности Сахалина Японии, что Россия может обойтись и без Сахалина, но из принципа его не уступит. Русской делегации с трудом удалось доказать, что это – «неофициальный» комментарий и что вносить его в протокол не следует, хотя японские представители очень настаивали¹³. Тем не менее в этом «неофициальном» комментарии ярко отразились противоречия в отношении имперского центра к его колониальной окраине. Сомнения в «русскости» Сахалина существовали и в правительстве, и в российском общественном мнении, и в 1905 году эти сомнения только чудом не привели к полной потере острова для России. Источником подобных сомнений являлась противоречивая имперская политика на окраинах, которая, по выражению министра финансов М.Х. Рейтерна, часто напоминала «погоню за призраками»¹⁴.

В 1840–1850-х годах расширение империи на восток происходило в основном по инициативе энтузиастов-одиночек, таких как Г.И. Невельской и Н.Н. Муравьев-Амурский. Их мотивы редко разделялись столичными бюрократами, для которых главным ориентиром внешней политики оставалась Европа¹⁵. В 1860-х годах для таких завзятых «западников», как, например, министр внутренних дел П.А. Валуев, цели российского продвижения на Восток, как «дальний», так и «ближний», также оставались загадкой. Узнав о взятии Ташкента в 1865 году, Валуев писал: «Ташкент взят генералом Черняевым. Никто не знает, почему и для чего.

<...> Министерства финансов и военное недоумевают. Есть нечто эротическое во всем, что у нас делается на отдаленной периферии. Амур, Уссура, теперь Ташкент»¹⁶. Общественное мнение тоже оставалось полярным. Восторженные отзывы о присоединении новых земель (Амур как сибирская Миссисипи) соседствовали с откровенно враждебными оценками (Амур как язва империи)¹⁷.

Первоначально обсуждение значения Сахалина для империи также происходило в контексте присоединения Амура. В 1850-х годах, в период «Амурской эйфории», отношение к Сахалину как к «хранителю» стратегически значимого устья было понятно¹⁸. Однако уже в 1860-х годах в поисках незамерзающего порта на Тихом океане российские военные начали интенсивное движение на юг Приморья¹⁹, основав сначала крепость Владивосток (1860), а потом обратив взоры на острова в Японском море²⁰. Русско-японская война стала кульминацией этого движения на юг, в результате которого Амур, северные районы Приморья (Николаевск-на-Амуре) и Сахалин постепенно утратили свое бывшее значение. Даже в качестве источника топлива для Тихоокеанского флота значение Сахалина оспаривалось в связи с неудобством швартовки при загрузке угля и плохим его качеством²¹. Поэтому неудивительно, что с 1850 года, когда Невельской впервые объявил Сахалин «русским», потребовались три раунда переговоров с Японией (в 1855, 1867 и 1875 годах) и настойчивое лоббирование со стороны генерал-губернатора Восточной Сибири М.С. Корсакова для того, чтобы уже после его смерти Сахалин наконец-то официально стал частью империи по Санкт-Петербургскому договору 1875 года.

Если имперское правительство свыкалось с мыслью о владении Сахалином долго и неохотно, то еще более неохотно оно финансировало переселение крестьян на Дальний Восток. По мысли Корсакова, заселение острова русскими поселенцами должно было стать очередным шагом в закреплении Сахалина за Россией, однако без поддержки из центра осуществить эти планы Корсакову не удалось. Хотя в апреле 1861 года правительство издало «Правила для поселения русских и инородцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири», оно отказалось помогать переселенцам материально²². Финансирование переселения на Дальний Восток легло на плечи Морского министерства, что позволило переселить на Сахалин только 25 крестьянских семей²³. Оставшись без экономической и социальной поддержки, крестьяне не закрепились на острове и покинули Сахалин в 1884 году²⁴.

По мысли Корсакова, только свободными переселенцами можно было закрепить остров за Россией; ссылка преступников на Сахалин, начавшаяся в апреле 1869 года, воспринималась как вспомогательная сила²⁵. Пока Корсаков оставался у власти, количество ссылаемых на Сахалин оставалось минимальным²⁶. Однако после его отставки в 1871 году (а главное – после подписания договора 1875 года) ничто не мешало имперскому правительству дать полный ход планам по созданию штрафной колонии на Сахалине²⁷. Масштабы высылки на Сахалин, начавшейся в 1869 году с «экспериментальной» партии из 800 каторжных, постоянно увеличивались, достигнув пика в 1880-х годах, когда ежегодно на остров доставлялось до тысячи каторжных обоего пола, что позволило постепенно закрыть «временные каторжные тюрьмы» в европейской части России²⁸, избежав при этом проведения дорогостоящей тюремной реформы и строительства новых тюрем. Сахалин был необходим империи именно в качестве места ссылки и каторги, что тормозило проекты по «нормализации» административного статуса острова.

«Этот нерусский Сахалин»: каторга и проблемы интеграции острова в состав империи

В отличие от дебатов о присоединении Амура, которые по большей части вращались вокруг геополитического значения новых территорий для статуса России как великой державы, серьезное осмысление значения Сахалина началось в контексте проектирования тюремной реформы. Так же, как и в дискуссии по поводу присоединения Амура, наряду с оптимистическими заявками, что Сахалину суждено стать такой же процветающей колонией, как Мельбурн и Сидней, изначально заселенные преступниками²⁹, раздавались и призывы оставить попытки колонизации «этого нерусского Сахалина»³⁰. Противоречивые точки зрения отражали две полярные тенденции «имперских технологий власти», с особой остротой проявившиеся во время либеральных реформ 1860-1870-х годов. С одной стороны, центральное правительство стремилось к унификации имперского пространства и населения, рационализации управления, модернизации социальных и экономических структур, а с другой стороны – настаивало на сохранении традиционных приемов управления, среди которых децентрализация и административные методы играли главенствующую роль³¹. В 1860-х годах эти внутренние противоречия

помешали правительству привлечь свободное население к освоению Сахалина, а после образования на острове каторги постоянно вставляли на пути интеграции острова в общеимперское пространство.

Безуспешность попыток заселить Сахалин свободными переселенцами привела к тому, что процесс освоения Сахалина не удовлетворял ключевому «стереотипу» имперской колониальной политики, обозначенному А.В. Ремневым как аксиома: «только та земля может считаться истинно русской, где прошел плуг русского пахаря»³². Тюремное управление, в ведении которого Сахалин находился с 1879 года, разделяло точку зрения, согласно которой только колонизация «плугом» признавалась успешной: сосланные на Сахалин преступники должны были заниматься земледелием, а после отбытия срока наказания селились на острове как «крестьяне из ссыльных». Но, несмотря на то, что доля «крестьян из ссыльных» по отношению к каторжным и ссыльнопоселенцам постоянно возрастала, достигая к началу XX века более 8 тысяч человек, или 24 % населения³³, их правовой, социальный и экономический статус оставался неопределенным³⁴, что препятствовало успешной интеграции Сахалина в имперское пространство.

Начиная с 1895 года поток прошений и докладов о необходимости прекратить ссылку преступников на Сахалин и открыть остров для свободной колонизации все возрастал³⁵, но для имперского правительства главное значение Сахалина продолжало оставаться в возможности использовать остров как огромную «естественную тюрьму»³⁶. Даже в 1901 году, по словам министра юстиции Н.В. Муравьева, «Сахалин должен быть [оставаться] ничем иным, как местом отбывания высшего уголовного наказания». За три года до начала Русско-японской войны министр продолжал настаивать, что «[привлечение свободных пришельцев [на остров] нежелательно, так как вольные рабочие создают опасную для ссыльных конкуренцию, а капиталисты извлекают из природных богатств острова те выгоды, которые должны быть достоянием отбывших каторгу»³⁷.

В этом отношении не могут не вызывать удивления выводы некоторых историков о том, что правительство проводило планомерную политику интеграции Сахалина в имперское пространство. М.В. Гридяева, например, утверждает, что частые перемены в административно-территориальном устройстве Сахалина были обусловлены потребностями развития острова и что на рубеже веков происходил поиск наиболее оптимальной модели управления «колонируемой окраиной»³⁸. Подобная точка зрения не

учитывает противоречия имперской политики на колониальной периферии, когда «имперские реформаторы» не только не принимали во внимание интересы развития острова, но и долгое время сомневались, возможна ли в принципе успешная «колонизация» этого далекого фронта.

Противоречия фронта: ни свои, ни чужие

Если нежелание правительства открыть остров для свободной колонизации вызывало особое недовольство среди местной администрации и некоторых кругов правящей элиты, то для либерально настроенной интеллигенции жизнь на острове не могла не представляться сущим адом не только потому, что она была подневольной³⁹, но и потому, что сахалинские реалии совершенно не соответствовали четким классификациям, которых требовала эпоха модерна. Трудно согласиться с мнением, что своей критикой либеральные интеллигенты стремились уничтожить Сахалин как символ всеобщей российской несвободы и угнетения и тем самым способствовать освобождению России⁴⁰. Скорее в работах современников проявилось полное замешательство в отношении имперской политики на колониальной периферии со всеми ее сложностями и противоречиями. Тот факт, что на Сахалине не существовало границ между произволом и законом, свободными и преступниками, русскими и инородцами, являлся источником сомнений и тревог для либеральных критиков, привыкших к более-менее упорядоченной реальности имперского центра. Сахалин же представлял собой «фронтир нации», где, по словам историка Британской империи Катлин Уилсон, под давлением межкультурного обмена рушились барьеры, которые в имперском центре считались непреодолимыми, и размывались границы между черным и белым, цивилизованным и диким, законом и страстью⁴¹. Результатом непонимания сахалинской действительности стала не только невнятность некоторых описаний острова⁴², но и шаблонность оценок, которые давали возможность осмыслить эту реальность пусть в предвзятых, но зато привычных и понятных терминах.

Начать с того, что жизнь на Сахалинской каторге не только не соответствовала современной пенитенциарной теории, но не укладывалась даже в рамки тюремной практики, распространенной в Европейской России. Все, что приезжие наблюдатели, такие как А.П. Чехов, Д.А. Дриль,

А.П. Саломон, знали о тюремном деле из научных книг и личной практики, не имело к Сахалину никакого отношения⁴³, так как Сахалинская каторга существовала вне рамок закона. Факт «незаконного» «чрезвычайного» статуса Сахалинской каторги не принимается во внимание историками Сахалина, хотя современники не раз на него указывали⁴⁴. Дело в том, что начало Сахалинской каторге было положено эдиктом 1869 года, который открыто нарушал основной уголовный закон империи, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Целью эдикта было в экстренном порядке разгрузить Забайкалье, где каторга пришла в окончательный упадок, для чего преступников, присужденных к каторге, было решено сортировать по двойному признаку: «социальной опасности» и пригодности к целям колонизации. По новому закону рецидивистов, семейных каторжных и каторжных женщин отправляли на Сахалин или в Забайкалье, а впервые судимых и бессемейных – во «временные каторжные тюрьмы» европейской части России⁴⁵.

Ни один новый вид каторги не соответствовал Уложению 1845 года, по которому наказание каторгой включало в себя и тюремное заключение, и принудительные работы в рудниках, на заводах и в крепостях (в европейской части России не было работ, на Сахалине – тюрем)⁴⁶. Поэтому новая каторга создавалась как «временная» мера, призванная организовать каторжные работы практически и тем самым обойти несовершенство закона. Хотя пересмотр Уложения о наказаниях с целью привести его в соответствие с реальностью начался уже в 1871 году⁴⁷, создание нового Уложения растянулось на десятилетия (новое Уложение было издано только в 1903-м). Так «временный» статус Сахалинской каторги стал постоянным. По мнению правительства, большой беды в чрезвычайном положении Сахалина не было, так как каторжные работы на острове хотя и не соответствовали «букве» закона, но вполне соответствовали его «духу»⁴⁸. Того же мнения придерживались и в ГТУ⁴⁹, для которого «временный» статус Сахалина открывал широкое поле для экспериментов, немыслимых в Европейской России, где во главу угла ставилась политика унификации тюремных институтов и централизации тюремного управления⁵⁰. На Сахалине же деятельность ГТУ не была связана ни законом, ни «пенитенциарными теориями», а руководствовалась только «живым делом исполнения каторги»⁵¹.

Но если для тюремных администраторов Сахалин представлял собой своего рода пенитенциарную *tabula rasa*, то для либеральных юристов и

тюремников Сахалин стал символом несбывшихся надежд. Новая каторга появилась в разгар обсуждения проектов тюремной реформы, стремившейся к унификации всех тюремных заведений империи и отмене ссылки и каторги⁵², но после долгих дебатов правительство решило с реформой подождать (отложив ее, опять-таки, до издания нового Уложения о наказаниях), а каторгу сохранить.⁵³ Разочарованные тюремники долгое время бойкотировали Сахалин, предоставив тюремному ведомству полную свободу действий не только на острове, но и на каторге в целом⁵⁴. Ситуация изменилась после посещения Сахалина А.П. Чеховым в 1890 году, одним из мотивов которого стало именно недоумение по поводу невежества тюремников в отношении практического функционирования каторги⁵⁵.

Визит Чехова сделал интерес к Сахалину легитимным (если не сказать модным), но далеко не способствовал интеграции острова в имперское сознание, скорее наоборот. После выхода в свет книги Чехова процесс отчуждения Сахалина в имперском сознании продолжился на новом уровне и с новой силой, так как Чехов сумел особенно ярко показать, насколько тюремная политика центрального правительства на периферии не соответствовала ожиданиям либеральной публики⁵⁶. Поощряя практические решения местной администрации в ущерб «букве закона», имперское правительство санкционировало не только размывание границ между законом и произволом, но и между «своими» и «чужими», что было совершенно неприемлемо с точки зрения имперской интеллигенции. Среди примеров размывания границ либеральные наблюдатели с особой остротой выделяли невозможность отличить каторжных от свободных⁵⁷, невозможность поддерживать буржуазные стандарты морали при широком распространении незаконного сожительства, проституции, плачевном положении детей, немощных и душевнобольных⁵⁸, а также невозможность создать «общество» из многонационального и многоконфессионального «сброда», формирующего каторгу⁵⁹. Особое подозрение вызывало общение с «восточным элементом» (ссылными мусульманами, по разным подсчетам составлявшими от 10 до 14 % каторжных), которые, с одной стороны, представлялись как пассивные жертвы имперской экспансии⁶⁰, а с другой – как «вредный элемент», препятствовавший колонизации и развращавший каторгу⁶¹. Еще более обострила проблему отчуждения современная сенсационная журналистика, в которой сахалинцы рисовались как своего рода «племья» со своими порядками, обычаями, языком и даже определенным антропологическим «типом»⁶².

Особенно важным для определения успешности имперской цивилизаторской миссии на острове стал вопрос об отношениях между русским и аборигенным населением. Теоретически Сахалинская каторга должна была способствовать двойной цивилизаторской миссии – исправлению преступников и освоению дикой окраины. Место аборигенного населения при этом оставалось неопределенным. Например, в 1872 году имперский чиновник так представлял себе процесс исправления преступников на острове:

Сахалинские поселенцы-преступники... должны отказаться от всякой мысли о побеге и бродяжестве... обратиться к труду, к оседлой жизни, к мирным сношениям с гиляками и айнцами, которые могут сослужить им полезную службу в качестве помощников в труде и руководителей в знакомстве с местной природой. В таком положении преступник должен понять, что улучшение его участи зависит от него самого, что спасение его будущности лежит в его трудолюбии, домовитости и честности, в превращении его из человека, вредного себе и людям, в мирного гражданина⁶³.

В этой «имперской фантазии» превращение преступника в гражданина происходило через труд и общение с аборигенами, которые оказывали цивилизующее влияние на ссыльных. Следуя практической логике, поощряемой центром, сахалинская тюремная администрация с готовностью прибегала к услугам местных гиляков, которые не только помогали ловить беглых каторжных, но и служили надзирателями в тюрьмах⁶⁴. Для «имперских реформаторов» подобное положение дел представлялось неприемлемым. По словам известного ученого-биолога А.Н. Краснова, посетившего Сахалин в 1880-х годах, «ближайший и непосредственный надзор за жизнью каторжного человека, как бы низко он ни пал, нравственно все-таки более развитого, находится в руках дикаря, самого грубого и первобытного...»⁶⁵ Так, вместо того, чтобы покорять дикую природу и «цивилизировать» не менее дикое местное население, сахалинцы были отданы на откуп «дикости», что не могло не способствовать их дальнейшему отчуждению в сознании «цивилизованной» публики.

Другими словами, если практические вопросы освоения колониальной периферии ставили и местную администрацию, и центральное правительство перед необходимостью закрывать глаза на

различия между разными категориями сахалинского населения, то для либеральной интеллигенции и читающей публики отсутствие четких границ и различий выступало как главный признак нецивилизованности и нерусскости. В попытках осмыслить противоречия фронта либеральные авторы только усугубили проблему отчуждения Сахалина от империи.

Чужие среди чужих: японская оккупация и начало эвакуации

Отсутствие четких границ между различными категориями сахалинского населения представляло проблему не только для либерально настроенных профессионалов, но и для военных, которые столкнулись с практической невозможностью разграничить «чужих» и «своих» во время эвакуации острова в 1905 году. К началу XX века практика колониальных войн способствовала складыванию нового подхода к мирному населению, при котором оно рассматривалось как сумма отдельных частей (*social aggregate*) и при необходимости подвергалось классификации и «фильтрации»⁶⁶. Уже во время оккупации Сахалина в июле 1905 года японское военное командование пыталось провести четкую границу между мирным населением и «каторжными», объявив, что жители, пойманные с оружием в руках, будут преданы полемому суду как рецидивисты, представляющие серьезную опасность как для мирного населения, так и для японских войск⁶⁷. Российское военное командование только усугубило ситуацию, призывая японские войска «не церемониться» с каторжниками, которых во многих случаях было невозможно отличить от мирного населения. Например, когда японские войска провели рейд по «зачистке» бывших тюрем, основными жертвами операции стали не каторжники, а мирные жители, которые в тюрьмах искали приют и укрытие от военных действий⁶⁸. Также японскому командованию не удалось с четкостью разграничить регулярные войска и дружинников, на которых японская сторона отказалась распространить действие конвенции о военнопленных. Скорее вооруженные дружинники – бывшие каторжные – попадали в категорию «рецидивистов» и подлежали уничтожению. И тем не менее до 1400 дружинников оказались в лагерях военнопленных в Японии⁶⁹.

С началом эвакуации задача японского командования по классификации сахалинского населения несколько упростилась. В самом широком смысле все пришлое население Сахалина, которое до войны по разным подсчетам насчитывало от 35 тысяч до 44 тысяч человек (исключая

аборигенных жителей)⁷⁰, распадалось на две категории – служащих и гражданских. Служащих и их семьи (до 800 человек) японское командование согласилось эвакуировать через Японию, куда в течение августа уже были отправлены военнопленные и санитарные отряды (свыше 4000 человек). Также через Японию было разрешено вывезти сахалинские детские приюты⁷¹. С гражданским населением дело обстояло сложнее. Если до войны японское командование планировало эвакуировать всех сахалинцев на материк России, высадив их на противоположном берегу в бухте Де Кастри, то после оккупации планы командования изменились⁷². Гражданскому населению, которое не могло финансировать переезд, было предложено покинуть остров на японских судах и высадиться на материке Приморья. Тем же, кто мог себе позволить эвакуироваться за собственный счет, было разрешено выехать через Японию, в основном во Владивосток (более 1,6 тысяч человек)⁷³.

Выезд сахалинцев через Японию представлял множество проблем как для самих сахалинцев, так и для японских властей, как показывает пример из архивов российского консульства в Японии. Среди выехавших с Сахалина через Японию находился один из самых зажиточных «фермеров» Южного Сахалина, бывший ссыльный, татарин Садык Гафуров⁷⁴. Гафуров не только выехал сам, но и помог выехать с Сахалина двум бывшим каторжным-кавказцам, которые по пути с ним поссорились, опоздали на пароход до Владивостока и остались в Японии без средств к существованию. Вскоре оба бывших сахалинца оказались замешаны в ограблении кассы российского консульства в Хакодате и предстали перед японским судом. Российский консул В.В. Траутшольд, присутствовавший на заседаниях суда, описывал процесс как необыкновенно комическое представление с участием каторжных-кавказцев, объяснявшихся с судьей на ломаном японском языке, и японской публики, потешавшейся над незадачливыми сахалинцами и их экзотическим акцентом. При этом было совершенно ясно, что социальная и культурная дистанция между российским консулом и сахалинскими каторжными была ничуть не меньше, если не больше, чем между сахалинцами и японской публикой, что тем не менее не помешало японским судьям войти в положение сахалинцев и присудить их к минимальным срокам заключения, после чего оба вернулись обратно на остров⁷⁵.

Тех, кто не мог финансировать переезд с Сахалина, японские власти сажали на баржи и в три приема вывезли с острова, высадив их на пустынный берег бухты Де Кастри на виду у русских военных, следивших

за операцией с соседнего маяка. Всего высажено было до 7,6 тысяч человек, включая стариков, женщин и детей, которым своим ходом нужно было добираться до ближайшего селения Мариинска, 56 верст через непроходимую тайгу⁷⁶. С точки зрения выселяемых сахалинцев, такой способ эвакуации был, пожалуй, самым неудобным. Российские власти, со своей стороны, были вполне удовлетворены решением японских военных. За две недели до высадки в докладе Приамурскому генерал-губернатору Р.А. Хрещатицкому военный губернатор Приморья А.М. Коллюбакин настаивал, что, если «со стороны японцев будет поставлен вопрос о передаче на нашу территорию ссыльного элемента с о. Сахалина, чтобы было выговорено, что передача может состояться только в одном пункте, именно в Де Кастри», так как в более заселенных местах Южного Приморья «выброшенная масса преступного элемента» причинит всему населению как «нравственный», так и «материальный» вред⁷⁷. Только в самый разгар высадки в Де Кастри местные власти осознали все неудобство подобного выбора и обратились к японским военным с просьбой высаживать людей в Николаевске, на что японские власти ответили отказом⁷⁸.

Вообще военный губернатор предпочитал, чтобы весь «преступный элемент» перевезли «на пароходах прямо в Европейскую Россию», что более всего отвечало бы «обстановке военного времени», но такому варианту эвакуации воспротивились в Министерстве юстиции, которому с 1895 года принадлежало тюремное ведомство⁷⁹. Дело в том, что после подписания Портсмутского мирного договора правительство не теряло надежды возобновить ссылку на северную часть острова и приказало задерживать сахалинцев в Приморье⁸⁰, тем самым обрекая их на ненужные лишения и увеличивая число жертв.

Чужие среди своих: сахалинцы в России

Первоначальным пунктом сбора и сортировки эвакуированного населения на территории России стало село Мариинск, располагавшееся в глубине материка, на берегу озера Кизи, откуда сахалинцев партиями перевозили на баржах в Николаевск и далее в Хабаровск. Для организации транспортировки в Мариинск прибыл сам военный губернатор Коллюбакин, до приезда которого местный крестьянский голова пытался мобилизовать крестьян в помощь эвакуированным, но те отказались⁸¹. В результате

главным источником провианта и перевозочных средств для сахалинцев стали Николаевская крепость и хабаровский Красный Крест, а организация жилья и питания легла на плечи самих сахалинцев⁸².

Сортировка эвакуированных представляла собой задачу еще более сложную, чем организация жилья и перевозки сахалинцев, многие из которых не имели при себе никаких бумаг, подтверждающих их заявления об окончании сроков наказания или об участии в обороне Сахалина. Отсутствие документов объяснялось не только плачевным состоянием канцелярской части на Сахалине и хаотичностью эвакуации, но и тем, что в октябре 1905 года местные жители сожгли здание тюрьмы и канцелярию губернатора в Александровске, чем еще более осложнили процесс проверки и «фильтрации» эвакуированных⁸³. Очень незначительное число сахалинцев было отправлено обратно в тюрьмы, что не могло способствовать их переполнению и отразиться на развитии тюремного кризиса после 1905 года, как утверждают некоторые историки⁸⁴, хотя до 800 сахалинцев были сконцентрированы в сортировочных бараках в Забайкалье, где они пробыли до марта 1906 года, когда был издан указ, разрешающий сахалинцам селиться на территории России⁸⁵.

Идентификация и сортировка дружинников представляла особую проблему. Хотя за участие в обороне Сахалина дружинникам были обещаны льготы, для их получения сахалинцы должны были предоставить свидетельства командиров о достойном поведении на поле брани. Поэтому в Хабаровске была учреждена специальная Комиссия по разбору и удовлетворению жалоб сахалинских воинских чинов, прибывших из плена, и в результате опросов и проверок многие дружинники были признаны дезертирами; их отправляли в тюрьмы до окончания сроков наказания, остальных выпускали на поселение⁸⁶.

Хотя первоначальная сортировка происходила в Мариинске, главной задачей военного губернатора было вывезти тысячи жителей из переполненного села на баржах в Николаевск и Хабаровск до наступления холодов и обмеления Амура. Транспортировка шла медленно из-за недостаточного количества барж и неспособности различных ведомств скоординировать свои действия⁸⁷. Столкнувшись с реалиями эвакуации, Колюбакин не мог не пожалеть о том, что его желание о высадке сахалинцев в Де Кастри было в точности выполнено японской стороной. Через десять дней после начала эвакуации он писал генерал-губернатору в Хабаровск, что «действия японцев по выселению сахалинцев надо прекратить дипломатическим вмешательством, ибо они выселяют

насиленно семейства с грудными детьми и стариками без соблюдения сроков, что в данных условиях равносильно убийству»⁸⁸. Через месяц с начала эвакуации Колюбакин, уже в полном отчаянии от «глумления» российских военных над ее проблемами, писал генерал-губернатору, что в случае дальнейшего промедления с транспортом он не ручается «за дурные последствия»⁸⁹. Тем не менее эвакуация сахалинцев из Мариинска растянулась на 38 дней и закончилась только в середине октября, к моменту ратификации Портсмутского договора⁹⁰.

Из Хабаровска процесс эвакуации шел уже значительно быстрее, так как в крупных городах по пути следования сахалинцев местные власти прикладывали все усилия, чтобы «этот элемент» не задерживался на их территории. В Хабаровске, например, местные власти изолировали эвакуированных на баржах, пришвартованных на противоположном от города берегу Амура⁹¹. Там, где изолировать сахалинцев не было возможности, им выдавались кормовые и прикладывались усилия к тому, чтобы они как можно скорее покинули местность⁹². Надо сказать, что сахалинцы не стеснялись пользоваться своей репутацией каторжных, чтобы добиться своего от администрации. В своих воспоминаниях бывший канонир русской армии, возвращавшийся в Россию после окончания войны на Дальнем Востоке, говорил о том, как ему пришлось ехать в эшелоне, в котором из Владивостока в Европейскую Россию возвращались через Харбин, Читу и Иркутск до 800 дружинников.

Вопреки своим ожиданиям, демобилизованный канонир ничуть не пожалел о том, что ехал в компании бывших каторжных, скорее наоборот. В ситуации, когда сибирские пути сообщения оказались парализованы всеобщей забастовкой, а станции были переполнены демобилизованными и неуправляемыми солдатами, сахалинские каторжные были хорошо организованы, подчинялись артельным старостам, а главное – всегда получали зеленый свет, стоило им только пригрозить поджечь станцию⁹³.

Трудно сказать, как сложилась судьба сахалинцев в России. Скорее всего, они не стали дожидаться разрешения властей и поселились там, где позволяли обстоятельства. Только в марте 1906 года правительство издало указ, по которому бывшим сахалинцам было разрешено селиться в областях империи. Тем же указом сахалинцам должны были дополнительно выделить землю для поселения в Томской и Тобольской губерниях⁹⁴. Скоро в империи возникли сахалинские поселения, как, например, под Курганом, но уже через несколько лет от них мало что осталось⁹⁵.

В Хабаровске прибывающих сахалинцев размещали также и в бараках

переселенческого комитета. В отличие от военной администрации, переселенческий комитет мало интересовался сортировкой сахалинцев. Переселенческие бараки были открыты всем желающим, что вскоре стало предметом серьезного недовольства со стороны Приамурской администрации⁹⁶. Хотя к концу 1905 года все эвакуированные сахалинцы выехали из бараков, вскоре начался поток обратной миграции: многие эвакуированные спешили вернуться на русскую часть Сахалина. Слухи о том, что в Хабаровске бывшим сахалинцам обеспечено бесплатное проживание и пропитание, быстро распространились по империи, и с декабря 1905 года сахалинцы стали стекаться в Хабаровск со всех концов России⁹⁷. Но, несмотря на недовольство местной администрации, переселенческие бараки не стали ни распространителями «огромных заболеваний», ни преступными притонами. Хотя некоторые сахалинцы и промышляли грабежом в городе, большинство людей, по выражению заведующего переселенческим делом, были настолько обездолены, что, невзирая на повсеместные «неудовольствия и беспорядки», оставались спокойны⁹⁸.

Вернувшимся на Дальний Восток сахалинцам было предложено расселиться в Приамурье и Приморье. Оценивая результаты этого расселения, генерал-губернатор Приамурья признавал, что администрация с делом не справилась. Переселенческий отдел формально приписывал желающих к поселениям, не наделяя их при этом землей. Последующие ревизии показали, что менее пятой части всех приписанных обосновались на местах. По мысли генерал-губернатора, если бы сахалинцам выделили землю и дали кредит, то результаты могли бы быть более утешительными". Однако там, где кредиты выдавались, результаты оставались теми же. По имеющимся данным, из 318 сахалинцев, получивших кредиты, только 71 проживал по месту приписки. Большинство сахалинцев, получив в кредит от 10 до 300 рублей, покинули селения и отправились на поиски лучшей жизни¹⁰⁰.

Между двух империй: Сахалин после 1905 года

В последнее время в историографии началось переосмысление Русско-японской войны как первого глобального конфликта, который не только отразил в себе колониальные противоречия прошлого, но и стал предтечей мировых конфликтов XX века, своего рода «мировой войной

номер ноль»¹⁰¹. То же можно сказать и о роли Сахалина в Русско-японской войне: если потеря Сахалина стала логическим последствием противоречивой имперской политики на Дальнем Востоке, то эвакуация сахалинцев представляется своего рода «генеральной репетицией» принудительных переселений последующих лет. Несомненно, сахалинское население отличалось специфическими особенностями, которые во многом обусловили отношение к нему как русских, так и японских властей, но приемы и тактика военных мало изменились после 1905 года. Попытка провести четкие границы между группами населения, которые до войны представляли собой противоречивое целое, поставила японское и российское военное командование перед многочисленными проблемами во время эвакуации Сахалина и привела к многочисленным жертвам.

Формированию сахалинского населения как амальгамы этничностей, конфессий и социальных групп во многом способствовала каторга. Практический подход тюремных властей к населению противоречил не только логике военных, но и модерному сознанию либерально настроенных профессионалов. По мнению последних, поощряя гибридизацию и размывание границ, каторга не только препятствовала «колонизации» Сахалина, но и тормозила его модернизацию. В «либеральной фантазии» будущее Сахалина было неразрывно связано с разработкой богатых ресурсов острова, что было возможно лишь при свободном движении труда и капитала, которое требовало создания полноправного населения¹⁰². Казалось бы, после официальной отмены каторги в 1906 году¹⁰³ ничто не мешало этой фантазии стать реальностью. Однако процветающей колонией Сахалин не стал ни до, ни после 1905 года, так как, потеряв надежду восстановить на острове каторгу, центральное правительство потеряло к острову всякий интерес.

С отменой каторги в отношении центра к Сахалину возобновилась все та же противоречивая политика, когда, с одной стороны, Сахалин представлялся «островом сокровищ», а с другой – очень мало делалось для того, чтобы этими сокровищами воспользоваться. Несомненно, каторга тормозила развитие острова, но она же поддерживала постоянный интерес центра к тому, что делалось на периферии, а вместе с этим привлекала внимание более широких слоев населения. С отменой каторги связующее звено между имперским центром и колониальной периферией исчезло, и вместо экономического бума после 1905 года на острове обострились экономические и социальные проблемы¹⁰⁴. Население русской части острова практически не росло, хотя в марте 1908 года был принят закон о

вольном заселении Сахалина. По сведениям нового военного губернатора Сахалина А.М. Валуева, прибывшего на русскую часть острова в октябре 1905 года, к концу года население русской половины составило всего 5500 человек (3359 взрослых и 2141 ребенок)¹⁰⁵. К 1912 году население увеличилось всего лишь до 7567 человек, и это несмотря на то, что остров на некоторое время привлек к себе внимание П.А. Столыпина, который лично поручил новому губернатору Д. Д. Григорьеву «поднять Сахалин»¹⁰⁶.

После отмены каторги с особой очевидностью проявилось уникальное положение Сахалина как окраины двух империй. Здесь, в условиях фронта, население было предоставлено само себе, а граница оставалась подвижной и каждый раз устанавливалась заново «силой свершившегося факта»¹⁰⁷. Неопределенность и амбивалентность пограничного существования сахалинского населения проявлялась не только в невозможности полностью интегрироваться в имперское общество, но и в постоянной угрозе быть оккупированными соседней империей (что произошло сначала в 1920 году, когда японские войска вторглись на северный Сахалин, а потом в 1945 году, когда Япония потеряла Южный Сахалин). Универсальность этого «пограничного» состояния подтверждается не только тем, что Сахалин не стал полноценной частью Российской империи ни до, ни после 1905 года, но и тем, что Карафуто – южная часть Сахалина, отошедшая к Японии в 1905 году, – не стал полноценной частью империи Японской¹⁰⁸. Подданные как Российской, так и Японской империй, сахалинцы продолжали оставаться чужими среди своих.

Примечания:

1 *Витте С.Ю.* Воспоминания: Царствование Николая II. М., 1922. Т. I. С. 389.

2 Все даты даются по новому стилю, если не оговорено иначе.

3 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (далее РГИАДВ). Ф. г. Фонд Приморского областного правления. Оп. 10. Д. 6. Манифесты, указы Сената, циркуляры МВД и военного губернатора Приморской области за 1896–1906 гг. Л. 98–99.

4 *Латышев В.М.* Боевые действия на Южном Сахалине в 1905 году // Краеведы ведут поиск / Под ред. В. М. Латышева. Южно-Сахалинск, 1985. С. 57–58; *Урсын-Прушинский С.Н.* Бои на острове Сахалине во время Русско-японской войны // Краеведческий бюллетень. 1995. № 3. С. 55.

5 *The Russo-Japanese War Fully Illustrated.* 1905. № 10. P. 1351.

6 Самарин И.А. Боевые действия на Северном Сахалине во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. // Краеведческий бюллетень. 1993. № 3. С. 72–108; Костанов А.И., Тварковский Л.С. «Здесь не готовились к войне» (о М.Н. Ляпунове) // Губернаторы Сахалина. Южно-Сахалинск, 2000. С. 43–56.

7 Sevela M. Chaos versus Cruelty; Sakhalin as a Secondary Theater of Operations // Rethinking the Russo-Japanese War; Centennial Perspectives / Ed. by Rotem Kowner. Folkestone, 2007. Vol. 1. P. 106.

8 Дубинина Н.И. О судьбе ссыльнопоселенцев Сахалина после Русско-японской войны // Дальневосточные архивы; прошлое – будущему. Владивосток, 2003. С. 141–147; Хара Т. Сахалинцы в Японии в 1905 году // История Карафуто глазами сахалинских и японских исследователей; сборник научных статей / Сост. Е.Н. Лисицына. Южно-Сахалинск, 2006. С. 7–17.

9 ПСЗРИ (2). Т. 51. № 55696, «О трактате между Россией и Японией об обмене части острова Сахалина, принадлежащей Японии, на гряде Курильских островов» (12 марта 1875 г.).

10 Портсмутский договор был ратифицирован обеими сторонами 1 (14) октября 1905 года. См.: ПСЗРИ (3). Т. 25. № 26762, «Высочайше ратифицированный мирный договор между Россией и Японией» (1 октября 1905 г.).

11 Esthus R.A. Nicholas II and the Russo-Japanese War // Russian Review. 1981. Vol. 40. № 4. P. 410–411; Okamoto S. The Japanese Oligarchy and the Russo-Japanese War. New York. 1970. P. 167 passim.

12 Dillon E.J. The Eclipse of Russia. London; Toronto, 1918. P. 306.

13 Post-War Diplomacy: The Russo-Japanese Problem: Treaty Signed at Portsmouth, USA, 1905. Dairy of J. J. Korostovetz. London, 1920. P. 78.

14 Цит. по: Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 66.

15 Невельской Г.И. Подвиги русских офицеров на крайнем Востоке России: Приамурский и приуссурийский край. СПб., 1897. С. 42 и далее; Матханова Н.П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины XIX века: В.Я. Руперт, Н.Н. Муравьев-Амурский, М.С. Корсаков. Новосибирск, 1998. С. 146.

16 Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел / Под ред. П.А. Зайончковского. М., 1961. Т. 2. С. 60–61.

17 Подробнее об Амурской кампании и российском общественном мнении см.: Bassin M. Visions of Empire: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. New York, 1999.

18 О значении Сахалина во время Крымской кампании см.: *Невельской Г.И.* Указ. соч. С. 378.

19 Об упадке стратегического значения Приамурья и Северного Приморья см.: *Афанасьев.* Амурский край и его значение // Морской сборник. 1863. № 11. С. 29–30.

20 О так называемом Цусимском инциденте 1861 года см.: *Файнберг Э.Я.* Русско-японские отношения в 1697–1875 гг. М., 1960. С. 193–197.

21 См., например, мнение управляющего Морским министерством И.А. Шестакова: Государственный архив Российской Федерации. Ф. 122. Главное тюремное управление. Оп. 5. Д. 1235. Докладная записка генерал-адъютанта Шестакова о состоянии каторги в Приамурской области. Л. 2–3 об.

22 ПСЗРИ (2). Т. 36. № 36928, «О правилах для поселения русских и инородцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири» (27 апреля 1861 г.).

23 Государственный архив Иркутской области. Ф. 24. Главное Управление Восточной Сибири 1822–1887. ОЦ. Д. 842. О заселении о. Сахалина, 1867–1868. Л. 10 об.; *Костанов А.И.* Освоение Сахалина русскими людьми. Ю.-Сахалинск, 1991. С. 90; Государственный архив Иркутской области. Ф. 24. Главное Управление Восточной Сибири 1822–1887. Оп. 9. Д. 130. К. 1903. Отчет по управлению Восточной Сибирью за 1868 год. Л. 60–61; Д. юг. К. 1901. Отчет по управлению Восточной Сибирью за 1867 год. Л. 46 06.-47.

24 [*Власов В.И.*] Отчет по исследованию Сахалина и предположения по устройству на нем пенитенциарных колоний // Научная библиотека Иркутского государственного университета. Отдел редких книг и рукописей. Сахалинская коллекция. ВИГУ РУК 345. Л. 15–18; *Костанов А.И.* Указ. соч. С. 91–92.

25 Государственный архив Иркутской области. Ф. 24. Главное Управление Восточной Сибири 1822–1887. Оп. 9. Д. юг. К. 1901. Отчет по управлению Восточной Сибирью за 1867 год. Л. 46 06.-47; Оп.² – Т. 3. Д. 29. К. 2609. О сахалинских ссыльно-каторжных (дело Путевой канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири), 1870–1871 гг. Л. 6–7.

26 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 122. Главное тюремное управление. Оп. 5. Д. 72. Дело об отмене тяжких телесных наказаний за преступления ссыльных, 1867–1868 гг. Л. 351 06. – 352.

27 См.: Журналы заседания комиссии по организации каторжных работ (1875). Государственный архив Иркутской области. Ф. 24. Главное Управление Восточной Сибири 1822–1887. ОЦ. Д. 76. Об устройстве

каторжных работ на Сахалине. 1876–1878 гг. Л. 48–84 об.

28 Отчет по ГТУ 1884 года. СПб., 1886. С. 92.

29 Бутковский Я. Остров Сахалин и его значение. СПб., 1873. С. 9.

30 Голос. № 177. 28 июня 1877 г. С. 1; Тальберг Д. Ссылка на Сахалин // Вестник Европы. 1879. № 5. С. 218–251.

31 Burbank J., Hagen M. von. Coming into the Territory; Uncertainty and Empire // Russian Empire; Space, People, Power, 1700–1930 / Ed. J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev. Bloomington, IN, 2002. P. 15.

32 Ремнев А.В. Сделать Сибирь и Дальний Восток русскими; К вопросу о политической мотивации колониционных процессов XIX – начала XX века // Сибирская заимка. 2002. № 3 [[http:// www.zaimka.ru/03_2002/remnev_motivation](http://www.zaimka.ru/03_2002/remnev_motivation)].

33 Ищенко М.И. Формирование русского населения на Сахалине (конец XIX – начало XX в.) // Краеведческий бюллетень. 1993. № г. С. 77 (таблица).

34 О дебатах о статусе сахалинских обывателей см.; Панов А. Сахалин как колония; Очерки колонизации и современного положения Сахалина. М., 1905. С. 217–227.

35 См., например, доклад наместника на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева; РГИАДВ. Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп. 5. Д. 634. Л. 1-й об.; Отчет по Главному тюремному управлению за 1901 год. СПб., 1903. С. 137.

36 Фраза принадлежит Н.Я. Новомбергскому: Новомбергский Н.Я. Остров Сахалин: Очерк сахалинской жизни. СПб., 1903. С. 85.

37 Отчет по Главному тюремному управлению за 1901 год. С. 137.

38 Гридяева М.В. Демографические процессы, административное развитие и становление социальной сферы на о. Сахалине в середине XIX – начале XX в. Дне. канд. ист. наук. Ю.-Сахалинск, 2004. С. 251.

39 См., например: Чехов А.П. Остров Сахалин. М., 1895. С. 76, 447; Лобас Н.С. Каторга и поселение на о-ве Сахалине: Несколько штрихов из жизни русской штрафной колонии. Павлоград, 1903. С. 47–48 и др.

40 Ищенко М.И. Русские старожилы Сахалина: вторая половина XIX – начало XX вв. Ю.-Сахалинск, 2007. С. 48.

41 Wilson K. An Island Race: Englishness, Empire, and Gender in the XVIII Century. New York, 2003. P. 17.

42 См.: Popkin K. Chekhov as Ethnographer: Epistemological Crisis on Sakhalin Island // Slavic Review. 1992. Vol. 51. P. 36–51.

43 См.: Чехов А.П. Указ, соч.; [Саломон А.П.]. О. Сахалин: Из отчета Начальника Главного тюремного управления А.П. Саломона о поездке на

остров в 1898 году // Тюремный вестник. 1901. № I. С. 20–58; 1901. № 2. С. 68–80; *Дрыль Д.А.* Ссылка и каторга в России: Остров Сахалин // Журнал Министерства юстиции. 1898. № 4. С. 125–68 и др.

44 См., например: *Панов А.* Указ. соч. С. 93, 95; *Новомбергский Н.Я.* Указ. соч. С. 85.

45 ПСЗРИ (2). Т. 44. № 46984, Высочайше утвержденное положение Комитета об устройстве каторжных работ от 18 апреля 1869 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 5 мая «По вопросу о будущей организации каторжных работ и временном распределении каторжных».

46 См. ПСЗРИ (2). Т. 20. № 19283, «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» (15 августа 1845 г.). Ст. 21; № 19284, «Дополнительное постановление о распределении и употреблении в каторжные работы» (15 августа 1845 г.).

47 См.: *Таганцев Н.* Проект изменения существующей системы наказаний // Журнал гражданского и уголовного права. 1873. № 3. С. 161–204.

48 Государственный архив Иркутской области. Ф. 24. Главное Управление Восточной Сибири 1822–1887. ОЦ. Д. 76. Об устройстве каторжных работ на Сахалине. 1876–1878 гг. Л. 52–52 об.

49 [*Галкин-Враской М.Н.*] Остров Сахалин: Необходимые и желательные мероприятия: Записка бывшего начальника ГТУ д.т.с. Галкина-Враского по обозрению о. Сахалина в 1894 году. СПб., 1899. С. 2.

50 См., например: *Лучинский Н.* Краткий очерк деятельности ГТУ за первые XXXV лет его существования // Тюремный вестник. 1914. № 2. С. 284–440.

51 [*Галкин-Враской М.Н.*] Указ. соч. С. 2.

52 См.: Государственный архив Российской Федерации. Ф. 122. Главное тюремное управление. О. 6. Д. 58. Об учреждении и деятельности Комитета для обсуждения проекта тюремной реформы в России 1873–75. Ч. 2. Л. 59–60.

53 Там же. Л. 164–64 об; см. также: ПСЗРИ (2). Т. 55. № 60268, Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «Об основных положениях, имеющих служить руководством при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях» от 10 декабря 1879 года.

54 См.: Вопрос о ссылке на V Парижском международном тюремном конгрессе // Тюремный Вестник. 1897. № 9. С. 430, 435.

55 *Чехов А.П.* Полное собрание сочинений и писем: В 33 т. Собрание

писем: В 12 т. М., 1976. Т. 4. С. 33.

56 Чехов открыто признавал, что «психология» сахалинских «противоречий» была ему совершенно непонятна //Чехов А.П. Остров Сахалин... С. 376.

57 См.: Чехов А.П. Остров Сахалин... С. 455; Лобас Я.С. Указ. соч. С. 118; [Саломон А.П.] Указ. соч. С. 69 и др.

58 [Саломон А.П.] Указ. соч. С. 23, 40, 76–77; Дриль Д.А. Указ. соч. С. 152–157; Чехов А.П. Остров Сахалин... С. 350–369.

59 Чехов А.П. Остров Сахалин... С. 319–320; Новомбергский Н.Я. Указ. соч. С. 156–157; Панов А. Указ. соч. С. 99–104.

60 Панов А. Указ. соч. С. 99; Новомбергский Н.Я. Указ. соч. С. 22–23; [Саломон А.П.] Указ. соч. С. 22; Краснов А.Н. По островам Далекого Востока; Путевые очерки. СПб., 1895. С. 193–195.

61 Панов А. Указ. соч. С. 99; Краснов А.Н. Указ. соч. С. 197.

62 См., например; Дорошевич В. Сахалин; Каторга. М., 1903. Подробнее о создании образа преступного мира как «другого» см.; Emsley C. Crime, Police and Penal Policy; European Experience, 1750–1940. Oxford University Press, 2007. P. 146 passim.

63 [Власов В.И.] Указ. соч. С. 70.

64 См., например, приказ об увольнении шести гиляков-надзирателей и о замене их рядовыми запаса (Приказ по Сахалину № 168 от 28 августа 1895 года) и о награждении гиляка Перунка серебряной медалью «За усердие» после поимки шайки вооруженных бродяг (Приказ по Сахалину № 35 от 16 февраля 1897 года) // РГИАДВ. Ф. г. Фонд г. Фонд Приморского областного правления. Оп. 8. Делопроизводство о ссыльных. Д. 402. Л. 404; Д. 724. Л. 84 об.

65 Краснов А.Н. Указ. соч. С. 189.

66 См.: Holquist P. To Count, to Extract, to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Ed. by R.G. Suny, T. Martin. Oxford, 2001. P. 111–144.

67 РГИАДВ. Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп. 5. Д. 638. Переселение ссыльно-каторжных с о. Сахалина в связи с занятием о-ва японскими войсками. Л. 10–11.

68 Sevela M. Op. cit. P. 101.

69 Хара Т. Указ. соч. С. 13.

70 РГИАДВ. Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп. г. Д. 485. Отчеты военного губернатора о. Сахалин за 1905–1908 гг., карта Северного Сахалина. Л. 2; Обзор острова Сахалина за 1900–1901 год.

Александровск, 1902.

71 РГИАДВ. Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп. 5. Д. 638. Переселение ссыльно-каторжных с о. Сахалина в связи с занятием о-ва японскими войсками. Л. 10–11.

72 Хара Т. Указ. соч. С. 9, 15. Без дальнейшего изучения японских источников трудно сказать, что повлияло на решение японского экспедиционного командования, что, однако, не мешает делать выводы о практическом приведении данного решения в жизнь.

73 Там же. С. 8–9.

74 О хозяйстве Гафурова см.: Саломон А.Л. Указ. соч. С. 51–52.

75 Архив внешней политики Российской империи МИД. Японский стол. Ф. 150. Оп. 493. Д. 965. О суде над русским матросом Баховым. Л. 339–364.

76 Высадка происходила 15, 19 и 30 августа по старому стилю или 28 августа, 2 и 13 сентября по новому. См.: РГИАДВ. Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп. 5. Д. 638. Переселение ссыльно-каторжных с о. Сахалина в связи с занятием о-ва японскими войсками. Л. 21, 47, 117–119, 122.

77 Там же. Л. 3–4.

78 Там же. Л. 122.

79 Там же. Л. 73–75.

80 Там же. Л. 61, 65.

81 Там же. Л. 34–36.

82 Там же. Л. 48–50, 65.

83 РГИАДВ. Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп. г. Д. 485. Отчеты военного губернатора о. Сахалин за 1905–1908 гг., карта Северного Сахалина. Л. 7 об.

84 По официальным данным, в 1905–1906 годах для окончания сроков на Нерчинскую каторгу прибыли только 218 сахалинских каторжных, еще 145 были отправлены на строительство Амурской колесной дороги. См.: Отчет по Главному тюремному управлению за 1905 год. СПб., 1907. С. 236; Отчет по Главному тюремному управлению за 1906 год. СПб., 1908. С. 260; см. также: Wheatcroft S.G. The Crisis of the Late Tsarist Penal System // Challenging Traditional Views of Russian History / Ed. by S.G. Wheatcroft. New York, 2002. P. 39.

85 РГИАДВ. Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп. 5. Д. 636. Ведомости о числе жителей Сахалина, находящихся в лазарете, копии протоколов хозяйственного комитета по оказанию помощи жителям Сахалина, о предоставлении ссуд на домообзаведение. Л. 147.

86 Там же. Оп. 4. Д. 590. Списки ссыльных, прошения ссыльных о выезде на родину, дружинников о льготах, сахалинцев о компенсациях в связи с военными действиями. Л. 148, 157–158.

87 Там же. Л. 136, 139–141, 186–188, 211.

88 Там же. Л. 129.

89 Там же. Л. 189–190.

90 Там же. Л. 225–226.

91 Там же. Д. 556. Выселение сахалинских ссыльнопоселенцев из Приморья по обстоятельствам военного времени, июль-август 1905 года. Л. 74–75.

92 Там же. Л. 59, 63.

93 *Воронович Н.* Русско-японская война: Воспоминания. New York, 1952. С. 68–73; РГИАДВ. Ф. 704. Оп. 6. Д. 1499. Л. 3.

94 ПСЗРИ (3). Т. 26. № 27571, «Об облегчении участи ссыльных, которые вынуждены были по военным обстоятельствам покинуть Сахалин во второй половине 1905 года» (18 марта 1906 года).

95 *Гартвельд В.* Каторга и бродяги Сибири. М., 1913. С. 135–136.

96 РГИАДВ. Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп. 4. Д. 606а. Списки сахалинских ссыльнокаторжных. Л. 1–2; Оп. 5. Д. 636. Ведомости о числе жителей Сахалина, находящихся в лазарете, копии протоколов хозяйственного комитета по оказанию помощи жителям Сахалина, о предоставлении ссуд на домообзаведение. Л. 108–109.

97 Там же. Списки сахалинских ссыльнокаторжных. Л. 1–2.

98 Там же. Оп. 5. Д. 636. Ведомости о числе жителей Сахалина, находящихся в лазарете, копии протоколов хозяйственного комитета по оказанию помощи жителям Сахалина, о предоставлении ссуд на домообзаведение. Л. 148.

99 Там же. Оп. 4. Д. 524. Представления, доклады, справки, журнал особого совещания по устройству ссыльнопоселенцев в Амурской и Приморской областях, 1903–1909 гг. Л. 73–74, 77.

100 Там же. Л. 86, 90а.

101 *Steinberg J.W. et al.* The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero. Leiden, 2005–2007. Vol. 1–2.

102 *Панов А.* Указ. соч. С. 217–227; *Новомбергский Н.Я.* Указ. соч. С. 149 и далее.

103 Отчет по Главному тюремному управлению за 1906 год. С. 5–6; ПСЗРИ (3). Т. 26. № 27648, «О прекращении дальнейшей ссылки преступников на Сахалин» (10 апреля 1906 г.).

104 О плачевном экономическом состоянии Сахалина в 1912 г. см.:

Сахалин: Сборник статей о прошлом и настоящем / Под общей редакцией губернатора Д. Григорьева. Сахалин, 1913.

105 РГИАДВ. Ф. 702. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. Оп. г. Д. 485. Отчеты военного губернатора о. Сахалин за 1905–1908 гг., карта Северного Сахалина. Л. 2.

106 Гридяева М.В. Он сам сделал выбор: О Д.Д. Григорьеве // Губернаторы Сахалина... С. 74.

107 Фраза принадлежит М.С. Корсакову. См.: Государственный архив Иркутской области. Ф. 24. Главное Управление Восточной Сибири 1822–1887. Оп. 9. Д. 76. К. 1900. Отчет по управлению Восточной Сибирью за 1866 год. Л. 64–64 об.

108 См.: *Morris-Suzuki T.* Northern Lights: The Making and Unmaking of Karafuto Identity // *The Journal of Asian Studies*. 2001. Vol. 60. № 3. P. 645–671.

От советского «единства» к постсоветским «разрывам»

Павел Варнавский

Советский народ: создание единой идентичности в СССР как конструирование общей памяти (на материалах Бурятской АССР)

В последние годы появляется все больше исследований, посвященных изучению национального вопроса в СССР. Интерес к данной проблематике обусловлен, в частности, попытками объяснить бесславный конец могущественной державы. Основным рефреном работ на эту тему является мысль о противоречивости (этно)национальной политики, проводившейся советским руководством. С одной стороны, оно активно способствовало формированию национальных идентичностей, с другой – довольно последовательно проводило курс на создание единой советской общности. Результатом реализации первой тенденции стало то, что, по словам С.В. Чешко, «в массовое сознание на фоне пропаганды интернационализма внедрялись нормы национализма. В течение десятилетий поколениям советских граждан государство втолковывало, что они не просто люди и граждане, а еще и представители „наций и народностей“, обладающих определенными и различными статусами»¹. Одновременно, в противовес актуализации националистического дискурса, коммунисты стремились реализовать доктрину «пролетарского интернационализма», суть которой заключалась в том, что, по выражению В.А. Тишкова, «солидарность трудящихся России во имя общего революционного дела требует их объединения в едином государстве»². Эта вторая тенденция была направлена на интеграцию поликультурного общества в гражданскую нацию и представляла собой, по определению С.Е. Рыбакова, «самое обычное нациестроительство, лишь окрашенное в „камуфляжный“ классовый цвет»³.

Как отмечается исследователями, обе указанные тенденции в принципе являлись «частью общей политики модернизации общества, осуществлявшейся сталинским государством»⁴. Однако в отличие, например, от классического случая Западной Европы, где процесс нациестроительства стал важным *средством* модернизации, советская «догоняющая» модель модернизации, напротив, ставила своей главной *целью* создание «национальных» общностей и венчающего их «советского

народа». Политическая практика нациестроительства при этом определялась быстро закостеневшими идеологическими догмами коммунистического режима. В связи с этим возникает настоятельная потребность в изучении советской идеологии – каким образом она использовалась в процессах нациестроительства и конструирования «национальных» и «наднациональных» форм идентичности? Тем более востребованность такого исследования, по мнению ряда ученых, обуславливается созревшей к сегодняшнему моменту необходимостью, «возвращения идеологии и политики в общий анализ советского периода»⁵. Если исходить из того, что любая идентичность во многом опирается на осознание всеми членами общности единства своего происхождения и исторической судьбы, иными словами, если считать, что в основе идентичности лежит концепт истории, то тогда проблему изучения идеологии в советской империи можно, в частности, сформулировать в виде предлагаемого в современной науке набора вопросов: «Что происходит в империи с множественными альтернативами видения прошлого, характерными для образующих империю народов: империя эти „образы прошлого“, подавляет, синтезирует, иерархизирует? Возможно ли существование общей имперской памяти как основы общественного и государственного строительства в империи? Или в имперском контексте множественные альтернативные „памяти“ существуют в оппозиции к имперскому историческому „государственному“ нарративу?»⁶

Особенностью государственного строительства в СССР стало то, что коммунистический режим активно использовал этничность для территориально-административного структурирования страны. Поэтому он прилагал немало усилий и средств для развития советских этнонаций. Для институализации и спонсирования культурного многообразия в СССР было вложено много материальных, научных и пропагандистских ресурсов. Была выработана своеобразная номенклатура народов – социалистических наций и народностей, ранжированных по своему этнополитическому статусу от союзных республик до автономных округов. Большинство современных специалистов соглашались с тем, что «советское государство, несмотря на его декларируемую интернациональную, классовую природу, осуществило этнизацию политики и даже внутреннего административного устройства...»⁷ Правящая партия имела дополнительный ресурс для осуществления этнонационального принципа в политике и государственно-административном устройстве страны, поскольку создала хорошо отлаженную карательную систему и жесткую управленческую

структуру государства.

Национальная политика коммунистов объяснялась не столько их искренним стремлением к подлинному расцвету и освобождению народов, сколько, как отметил Т. Мартин, пониманием того, что «национальное сознание является неизбежной исторической фазой, которую все народы должны пройти на пути к интернационализму»⁸. По словам И.В. Сталина, большевики предпринимали действия, направленные на «максимальное развитие национальной культуры, с тем, чтобы она исчерпала себя до конца и чтобы затем была создана база для организации международной социалистической культуры»⁹. Более того, этнонациональная стадия развития имела позитивный смысл, поскольку она, как верно подмечено Т. Мартином, соотносилась с процессом модернизации: «...Укрепление национального статуса стало ассоциироваться с историческим прогрессом. Таким образом, формирование наций воспринималось как неизбежная и позитивная стадия в модернизации Советского Союза»¹⁰. Немаловажной причиной, подтолкнувшей коммунистов к опыту этнического федерализма, стало также желание продемонстрировать мировому сообществу идеальность национально-государственного устройства Советского Союза. Этот процесс очень точно описан А.Д. Синявским, отмечавшим, что большевики пошли «на уступки федерализму с тем, чтобы создать империю, новую, интернационалистическую и потому прочную империю. Эти уступки ничем не грозили единству, а напротив, его укрепляли и одновременно превращали Советский Союз в некую *идеальную модель будущего коммунистического мироустройства*... Требовалось, чтобы этот прообраз был настолько прекрасен, настолько свободен от национальных разногласий, что весь мир устремился бы к подобной гармонии»¹¹. В результате в СССР концепция национальной государственности утвердилась на уровне этнотерриториальных автономий, а задача «нациестроительства» оказалась в идеологическом арсенале этнически обозначенных внутригосударственных образований, над которыми, впрочем, сохранялся всеобъемлющий политико-идеологический и кадровый контроль со стороны правящей партии. Как отмечает в этой связи В.А. Тишков, «...советское государство пошло настолько далеко в экспериментах с этничностью, что спустило крайне важную метафору нации с общегосударственного уровня на уровень этнических общностей». И, что особенно важно, этот существенный элемент политики идентичности был заменен «пропагандой общесоветского патриотизма, а затем понятием советского народа как *новой исторической общности*

людей»¹². Насаждая данные идеологемы, коммунисты фактически стали выступать в роли *государственных националистов в масштабах СССР* и стремились осуществить свой националистический проект, который по причудливой логике «марксистско-ленинской диалектики» позиционировался в категориях интернационализма. Можно утверждать, что за фасадом советского федерализма и этнонационального многообразия скрывалась довольно отчетливо прослеживаемая тенденция к унификации и унитаризму, эксплицитным проявлением которой стало внедрение в общественное сознание советской идентичности.

Правящий режим стремился проводить политику политической и культурной консолидации населения Советского Союза. В формируемом им идеологическом дискурсе производилось активное манипулирование историческим материалом, посредством чего создавался единый взгляд на историю СССР. Этим для всех народов советской империи конструировалась общая историческая память. Был разработан ряд идеологем, с помощью которых актуализировалось общесоветское сознание. Действительно, как отмечает И. Нарский, «образы „собирания земель“ и „воссоединения“, „братской помощи“ и „дружбы народов“, отнюдь не несущие тоталитарный потенциал, – вполне эффективное средство наднациональной мобилизации»¹³. Особая роль в процессе конструирования общей исторической памяти стала принадлежать концепту «дружбы народов», появившемуся в ходе переосмысления (конструирования) истории с позиций ортодоксального советского марксизма. Становление единого советского самосознания происходило также через актуализацию идеологемы «советский народ».

Дружба народов

Пропагандируя идеологему «дружбы народов», государство стремилось убедить население страны в том, что все оно, несмотря на этнокультурные различия, имеет единую историческую судьбу. Для этого использовался стандартный прием из арсенала национализма, когда множество локальных историй – историй народов СССР – сливались в единый поток. Внимание в научной, учебной и пропагандистской литературе акцентировалось на совместных действиях представителей разных этносов, например: «Дружба народов Бурят-Монголии свое начало берет еще в дореволюционном прошлом. Имеется много исторических

свидетельств о совместных выступлениях народов, населявших территорию нашей республики, против иноземных захватчиков. Монгольские ханы и маньчжурокитайские завоеватели совершали неоднократные набеги с целью подчинения и грабежа народов Бурят-Монголии. Однако они получали дружный отпор со стороны бурят, русских и эвенков»¹⁴.

Особенно важную роль в процессе выработки общей исторической памяти, естественно, играла наука. Анализируя бурятский советский исторический нарратив, можно прийти к выводу, что целью официальной историографии было обоснование нескольких важных в политическом смысле положений. Во-первых, ученые доказывали *универсальность* закономерностей развития исторического процесса вообще и, следовательно, применимость марксистской методологии для интерпретации социально-экономической и политической истории Бурятии. Во-вторых, на конкретном историческом материале демонстрировалось, что сложение единой социальной, экономической и политической общности в границах империи шло уже давно и реализовывалось одновременно посредством консолидации в социальном пространстве слоя *эксплуататоров* и осознанием единства своих интересов *эксплуатируемым* населением империи. Этнокультурный аспект при этом отходил на задний план, уступая по значимости идее социально-классовых антагонизма или солидарности.

Например, в 1934 и 1952 годах состоялись два совещания бурятских историков. Советскими идеологами подчеркивалась их политическая важность, заключавшаяся в том, что в ходе работы этих совещаний были отсечены все возможные альтернативы видения исторического процесса в Бурятии (к слову сказать, альтернатив этих было не так много и в конечном счете все они строились опять-таки на основе марксистского подхода к истории). Был принят унифицированный – официально признанный и допустимый – взгляд на историческое развитие бурятского народа. Как отмечали сами участники совещания 1934 года, одна из его важнейших задач заключалась в «преодолении буржуазной историографии». Необходимо было дать «отпор неверным установкам, вскрыть ряд существенных извращений в понимании исторического процесса, и в этом его [совещания] большая политическая значимость»¹⁵. Преодоление буржуазной историографии выражалось в пресечении разгоревшейся было среди бурятских историков дискуссии об особенностях социально-экономической истории Бурятии. Некоторые пытались утверждать, что в Бурятии не было феодальной формации; из первобытно-родового строя под

воздействием российского колониализма она сразу якобы перешла к капиталистическим отношениям. Подобные «заблуждения» были решительно развенчаны: «строй общественно-экономических отношений в Бурятии XVII, XVIII и начала XIX столетий показывает нам наличие всех тех противоречий, которые свойственны всякому феодализму...»¹⁶.

На совещании 1952 года также отмечалось, что «Бурят-Монголия, как и вся наша страна, прошла длительный и сложный путь исторического развития от первобытно-общинного строя к социалистическому обществу. В ее истории проявляются как общие закономерности исторического процесса, так и местные особенности исторического развития». Вопрос о наличии феодализма решался в контексте более широкой проблемы периодизации истории СССР: «Необходимо на основе марксистско-ленинской методологии дать такую периодизацию [Бурятии], которая сочеталась бы с периодизацией истории всей нашей страны...»¹⁷.

Реализация такой задачи вызывала вполне заслуженную критику со стороны немногих исследователей: «...периодизация истории бурятского народа строится по хронологическим периодам истории русского народа. [Тогда как в ней] должны быть отражены местные особенности», под которыми, впрочем, понимались всего лишь более «медленные темпы экономического и общественного развития края в сравнении с центром России»¹⁸.

Как нам представляется, решения, принятые на совещаниях по проблемам исторического развития Бурятии и бурятского народа, имея историографический характер, преследовали вполне конкретные политические цели. Заданные на них принципы формирования официального исторического нарратива позволяли поместить локальную бурятскую историю в общий историко-имперский контекст, и тем самым задавали взгляд на нее как на неотъемлемую часть истории СССР. Отсюда проистекал уже вполне инструментальный вывод, превращавший историю в «служанку» политики и идеологии, в надежное средство, позволявшее власти контролировать и корректировать общественное сознание и память в нужном для нее (власти) направлении. Как утверждал один из участников дискуссии 1934 года, историк П. Хаптаев, транслируя официальную идеологическую установку: «Надо драться за овладение высотами исторической науки с тем, чтобы история не служила мостом протаскивания теорий, враждебных марксизму-ленинизму. Пора привлечь историю на службу социалистического строительства»¹⁹.

Помещение локальной истории в универсалистский контекст

мирового исторического процесса создавало философский и мировоззренческий фундамент, на основе которого могла, в частности, развиваться идея о консолидации населения Российской империи. Заданный марксистской методологией приоритет классового над национальным / этническим обуславливал и способ интерпретации этой консолидации. Считалось, что интеграционные процессы, имевшие место в имперском пространстве, протекали внутри социальных классов. А межэтническое взаимодействие рассматривалось как явление второстепенное и опосредованное классовой борьбой.

Сложение единой социальной общности в империи официальный исторический нарратив рассматривал отдельно, по двум сегментам. Постулировалось, что в первую очередь в интеграционные процессы были вовлечены эксплуататорские верхушки колонизировавшего (русский царизм) и колонизируемого (бурятские феодалы – нойоны, ламы, а позже и нарождающийся класс бурятских капиталистов) сообществ. Объединение эксплуататоров якобы основывалось на общем экономическом и политическом интересе. Как писал уже упоминавшийся П. Хаптаев, «... царизм всячески поддерживал и поощрял нойонство. Это имело двоякое значение: во-первых, поддержка и поощрение нойонства... умножали силу и могущество царизма; во-вторых, сохранение и укрепление института нойонства были необходимы для царизма в целях феодальной эксплуатации Бурятии»²⁰. Этот совместный интерес чуть позже будто бы привел к тесной спайке в рамках единой политической системы империи, причем это единение осознавалось самими эксплуататорами. Как прозвучало в выступлении в прениях на дискуссии 1934 года историка О. Дашидондобе, *«Тайшинско-нойонская власть, будучи феодальной по своему существу, органически слилась с общим крепостническим режимом русского царизма, находя в последнем надежную опору и вдохновителя. Тайшинско-нойонская каста помогала царизму русифицировать бурятские массы путем распространения христианства, перевода населения на земледелие вместо скотоводства»*²¹.

Вместе с тем официальная историография акцентировала внимание и на одновременно происходившей консолидации эксплуатируемых: *«Параллельно с процессом сближения бурятской феодальной верхушки с представителями царской власти, на местах шло сближение народных масс русских, бурят и эвенков на почве общей борьбы против угнетения и эксплуатации со стороны феодально-крепостнического государства и его агентов в лице воевод и приказных»*²².

Этот аспект исторического дискурса был особенно важным для развития идеологемы «дружбы народов» и конструирования в ее контексте образа общего для всех народов героического прошлого. Главным элементом, интегрирующим отдельные истории в единое целое в соответствии с марксистско-ленинской теорией становилась при этом классовая борьба народов. Противопоставление эксплуатируемых и эксплуататоров выводило на проблему осознания интернационального единства трудящихся масс: «Несмотря на то, что царское правительство и эксплуататоры всеми методами разжигали вражду между народами, общая ненависть к эксплуататорским классам и внешним врагам способствовала укреплению этой дружбы и взаимопонимания» (Д.Ц. Цыремпилов)²³. Апеллируя к конкретному историческому материалу (например, к братскому восстанию 1696 года), бурятские ученые доказывали, что даже в XVII веке «движение народных низов приводит к объединенным выступлениям», в которых «приняли участие и русские, и буряты, и эвенки». При этом подчеркивалось, что «организованный характер выступления опровергает версию о его стихийности и свидетельствует о прочности связей, установившихся между русскими и бурятами на почве осознания единства интересов в борьбе с общими их угнетателями». В результате делался вывод, что уже тогда «взаимоотношения между русским и бурятским населением настолько упрочились, что стали возможны совместные политические выступления, отражавшие *общность интересов, все более осознаваемую и русскими, и бурятами*»²⁴.

Единство исторической судьбы выражалось в наличии не только общей истории, но и общего настоящего. В официальном дискурсе подчеркивалось, что для советской Бурят-Монголии характерным стал «крепкий союз и полная солидарность рабочих и крестьян, как русских, так и бурят»²⁵. Успешная национальная политика Компартии привела к тому, что «времена национальной розни, взаимного недоверия безвозвратно ушли в прошлое. Дружба всех народов СССР, скрепленная годами совместного строительства хозяйства и культуры своей родины, стала нерушимой»²⁶. В результате в Бурятии, как и всюду в Советском Союзе, можно наблюдать «образование морально-политического единства народов нашей Родины, сплотившихся вокруг партии... и советского правительства»²⁷. Ведущую роль в деле консолидации разнородного в этнокультурном отношении населения политики, а с их подачи и историки отдавали «трудящимся массам»: «в тяжких испытаниях выковывался великий дружеский союз народов, но зачатки его обнаруживаются и в

далеком прошлом, в жизни народных низов»²⁸.

Как показывает приведенный выше материал, характерной чертой официального идеологического дискурса, формулировавшегося властью в 40-е годы XX века, стало то, что субъектами действия в нем часто выступали не советские граждане, а «самоопределившиеся» народы, т. е. народы, получившие национальную государственность и выступавшие в качестве коллективных членов СССР. Конечно, к реальной юридическо-правовой практике, где главным субъектом оставался все же отдельный гражданин-индивидуум, эта особенность дискурса не имела никакого отношения, но в политико-идеологическом плане она призвана была продемонстрировать правомочность и равенство советских наций. Действительно, «исторических побед в деле строительства новой социалистической жизни» добивалось не сообщество граждан, а «бурят-монгольский народ при помощи великого русского и других братских народов Советского Союза»²⁹; войну с фашистской Германией вели не просто граждане СССР, а «бурят-монгольский народ вместе со всеми народами Советского Союза...»³⁰; интенсивное социально-экономическое развитие СССР шло за счет «сотрудничества народов в системе единого союзного государства»³¹.

Когда речь шла о «самоопределившихся нациях», то советская общность понималась в качестве *единого государственного и идеологического пространства* и обозначалась в соответствующих терминах. Бурят-монголы, получившие свою национальную республику, в ее лице становились «неотъемлемой, связанной кровными узами со всей страной, частью *Великого Советского Союза*»³². Вариантами названия единой советской общности в данном контексте могли выступать «социалистическое отечество» («...бурят-монгольский народ вместе со всеми народами Советского Союза... отстаивает свободу и независимость своего *социалистического Отечества*...»³³) либо «социалистическая родина – СССР» («Бурят-монгольский народ... беспрдельно любит свою прекрасную *социалистическую Родину – СССР*»³⁴).

Таким образом, официальный идеологический дискурс формировал в сознании населения представление о том, что Советский Союз являлся сообществом не столько граждан, сколько советских наций и народностей. Иными словами, в контексте идеологемы «дружба народов» советская общность выражалась, прежде всего, в единстве этих наций и народностей, а советская идентичность представляла собой сумму коллективных идентичностей всех этнонаций, образующих СССР. Пожалуй, это был

необходимый этап в процессе конструирования единой советской общности, которая не обладала этнической базой от природы, но в идеале обрела бы ее, по мере того как население, находившееся под господством данной социально-политической формации, „этнизировалось“, т. е. начало представлять себя в прошлом или в будущем так, как если бы оно образовывало естественное сообщество, как таковое обладающее идентичностью истоков, культуры и интересов, стоящее выше индивидов и социальных условий»³⁵. Именно с этой целью советская пропаганда со временем стала все меньше внимания уделять концепту «дружбы народов» и все активнее развивала идеологему «советский народ».

Советский народ

Что же представлял собой «советский народ», когда появился этот термин в официальном идеологическом дискурсе и какими характеристиками он наделялся? Как указывает С.В. Чешко, «суть концепции „советского народа“ заключалась в том, что на стадии развитого социализма в СССР сложилась новая социальная общность, характерная именно для этой фазы общественного развития и выделяющаяся рядом признаков»³⁶. Классическим определением этого понятия, сформулированным советским обществоведением и использовавшимся в идеологической риторике, можно считать следующее. Советский народ, это – «возникшая и утвердившаяся в результате победы социализма в СССР социально-классовая и интернациональная общность, охватывающая все классы, социальные группы, нации и народности страны, имеющая единое Отечество, базирующаяся на единой экономике, территории, многообразной, но единой по содержанию культуре, имеющая единое марксистско-ленинское мировоззрение и духовный облик, единую цель – строительство коммунизма»³⁷.

Очевидно, что приведенная дефиниция тесно коррелирует с определениями «нации» Сталиным и «этнуса» Ю.В. Бромлеем. Такое понимание складывавшейся в СССР общности теоретиками и практиками советской идеологии можно интерпретировать как имплицитное помещение категории «советский народ» в один семантический ряд с иными этническими общностями.

Как подчеркивает ряд современных исследователей, концепция единой советской общности была не только идеологическим конструктом

власти, но и в определенной мере коррелировала с социальной реальностью. Так, В.А. Тишков отмечает, что доктрина «единой общности советских людей» появилась не случайно, а в результате осмысления общественно-политических процессов, приведших к «формированию сходных социально-профессиональных структур и многих общих культурных и ценностных ориентаций среди советских национальностей»³⁸.

С.В. Четко считает, что официальная концепция советского народа «не была полностью неверной, поскольку существовал сам советский народ как народ-общество, продукт длительного развития единого государства»³⁹. Среди признаков, объединявших население СССР, исследователь выделяет принадлежность к единому государству и достаточно длительную историческую традицию единой государственности. По его мнению, «этот фактор... вырабатывал и закреплял в поколениях привычку жить вместе, быть подданным общего царя или общего генсека, гражданами одной страны»⁴⁰, начавшуюся формироваться культурную общность. Ученый пишет, что: «Развитие профессиональной культуры, в том числе у народов, не имевших ее прежде, также действовало как интегрирующий фактор. В условиях индустриализации общества... сокращалась сфера традиционно-бытовой, локальной культуры и соответственно расширялась область распространения массовой культуры в ее советском, общегосударственном варианте». Также большую роль играл «русский язык, благодаря которому существовала единая система коммуникации»⁴¹. Как отмечает А.Г. Вишневский, «вполне можно было ожидать, что экономическая и социальная модернизация окажет на советское общество примерно такое же воздействие, какое она оказала в свое время в странах Западной Европы». Ведь в результате модернизационных процессов «рушились многие внутренние перегородки между областями и народами, они сближались, рождались новые, иные, нежели прежде, силы интеграции, которые, казалось бы, должны были спекать выходцев из разных краев империи, из разных ее этносов в единую и неделимую нацию»⁴².

Говоря о времени появления идеи «советского народа», С.В. Четко вслед за Г. Смитом считает, что она «впервые прозвучала в выступлении Н.С. Хрущева на XXII съезде КПСС, но не получила отражения в итоговых документах съезда. Последнее состоялось на XXIII съезде... уже при Брежневе»⁴³. А.Г. Вишневский относит ее возникновение к еще более позднему периоду: «за несколько лет до распада Союза в СССР был введен

в оборот пропагандистский тезис о якобы сложившейся „новой исторической общности людей – советском народе“ – ее можно было трактовать как нечто, вроде американской или французской нации, к формированию которой и подошло население СССР»⁴⁴.

Однако конкретный исторический материал, в частности бурятский, позволяет утверждать, что идея общесоветского единства возникла гораздо раньше, а термин «советский народ» начал фигурировать по крайней мере со времен Великой Отечественной войны. Еще на третьем съезде советов БМ АССР (1927) отмечалось, что одной из важнейших задач советского общества является подготовка «вполне сознательных граждан Союза»⁴⁵. В этом контексте симптоматичным можно считать состоявшееся тогда же обсуждение проекта конституции Бурят-Монгольской республики (так, впрочем, и не принятой), в ходе которого была высказана мысль о том, что бурят-монгольская, как и любая другая советская автономия, «не есть нечто застывшее и *раз и навсегда данное*». Соответственно, федеративное устройство советского государства, а значит и существование национальных республик и собственно национальных идентичностей рассматривалось как временное явление: «федерация является переходной формой к *полному единству трудящихся разных наций*»⁴⁶.

Сам термин «советский народ», пожалуй, впервые в выступлениях местной элиты появился в 1943 году⁴⁷. Примерно с этого времени в Бурятии начинает озвучиваться идея общности, основанной на классовой солидарности населения и его лояльности к советскому государству. Данный идентификационный уровень был более «персонифицированным», т. е. основным субъектом здесь выступал не народ, а отдельная личность, репрезентация которой производилась в социально-классовых терминах. Членом этой общности являлся «каждый гражданин – свободный и полноправный участник строительства социалистического общества», который, «аккуратно выполняя свои обязанности перед социалистическим государством», укреплял «политическую, экономическую и военную мощь своей Родины»⁴⁸.

Стандартными терминами самоидентификации становятся понятия «рабочий» и «крестьянин»: «...мы, рабочие и крестьяне, строим свою жизнь на пользу своему государству»⁴⁹. Данные социальные группы, объединенные термином «трудящиеся», непосредственно и составляли «советский народ»: «Трудящиеся Бурят-Монголии отдают себе полный отчет в том, что окончательная победа над озверелыми бандами гитлеровского разбойничьего империализма потребует еще много жертв,

лишений и напряжения всех сил *советского народа*»⁵⁰. Из данной цитаты видно, что общность «трудящиеся Бурят-Монголии» имплицитно предполагалась как часть общности «советский народ». Термин «Бурят-Монголия» не нес в данном случае этнической смысловой нагрузки, а лишь уточнял административно-территориальную принадлежность «трудящихся» (сравните, например: «трудящиеся Москвы», «трудящиеся завода»).

«Классовая» риторика еще более усилилась в идеологическом дискурсе 70-80-х годов XX века. Отмечая многонациональный состав населения, республиканские партийные лидеры вместе с тем повторяли слова Генсека КПСС: «В нашей стране родилось и окрепло великое братство людей труда, объединенных, независимо от их национальной принадлежности, общностью классовых интересов и целей»⁵¹. В официальных текстах того времени все население Бурятской АССР репрезентовалось как некая единая социальная общность – «трудящиеся Бурятии»⁵²; при этом особо подчеркивалось, что «хозяева новой социалистической Бурятии» – это «рабочие, крестьяне, интеллигенция»⁵³.

Наконец, в научных текстах был сформулирован следующий тезис: «*Советский народ, являясь воплощением социалистического интернационального единства всех общественных групп и национальностей СССР, выражает и олицетворяет интересы и коммунистические идеалы рабочего класса*». И хотя и говорится, что эта общность является одновременно социально-классовой и интернациональной – «возникнув на базе других общностей (классов и наций), она выступает как двуединая, синтезирующая их»⁵⁴, однако при этом подчеркивается, что *социально-классовая сущность советского народа гораздо важнее*, так как «марксизм установил *примат классового момента над национальным* как важнейший методологический принцип»⁵⁵. Именно поэтому границы общности «советский народ» конституировались посредством классовой, а не этнической принадлежности и, в частности, вся советская история интерпретировалась как «свидетельство героических дел *советского народа*, в том числе и *трудящихся Бурятии*»⁵⁶.

Пора доминирования идеи «советского народа» в официальном идеологическом дискурсе приходится на эпоху «развитого социализма». Сложившийся в это время социально-политический контекст подталкивал власть к поиску способов укрепления внутригосударственного единства. Возможно, усилению значимости этой идеи способствовали также

известные заявления коммунистических лидеров о том, что ближайшие поколения советских людей «будут жить при коммунизме». Для политики идентичности это могло означать, что в ближайшей перспективе население Советского Союза должно превратиться в единую социокультурную общность. Данный концепт более всего подходил для актуализации общесоветской идентичности на индивидуальном уровне, поскольку, минуя этнокультурный уровень, должен был вызвать чувство солидарности у каждого жителя СССР, апеллируя к его социально-классовому самосознанию.

Доктрина «советского народа», таким образом, концептуализировалась с претензией на замену собственно этнического самосознания более общей, но не менее эмоционально значимой формой самосознания. Это позволило некоторым исследователям утверждать, что советское государство стремилось к созданию некоего *безэтнического* Homo Sovieticus'a, а национальная политика коммунистов «преследовала цель... ликвидировать национальные различия и слить народы страны в какую-то *безнациональную* общность»⁵⁷.

Однако, как представляется, правильнее было бы говорить, что конструируемая коммунистической элитой общность являлась как раз не «безнациональной», а именно «национальной» – в современном понимании термина «нация», т. е. в определенной степени она должна была представлять собой нечто аналогичное западным нациям-согражданствам. По словам А.Г. Вишневого, «главной декларируемой заботой этой [внутренней] политики всегда была национальная консолидация всего населения СССР, правда, по-другому называемая. Когда советские политики и идеологи размышляли о его будущем, перед их мысленным взором обычно стояло нечто, очень похожее на западные нации, хотя сам термин „нация“ в таком смысле в СССР обычно не употреблялся, „национальное“ здесь, как мы видели, был синонимом „этнического“. Тем не менее много говорилось и писалось о растущей социальной однородности советского общества, об интернационализации экономической и общественной жизни, о русском языке как языке межнационального общения, постоянно повторялись слова Ленина о „сближении и слиянии наций“ и т. д.»⁵⁸.

Еще более однозначно формулирует эту мысль С.В. Четко: «С точки зрения принятых в современном мире понятийных норм, следует признать не только реальное существование в СССР „советского народа“, но и признать его в качестве обычной полиэтнической нации – советской

нации». Однако такому признанию мешали застывшие догмы сформулированной еще Сталиным и с тех пор господствовавшей в советской науке «теории нации»: «С точки зрения традиции советского обществоведения, согласно которой нация – это моноэтнический социальный организм, одна из форм и стадий существования этноса, такой вывод может, наверное, выглядеть неслыханной ересью с оттенком „ассимиляторства“»⁵⁹.

Действительно, находясь в плену примордиалистских установок, на основе которых структурировалось все этнополитическое пространство СССР, правящий режим так и не смог сформулировать полноценную идею нации-согражданства. Напротив, идеологи всячески избегали определять «советский народ» в хоть сколько-нибудь близкой к этой идее форме, например: «следует считать неправильными... попытки рассматривать советский народ как простое объединение советских национальностей, как их сумму. В подобном толковании советский народ как социально-политическая категория отождествляется с категорией „население СССР“, как понятие демографии и экономической географии» (В.И. Затеев)⁶⁰.

Одновременно отрицался и противоположный подход. По словам того же В.И. Затеева, «необходимо отметить ошибочность... положений, будто советский народ является новой этнической общностью... советский народ – это не этническая, а социально-политическая общность»⁶¹. Однако, следуя логике этнонационализма, являвшегося краеугольным камнем советской национальной политики, идеологи были вынуждены изобретать нечто, что могло бы играть роль «общесоветской этничности», т. е. субстанции, одинаково присущей всему населению Советского Союза и обладающей некими культурными параметрами.

Поэтому сложение советской общности репрезентовалось как результат процесса «всестороннего сближения советских наций, роста их интернациональных черт»⁶². Сам «советский народ» стал наделяться определенными «этнообразными» характеристиками, и в содержательном отношении в определенном смысле превратился в своего рода «квазиэтничность». Действительно, государство, взявшееся за создание единой идентичности и, при этом не воспринимавшее в качестве интегрирующей идею политического согражданства, с неизбежностью должно было встать на путь конструирования новой «этничности». Ведь последняя «для идеальной нации необходима, потому что без нее нация оставалась бы всего лишь идеей или произвольной абстракцией:

*патриотический призыв не имел бы адресата»*⁶³.

Конструируемая коммунистами «квазиэтничность» имела в своем фундаменте два основания: язык и культуру, а «советский народ» можно было определить как «группу людей, которые обладают общими коммуникативными нормами и, соответственно, высокой степенью взаимопонимания по широкому кругу вопросов. Чаще всего и то, и другое достигается посредством общего языка и, что еще более существенно, общей культуры»⁶⁴. Языком советской общности по известным историческим и политическим причинам стал русский. Пожалуй, это был единственный параметр, на основании которого можно было настаивать на русификаторской сущности проводимой коммунистами политики идентичности. Что же касается культуры, то здесь, оставив в стороне сложную многоаспектную проблему наличия/отсутствия культурного единства на просторах бывшего СССР, попытаемся выяснить, что подразумевалось под единой культурой советского народа в идеологическом дискурсе.

Уже в 1970-е годы советская идеология стала настаивать на том, что в СССР «утвердилась, стала реальной действительностью новая историческая общность людей – советский народ»⁶⁵. Соответственно, подразумевалось, что советское общество достигло и культурного единства: «социализм утверждает *единую* для всего советского народа, для всех социальных групп культуру – социалистическую по содержанию, национальную по форме, интернациональную по своей сущности»⁶⁶. Характерной особенностью общесоветской культуры являлось то, что она «включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры и быта каждого из народов»⁶⁷, т. е. культура советского народа преподносилась как некий синтез этнонациональных культур всех народов СССР. Однако советская культурная общность состояла не просто из совокупности этнических традиций разных народов, а «включала в себя единые идеологические цели и устремления и такое содержание национальных культурных ценностей, которое придает им значение ценностей общесоветских»⁶⁸. Содержание национальных культур, образывавших культуру общесоветскую, в свою очередь, определялось «марксистско-ленинским мировоззрением и принципами пролетарского интернационализма, устоями социализма», за счет чего достигался «единый духовный облик советских наций и народностей»⁶⁹. Наполнение советской культуры шло «в русле усвоения и творческого восприятия всего нового, передового, что рождено и рождается в ходе совместной *борьбы*

народов всей страны за социализм и коммунизм»⁷⁰, она развивалась «в условиях бережного отношения к традициям каждого народа в революционной и национально-освободительной борьбе...»⁷¹.

В процессе культуротворчества особо подчеркивалась необходимость и важность того, чтобы превращать «социалистические традиции» отдельных народов в «достояние всех советских людей», а также «всемерно развивать новые, единые для всех наций революционные традиции строителей коммунизма...»⁷². Действительно, в это время становится популярной тема новой социалистической обрядности: «Новые гражданские обряды, праздники и традиции отражают социалистическую идеологию, обогащаются демократическими элементами народной культуры. Повсеместно утвердились в жизни новые революционные, общественно-политические, производственно-бытовые и семейные праздники – 7 Ноября, 1 Мая, 8 Марта, День Победы и т. д.»⁷³. Политики и ученые выступают с пропагандой «интернационализации не только состава населения, но и всего уклада общественной жизни»⁷⁴.

А в отдельных случаях выдвигается даже идея появления в Советском Союзе новой этнической общности. Так, в статье известного бурятского историка П.Т. Хаптаева «К вопросу о сближении и слиянии наций» ставится вопрос не просто о наличии в СССР политической общности, включающей в себя множество «советских наций и народностей», но о начале нового этногенетического процесса в стране⁷⁵. Это еще раз подтверждает вывод о том, что, во всяком случае, в своих крайних проявлениях концепция «советского народа» предполагала создание некой общности, которая по своим социокультурным характеристикам напоминала бы общность этническую.

Итак, формирование советской культуры велось за счет внедрения в общественное сознание и память «социалистических» традиций, приобретенных народами СССР во время революционной борьбы и строительства нового общества, т. е. ее основное содержание состояло из идеологически наполненных культурных символов, изобретенных за период существования СССР и не имевших никакого отношения к реальным этническим культурам. Как точно отмечает С.В. Чешко, «общность советского народа заключалась в лояльности к доминировавшим идеологическим символам»⁷⁶.

Особенно очевидным последнее утверждение становится в контексте идеологической риторики, развивающей идею собственно советской идентичности. «Где бы ни жил, где бы ни работал представитель любой

нации СССР, – подчеркивалось коммунистическими лидерами, – он полноправный член единой великой семьи и считает себя прежде всего *советским* гражданином, *советским* человеком»⁷⁷. Такое «характерное для советского общества социально-политическое и моральное единство классов и социальных групп» считалось следствием присущего всему населению Советского Союза «общего коммунистического мировоззрения»⁷⁸. Именно на его основе «в Бурятской АССР... формируются общие для всех советских людей особенности общественного и индивидуального сознания, идеологии и морали»⁷⁹.

В выступлениях политиков и текстах ученых каждый раз повторялось, что основным содержанием советской идентичности является «преданность делу коммунизма, социалистический патриотизм, пролетарский интернационализм», а интенсивное чувство патриотизма, которое, якобы, испытывают советские граждане к своему государству, обуславливается в первую очередь его «социалистической» природой: «у всех наций и народностей СССР сложилось и укрепилось общезначимое... чувство гордости за свою *социалистическую* Родину...»⁸⁰.

Наполнение идентичности идеологическими смыслами позволяло конструкторам советской общности избавить население от привязанности к идее этнонационализма и тем самым «вывести мышление всех советских людей за пределы обыденных понятий „мое“, „республиканское“, „национальное“, раскрыть перед советскими людьми широкие горизонты интернациональной борьбы за коммунизм, помочь им глубже осознать единство интересов всех народов СССР»⁸¹.

Иными словами, официальный дискурс, актуализируя идею идеологического единства всего населения Советского Союза, призван был перенаправить его (населения) идентификационные предпочтения с «традиционных» объектов – этнонаций, – на «новый» конструкт – советский народ: «общественное сознание советских людей... на деле демонстрирует воспитанное партией и вошедшее в плоть и кровь советского человека умение думать... прежде всего об интересах всего советского народа, способность подчинять текущие временные национальные интересы коренным общесоветским, интернациональным интересам»⁸².

Если исходить из того, что национализм – это понятие, «которое служит делу идеологического оправдания и политической легитимизации определенных представлений о территориальном, политическом и культурном единстве»⁸³, то политику идентичности, проводившуюся в СССР, вполне обоснованно можно описывать и интерпретировать в контексте националистической доктрины. Для официального дискурса, в котором конструировались границы общности «советский народ», характерным было общее для любого националистического дискурса стремление к «эксплицитному (выраженному) принятию национальных символов и эксплицитная воля исключать, подавлять или фильтровать отрицательную информацию... и отдавать предпочтение сообщениям, утверждающим образ интегрированной политической общности»⁸⁴.

Действительно, выстраивая этот «интегрированный образ», правящий режим активно манипулировал общественной памятью, историей и культурой для того, чтобы добиться максимально возможной интеграции разношерстного в этнокультурном отношении населения СССР.

Можно говорить, что в официальном идеологическом дискурсе конструировалась двухуровневая система общесоветской идентичности. С одной стороны, советская общность понималась как содружество самоопределившихся наций, народов-партнеров. При этом приходилось смиряться с наличием локального этнонационального самосознания и даже в определенной степени актуализировать его. В этом случае объединяющими становились такие термины, как «Советский Союз», «социалистическое отечество», «СССР». С другой стороны, эта общность преподносилась как согражданство (при всей условности применимости данного понятия по отношению к советскому обществу) трудящихся масс, не разделяемых по этническому признаку и объединенных своей социально-классовой близостью и идеологией. В данном контексте использовался термин «советский народ». Оба уровня функционировали *параллельно*, но до 1950-х годов приоритет отдавался первому уровню, а актуализация второго пришлась на 60–80-е годы прошлого столетия.

Особенностью советского идеологического дискурса стало то, что в отличие от классического национализма, конституирующего границы общности на основе этнокультурной идентичности или идеи политического согражданства, в Советском Союзе, где «класс был гораздо большим, чем абстрактная категория классового анализа», а «классовая принадлежность была глубоко нравственной проблемой»⁸⁵, единая общность выстраивалась на основе социально-классовой идентичности с

непременным подчеркиванием ее «интернационального» характера. В условиях мультикультурного и полиэтнического государства это был, пожалуй, единственно возможный и доступный для коммунистов способ консолидации населения. Тем не менее советская идентичность включала в себя и культурное измерение, которое призвано было придать ей большую эмоциональную значимость, но, впрочем, также определялось социалистической идеологией советского общества.

Примечания:

Статья написана при поддержке гранта РГНФ № 02-01-002633.

- 1 Четко С.В. Распад Советского Союза. М., 2000. С. 212.
- 2 Тишков В.А. Национальности и национализм в постсоветском пространстве. (Исторический аспект) // Этничность и власть в полиэтническом государстве. М., 1994. С. 16.
- 3 Рыбаков С.Е. Философия этноса. М., 2000. С. 312.
- 4 Четко С.В. Указ. соч. С. 207–208.
- 5 Глебов С.В., Семенов А.М. От редакции: Политика, империя и национализм в раннесоветский период. (Предисловие к публикации) // *Ab Imperio*. 2002. № 2. С. 343.
- 6 Есть ли у империи «память»? Приглашение к дискуссии. (От редакции) // *Ab Imperio*. 2004. № 1. С. 11–12.
- 7 Титков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003. С. 523.
- 8 Мартин Т. Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма? // *Ab Imperio*. 2002. № 2. С. 6 г.
- 9 Сталин И.В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М., 1939. С. 211.
- 10 Мартин Т. Указ. соч. С. 62.
- 11 Синявский А. Д. Основы советской цивилизации. М., 200 г. с. 338–339.
- 12 Титков В.А. Реквием по этносу... С. 523.
- 13 Нарский И. В «империи» и в «нации» помнит человек: Память как социальный феномен // *Ab Imperio*. 2004. № г. С. 87.
- 14 Цыремпилов Д.Ц. Под знаменем сталинской дружбы народов // 25 лет Бурят-Монгольской АССР. Улан-Удэ, 1948. С. 42.
- 15 К истории Бурято-Монголии: Материалы дискуссии, состоявшейся в июне 1934 г. в Улан-Удэ / Под ред. А.В. Шестакова и А.И. Ломакина. М.; Л., 1935. С. Т2.
- 16 Хантаев П. Спорные вопросы исторического процесса Бурято-

Монголии // Там же. С. 33.

17 Кудрявцев Ф.А. К вопросу о периодизации истории Бурят-Монголии // Совещание по основным вопросам истории Бурят-Монголии при Институте истории Академии наук СССР. 27 октября 1952 года. Тезисы докладов. Улан-Удэ, 1952. С. 4.

18 Герасимова К.М. Московское совещание по основным вопросам истории БМАССР. Улан-Удэ, 1953 [= Отдельный оттиск из «Записок Бурят-Монгольского научно-исследовательского института культуры». Вып. XVII]. С. 106.

19 Халтаев П. Спорные вопросы исторического процесса Бурято-Монголии... С. 52.

20 Там же. С. 32.

21 Дашидондобе О. [Выступление в прениях] // К истории Бурято-Монголии: Материалы дискуссии... С. 114.

22 Кудрявцев Ф.А. Указ. соч. С. 7–8.

23 Цыремпион Д.Ц. Указ. соч. С. 43.

24 Залкинд Е.М. Нерушимая дружба бурят-монгольского и русского народов. Улан-Удэ, 1943. С. 7, 11.

25 Третий съезд Советов Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Советской Республики (25 марта – 3 апреля 1927 г.). Верхнеудинск, 1927. С. I.

26 Залкинд Е.М. Указ. соч. С. 28.

27 Цыремпион Д.Ц. Указ. соч. С. 47.

28 Залкинд Е.М. Указ. соч. С. 5.

29 Иванов С.М. Двадцать лет социалистической Бурят-Монголии // XX лет БМАССР. Улан-Удэ, 1943. С. 21.

30 Хахалов А.У. Бурят-Монголия в дни Отечественной войны // Там же. С. 23.

31 Цыремпион Д.Ц. Указ. соч. С. 47.

32 Иванов С.М. Двадцать лет социалистической Бурят-Монголии... С. 7–8.

33 Хахалов А.У. Указ. соч. С. 23.

34 Кудрявцев А.В. К 25-летию Бурят-Монгольской АССР // 25 лет Бурят-Монгольской АССР. Улан-Удэ, 1948. С. 9.

35 Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: Двусмысленные идентичности. М., 2003. С. 112.

36 Четко С.В. Указ. соч. С. 148.

37 Затеев В.И. Национальные отношения при социализме. Улан-Удэ, 1975. С. 173.

- 38 *Тишков В.А.* Реквием по этносу... С. 28.
- 39 *Четко С.В.* Указ. соч. С. 189.
- 40 Там же. С. 187.
- 41 Там же. С. 188.
- 42 *Вишневский А.Г.* Серп и рубль. М., 1998. С. 345.
- 43 *Четко С.В.* Указ. соч. С. 183–184.
- 44 *Вишневский А.Г.* Указ. соч. С. 344.
- 45 Третий съезд Советов Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Советской Республики... С. 7.
- 46 Там же. С. 87.
- 47 *Иванов С.М.* Двадцать лет социалистической Бурят-Монголии... С. 21; *Хахалов А.У.* Указ. соч. С. 37, 40.
- 48 *Иванов С.М.* Государственное устройство БМАССР // 25 лет Бурят-Монгольской АССР. Улан-Удэ, 1948. С. 39.
- 49 Третий съезд Советов Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Советской Республики... С. 7.
- 50 *Иванов С.М.* Двадцать лет социалистической Бурят-Монголии... С. 21.
- 51 *Бадиев А.А.* Образование и развитие Бурятской АССР – торжество ленинской национальной политики // В братской семье народов. Улан-Удэ, 1974. С. 22.
- 52 60 лет Бурятской АССР. Улан-Удэ, 1984. С. 9.
- 53 Там же. С. 22.
- 54 *Затеев В.И.* Национальные отношения при социализме... С. 174.
- 55 Там же. С. 167.
- 56 *Бадыев А.Л.* Указ. соч. С. 21.
- 57 *Барсенков А., Вдовин А.* Русские интересы в межнациональных отношениях // Этнополис. 1993. № I. С. 35.
- 58 *Вишневский А.Г.* Указ. соч. С. 344.
- 59 *Четко С.В.* Указ. соч. С. 189.
- 60 *Затеев В.И.* Национальные отношения при социализме... С. 173.
- 61 Там же. С. 172.
- 62 Там же. С. 175.
- 63 *Балибар Э., Валлерстайн И.* Указ. соч. С. 112.
- 64 *Дойн К.* Национальная интеграция: Обзор некоторых концепций и исследовательских подходов // Этнос и политика: Хрестоматия / Сост. А.А. Прусаускас. М., 2000. С. 194.
- 65 *Брежнев Л.И.* О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик // XXIV съезд КПСС: Единство теории и

практики. М., 1973. Вып. I. С. 24.

66 *Митин М.Б.* Марксизм-ленинизм и современная идеологическая борьба // XXVI съезд КПСС о проблемах социалистического развития и современная идеологическая борьба. Улан-Удэ, 1983. С. 37.

67 *Бадиев А.А.* Указ. соч. С.18.

68 *Максанов С.А.* Культура Бурятии в условиях развитого социализма. Новосибирск, 1983. С. 14.

69 *Санжиев Б.С.* О консолидации бурятской социалистической нации как составной части новой исторической общности советского народа // В братской семье народов. Улан-Удэ, 1974. С. 88.

70 *Брежнев Л.И.* Указ. соч. С. 302.

71 *Митин М.Б.* Указ. соч. С. 35.

72 *Затеев В.И.* Формирование и расцвет бурятской социалистической нации. Улан-Удэ, 1961. С. 183.

73 *Михайлов Т.М.* Советский образ жизни и рост массового атеизма // Великий Октябрь и развитие бурятского народа. Улан-Удэ, 1987. С. 165.

74 *Санжиев Б.С.* Указ. соч. С.82.

75 *Хантаев П.Т.* К вопросу о сближении и слиянии наций // В братской семье народов. Улан-Удэ, 1974.

76 *Четко С.В.* Указ соч. С. 188.

77 *Брежнев Л.И.* Указ. соч. С. 310.

78 *Максанов С.А.* Указ. соч. С. 8.

79 *Асалханов И.А., Максанов С.А., Тармаханов Е.Е.* Очерки истории Бурятской АССР периода развитого социализма. Новосибирск, 1983. С. 281.

80 *Затеев В.И.* Национальные отношения при социализме... С. 178.

81 Там же. С. 175.

82 Там же. С. 178.

83 *Нагенгаст К.* Права человека и защита меньшинств: Этничность, гражданство, национализм и государство // Этничность и власть в полиэтнических государствах. М., 1994. С. 177.

84 *Дойн К.* Указ. соч. С. 192.

85 *Кивинен М.* Прогресс и хаос: Социологический анализ прошлого и будущего России. СПб, 2002. С. 82–83.

Татьяна Скрынникова

Пограничные идентичности: буряты между Монголией и Россией

Необходимость выхода из идеологического кризиса определяет активизацию современного идеологического конструирования в республиках Российской Федерации: кризис идентичности стимулирует формулирование новых политических идеологем в российском обществе. Ощущение кризиса связано не только с распадом социалистической системы, но и с фактором глобализации, развитием современных информационных технологий, ускоряющих процесс нивелирования индивидуальных культур. Пессимизм усугубляется тем, что малые этносы осознают ограниченность своих возможностей в мировом сообществе или в России, поэтому все большей популярностью пользуются идеи следования традиционным образцам и практикам. Особенно активно конструирование локальных идеологем проходит в национальных республиках – бывших автономиях, примером чего может служить Бурятия.

Буряты представляют собой немногочисленный этнос в полиэтническом государстве, расселенный на территории трех субъектов Российской Федерации. Прежде всего это – Республика Бурятия, где по данным переписи 1989 года при общей численности населения республики в 1 038 252 человека проживало 249 525 бурят, из которых 111 069 жили в городах, а 138 456 бурят – на селе. В столице республики – Улан-Удэ – насчитывалось 74 243 бурята. Часть бурят проживает в двух соседних областях, где для них созданы автономные округа – национальные территориально-административные субъекты федерации. В Иркутской области на 1989 год числилась 81 тысяча бурятского населения, в том числе в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе – 49,3 тысячи, в Иркутске – 7 тысяч. В Читинской области насчитывалось 66,6 тысяч представителей бурятского народа, из них в Агинском Бурятском автономном округе – 42,4 тысячи, в 16 районах области – 24,2 тысячи и в Чите – 4719 бурят. Характерные для XX века миграции населения в Советском Союзе привели к снижению удельного веса бурят на территории республики до 25 % в 1989 году, тогда как в 1923-м, когда создавалась Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая

республика, буряты составляли в ней 55 % населения. Изменилась и социальная структура – появилось городское бурятское население, чего не было до революции 1917 года. Сегодня доля горожан-бурят составляет 45 %, доля сельчан – 55 %'.

Территории проживания бурят вошли в состав России во второй половине XVII века. Первоначально взаимоотношения коренного населения с пришлым были неоднозначными; известны факты притеснения бурят, что, в частности, вызвало поездку делегации хоринских бурят в 1702–1703 годах к Петру I. Результатом этой поездки стала «Высочайше пожалованная царская грамота»: «А они де иноземцы (буряты. – Т.С.) в Нерчинском уезде в Итанцинском зимовии многие годы служат с Нерчинскими старыми казаками за едино радетельно без пороку и против неприятельских воинских людей бьются, не щадя голов своих, также и ясак в нашу Великого Государя казну платят по вся годы без недобору с прибылью...»² В то же время из текста Указа следует, что столкновения бурят с русскими отрядами и поселенцами, захватывавшими их земли, не были редкостью. Эта сторона вхождения бурят в состав российского государства нашла свое отражение в мифологических текстах о баргу-бурятах, согласно которым баргуты погибли в связи с приходом в Баргузин русских (белых людей, связанных с белым деревом – березой):

А вот белый народ, береза бела стала расти, они говорят, что народ белый будет теперь и давай заваливать друг дружку вот в етих ямах, и там ямы у нас нагребены... Оне оттого стали убивать сами себя, что белый народ, оне боялись белый народ... Лес рос только сосновый, хвойный. А потом стала появляться береза. Народ стал говорить, что придут новые люди, белые. Они не хотели менять своих устоев и стали убивать сами себя. Бросались со скал, топились в реках³.

Ц.Б. Бадмажапов, анализируя язык самоописания одной из групп бурят – хоринцев, приводит следующее выражение, бытовавшее, с его точки зрения, еще с XVIII века: «ой модон олон гуу // ород мангад олон гуу» («много ли деревьев в лесу // много ли русских мангатов»)⁴. Фраза может быть понята как «русских так же много, как деревьев в лесу», причем этноним «русские» выражен двумя словами: *орос* и *мангат*. Первое означает *русский* как в литературном, так и разговорном языке. Вторым – *мангат* — обозначается в бурятском, как и в монгольском языке нечто/некто *чуждое, враждебное*, представленное в эпосе в образах чудовищ,

змеев-великанов и т. п. В разговорной речи обозначение русских этим словом может иметь негативный, оскорбительный оттенок.

Сохранившиеся хроники и родословные, большая часть которых возникла благодаря пребыванию в середине XIX века в бурятских степях монголоведа О.М. Ковалевского, позволяют выявить характер российской самоидентификации бурят. Надо заметить, что Россия воспринималась бурятами как лояльность государственного уровня, где буряты были подданными (*албата*) «Великого Императора, Богатыря, Белого Хана, Владыки России» (бур. *Ородой орониие эзэлэгшэ Ехэ дээдэ император баатар сагаан хаанай арад албата*)⁵. Иногда зависимость определяется словом *мэдэлдэ* — ведение, т. е. находиться в ведении⁶.

Сопряжение государства и общества нашло отражение и в фольклорной традиции: «Коллективному менталитету хори-бурят присуще развитое чувство связи „государственного“ и „общественного“: „государству поступило, значит поступило многим (народу. – Т.С.)“»⁷. Положительный образ государства предопределял положительные оценки действий в его пользу: «Так, утверждение какой-либо позитивной точки зрения на ту или иную проблему, связанную с обязанностями перед государством, могло завершиться сакраментальной фразой: „будучи / пребывающими/ в русском государстве“»⁸.

Буряты воспринимали царскую монархию как основной институт легитимации государства, которое было личным владением императора. Обратим внимание на парадигмы традиционной культуры, в контексте которой моделируются отношения с властью⁹. Прежде всего они могли определяться терминами кровного родства *отец – сыновья*, что достаточно актуально в традиционной культуре: «Великие государи российские относятся с милосердием к своим подданным, любят всех их, словно *сыновей своих*»¹⁰. Кроме того, в обозначении царской власти используются характерные для мифологического сознания маркеры *своего* пространства. Имплицитное соотнесение себя и Российской империи как единого пространства, *своего мира*, содержится, на мой взгляд, и в определении, данном бурятами русскому царю – *сагаан* (белый), что, безусловно, определялось не только антропологическим фактором, но и тем, что «мы, народ одиннадцати хоринских родов, прибегали к *покровительству золотого престола великого государя российского*»¹¹ (бур. *алтан шэрээгэйүмэгтэ*)¹². Престол в традиционном сознании является маркером центра, сакрализующего и цивилизующего мир, что подчеркивается и его цветом – золотым.

В бурятских летописях и родословных отмечается, что гармонизирующая функция российской власти осуществляется через *милость* российских царей¹³: «по милости Белого царя», «Екатерина II оказала милость» (бур. сагаан хаан *хайрада*; Хоёрдугаар Екатерина хатан хаан *хайрлажа*)¹⁴. Отеческая милость/покровительство выражались в личном участии царей в жизни подданных – бурят: а) в защите их от природных напастей (от голода – Екатерина II, от оспы – Александр I)¹⁵, от притязаний русских¹⁶, б) в установлении законов управления Сибирью¹⁷, в) в покровительстве буддизму через будто бы личное участие императоров в организации буддийской церкви и ее структуры¹⁸. Можно сказать, что царь наделяется чертами культурного героя (творца ценностей данного общества, его защитника).

Следует обратить внимание на то, что в сознании бурят царская власть как маркировалась атрибутами традиционной культуры (престол, знамя – символы центра, власти, выполняющие гармонизирующую функцию), так и включалась в буддийский контекст, что было связано с распространением буддизма среди бурят с конца XVII века¹⁹. Причем считалось, что монархи покровительствовали этому процессу: «Когда мы, народ одиннадцати родов, прибегали к покровительству золотого престола великого государя российского, мы явились с ламами религии, которую мы сами исповедывали, и со светскими учителями в своей среде строили кошмовые храмы в тех местностях, где кочевали, и неукоснительно исполняли, по собственному желанию, богослужения и молебствия»²⁰. В «Бишыхан записке» (о составе и происхождении селенгинских бурят) мы можем найти неоднократное отражение сопряженности буддизма и царизма, где подчеркивается буддийский характер деятельности «Белого царя», выполняющего цивилизаторскую функцию сакрального свойства в социальном пространстве бурят. Так, в начале мы читаем: «Пусть нам сопутствует удача в условиях широкого распространения буддийской религии под покровительством Белого царя»²¹. В заключении другой летописи («История образования подгородного рода») можно прочесть: «С благословения Будды, под знаменем царя, пользуясь постоянной и вечной добродетелью всех живых существ, испытывая самое глубокое счастье, да будем почитать своих родителей, не забывая их благодеяния! Да распространится добро и благо»²².

Русский царь и его правление наделяются положительными качествами, что отразилось в словах Андахая, основоположника подгородного рода (из текста Гемпилон, автора «Истории образования

подгородного рода»): «Отправляюсь я в Россию. Говорят, что Его Величество Белый царь великодушен и милостив, законы его справедливы... Покровительствуй нам, величественное знамя могущественного царя, способное отогнать чужеземного жестокого врага... Если за мною будет погоня, то пусть грозное знамя царя подавит ее»²³. Даже когда сын Андахая впоследствии посетил Монголию и там ему угрожала опасность, он ее не побоялся, сказав: «Велика сила нашего царя!»²⁴ В «Бишыхан запискэ» эта сила называется волшебной (*шэд*): «Турэ шажан дэлгэржэ, сагаан хаанай алдаршайанай шэдеэр биде тубшэн сэдхэлээр мунхэ ороноо оршохо болоё» («Распространяя Высший закон и религию (= буддизм), славной волшебной/силой/ Белого хаана мы мирным сердцем (мыслями) достигнем вечной страны»²⁵. – Перевод мой. – Т.С.). Здесь же: «У Сайн-хана были жестокие законы и суровое правление, а на земле Белого царя – мир и спокойствие»²⁶, причем царь величается «эзэн богдын баатар сагаан хаан» («Белый хаан, богатырь, владыка пресветлый»)²⁷.

Следует сказать, что вышеприведенная лексика, призванная отразить факт покровительства царей бурятам, коррелирует с буддийской лексикой покровительства божеств. Например, идея «золотого трона» («*алтан ширээ*») русских царей сохраняла свое значение позитивного символа власти для бурят и в 20-е годы XX века. Так, в период национализации дацанов (буддийские монастыри) в 1927 году монгольские ламы (Селенгинский район) послали письмо к Панчен-ламе с просьбой спасти их от красной опасности. В письме они скорбят по поводу того, что «кровавые рабочие» свергли «золотой трон» великого императора²⁸. Это – не единичный случай идентификации самодержавия и буддизма. Можно вспомнить, что еще в XVIII веке русские императрицы, покровительствовавшие буддизму в России, назывались перерожденцами Белой Тары. Возможно, именно поэтому позже и цари назывались *Белыми*²⁹. Толерантное отношение имперской российской власти к буддизму среди бурят и калмыков и, соответственно, ответная благодарность бурят нашли свое отражение в мифологии, складывавшейся среди буддистов даже за пределами России. Воин, сражавшийся с китайцами во имя буддизма, обозначался словом *орос*³⁰, что в монгольском и бурятском языках означает *русский*. Затем этим термином стали называть всех европейцев: орос-англичанин, орос-француз и т. д.

Конструирование идентичностей – это проблема выбора лояльности, которая осознается даже самой интеллектуальной элитой³¹, принимающей

активное участие в процессе моделирования границ этнической, цивилизационной и гражданской идентичности. Поэтому вполне естественно, что в годы политической стабильности подчеркивалась позитивная сторона принадлежности бурят к российскому государству, в то время как в моменты обострения социально-экономических и политических противоречий активизировалось негативное отношение к российской центральной власти³², как это произошло в начале российской колонизации Сибири, в начале и в конце XX века³³. Это, в свою очередь, вызвало подъем национального движения и мобилизацию этнического самосознания.

Национально-культурное возрождение начала XX века было стимулировано увеличением потока русских переселенцев и, соответственно, сокращением земельных наделов бурят, ликвидацией бурятского самоуправления – Степных дум, подчинением бурят русским крестьянским начальникам волостных управлений. Результатом этого процесса стало не только составление программ возрождения бурятского этноса, но и формулирование претензий к российскому государству и к русским: «Устранение чересполосицы, – заявляли лидеры Бурнацкома в 1917 году, – один из многочисленных счетов, которые мы имеем предъявить русской демократии и русскому народу», – причем в наиболее крайней форме эту проблему предлагали решить путем «немедленного, принудительного, за счет государства, выселения русских с бурятских земель»³⁴. Эта тема – негативное отношение к России, русским, самодержавию и Советам (уже во времена советской власти) – достаточно часто повторялась в политическом дискурсе, что могло порой доходить до абсурда, когда, например, «агинская степная дума даже приняла решение о запрете русского туалетного мыла и русских духов»³⁵.

Но следует отметить, что позитивная оценка вхождения бурят в состав России продолжала сохраняться. Ц. Жамцарано, поддерживая требования бурят выделить место для бурятского представителя в Государственной думе, писал:

В заключение приведу выдержку из докладной записки представителей забайкальских бурят: «он (бурятский народ), верный своей присяге, данной впервые царю Алексею Михайловичу, безропотно сносил все тягости, которые налагало на него правительство, защищая своею грудью русскую землю от нашествия монголов (в то время почти все забайкальские буряты

служили в войске: было 4 бурятских полка с бурятскими начальниками. Буряты освободились впоследствии. – Ц.Ж.). За все время подданства и проживания, он всегда, отстаивая свои права верных духу своей религии, держался законной почвы... единство народности и религии позволяет бурятам монополизировать всю работу, когда надо почему-либо привлечь монголов, даже самых отдаленных к России... скота, лошадей, баранов для армии». И свою просьбу о представителе буряты заканчивают словами: «как верные сыны великой Российской Империи, мы желаем принести в пользу обширного отечества и нашей далекой окраины – свою посильную лепту». Буряты добиваются быть полноправными гражданами и как таковые участвовать в политической жизни страны вместе с другими народностями; а как национальность – требуют права на культурное самоопределение³⁶.

Одновременно автор противопоставляет российскую власть народу и его «лучшим» представителям – интеллигенции:

Для нас, верующих в свой народ, в возможность культурного возрождения всех монголов (а не политического и шовинистического панмонголизма), иркутские буряты, эта маленькая частичка всего четырехмиллионного монгольского народа, есть только одна из тысячи точек для приложения силы, для проведения своих идей. Буряты все – забайкальские и северобайкальские – только авангард (может стать и арьергардом) просыпающихся монголов. И со стороны России, русского народа должна идти демократическая волна к монголам, ибо у русского народа нет того презрительного высокомерного отношения к инородцам, какой замечается у других народов Европы и Америки, только у русского народа (не правительства) мы видим широкую терпимость к другим народам³⁷.

Первые послереволюционные годы характеризуются большим числом конфликтов между населением и складывавшейся структурой советской власти, которая ассоциировалась с Россией, что вызывало не только отрицательное отношение к России (ср. пример отказа от русского мыла), но и появление художественных произведений, где формулируются

причины этого отношения, иногда и в историческом контексте. Негативные оценки присутствуют в пьесе «Плач шаманки», написанной Б. Барадиным в начале 20-х годов XX века и описывающей трагедию подчинения бурят России. С основу сюжета положен реальный исторический факт поездки представителей одиннадцати хоринских родов под предводительством Бадана Туракина с жалобой на притеснения со стороны русских к Петру I, который Указом от 22 марта 1703 года закрепляет за бурятами занимаемые ими земли и запрещает русским властям притеснять бурят. Приведу несколько отрывков из этого произведения. Юноша – герой пьесы, скрывающийся в лесу, говорит:

Заполонила русскими родина наша.
Оцепили нас из конца в конец.
Гложут нас, вцепившись зубами,
Скот наш к себе угоняют,
Друг за другом нас истребляют,
Земли наши дробят на куски,
Тушат наши все очаги,
Смешали их со своими,
И вот стали теперь мы людьми,
Не имеющими своей родины,
Своей родной земли...³⁸

В этом отрывке можно увидеть фольклорные мотивы, отмеченные выше: многочисленность русских (ср. «как деревьев в лесу») и их действия, сравнимые с действиями эпического мангадхая, разрывающего людей и уничтожающего очаги (= родину). Характеристика, которая дается врагам, вкладывается в уста второго парня, который призывает соплеменников:

Мы, буряты, сколько есть нас,
Остановим несущих нам зло,
Перережем ненавистных,
подавим наших врагов!³⁹

Восприятие русских как максимальной опасности, во избежание которой в случае поражения лучше погибнуть, отразились в словах девушки из группы пленных, конвоируемых четырьмя русскими стражниками:

Чем считаться скотом у русских,
Чем для русских подметкой стать,
Уж лучше – всему конец,
Уж лучше умру я в тайге...⁴⁰

Здесь же дается качественная характеристика взаимоотношений *русские – буряты*, когда буряты должны будут занять нижние уровни иерархии: человек – животное /русский – бурят, или верх – низ / русский – подметка, что имплицитно может характеризовать и восприятие автором современной ему ситуации.

Одновременно словами, вложенными в уста шамана Нагарай-заарина, «восстанавливается истина» – в соответствии с дискурсом национально-культурного возрождения показано «реальное» место бурят в истории:

Мы из племени монголов —
Из тех, кто мир на части рушил,
Все ломал, весь мир топтал,
Из упрямой породы лихих смельчаков
С мощью несокрушимою!..
Наступит когда-то пора,
Когда мы, хори-буряты,
Разогнем согбенные спины.
Ах, если бы на нашей прекрасной,
На нашей цветущей родине
Мы жили бы все единой семьей,
Уж бы слава о нас
В одно прекрасное время гремела...⁴¹

Поскольку одной из основных задач национально-культурного возрождения начала XX века являлось создание собственной государственности, то в монологе Бадана Туракина, одного из лидеров хоринцев, изобретается «золотой век», в котором нет места русскому:

Не подпадать под пята
Многочисленных русских...
Да образуем мы государство,
Великое и обширное,

С печатью высокой счастливой судьбы.
В котором для всех будет счастье
И будет царить надо всем
Один лишь высокий ум!..⁴²

Следует напомнить, что эти строки были написаны тогда, когда впервые в истории бурятского народа создавалась бурятская государственность. Еще в 1917 году другой лидер национального движения и активный участник создания первого бурятского государства писал: «Если инородческие массы, в течение столетий видевшие со стороны русских одни лишь притеснения, относились и относятся с большим недоверием и неприязнью ко всему русскому, то инородческая интеллигенция, воспитанная целиком в духе лучших традиций и идеалов русской общественности и литературы, совершенно иначе проявляла свое отношение к третьему элементу России вообще и Сибири в частности. Яркие и благородные примеры Ядринцевых, Потаниных и др. не могли не вызвать в душе и сознании инородческой интеллигенции Сибири чувства глубокой признательности и уважения по адресу третьего элемента („верхи областнической интеллигенции“. – Т.С.)»⁴³.

Амбивалентность восприятия России общественным сознанием определяется, с одной стороны, реальной социально-политической практикой (Бурятия с XVII века находится в составе России), с другой – мобилизованной этничностью периода национально-культурного возрождения. Приведенные материалы еще раз демонстрируют сложность проблемы самоидентификации и показывают, что в историческом прошлом бурят этногрупповые идентичности имели множественный, не взаимоисключающий характер, где российская (гражданская) идентичность занимала свое место, хотя для большей части не только носителей традиции, но и ученых *национальное* является синонимом *этнического*.

Бурятский материал демонстрирует внебиологический (окказионально конструируемый) характер этничности и разные уровни этнической лояльности, характерные для бурятской культуры. Это подтверждает слова Э. Геллнера о том, что «нации создает человек, нации – это продукт человеческих убеждений, пристрастий и склонностей»⁴⁴, что это прежде всего внутригрупповая дефиниция, обозначаемая исследователями как своего рода «постоянный, неформальный, извечно

подтверждаемый плебисцит»⁴⁵.

Весь вышеизложенный бурятский материал подтверждает то, что самоидентификация – это, как правило, цепочка (ряд) выборов по иерархии идентичностей. Надо сказать, что ситуативность и произвольность выбора генеалогического родства и, таким образом, этнической идентичности у бурят отмечались уже и самими носителями традиции, что свидетельствует о существовании даже в рамках традиции критики мифологизирования этногенетических связей.

В конструировании современной политической идеологии интеллектуальная бурятская элита уделяет заметное внимание таким парадигмам, как *национальная самобытность*, *национальное самосознание*, *единство* бурятского этноса, воплощенное в этнониме *буряты* (шире: *общемонгольское единство*, нашедшее свое выражение в парадигме *бурят-монголы* или *Бурят-Монголия*); обоснование этого единства через *общее происхождение* и *общую территорию* (= *родная земля*), известное как тема *Blut und Boden*; *общая вера*, в которой прежде всего выделяются мировоззрение и связанная с ним культура.

Можно сказать, что идеи, обосновывающие пути выживания бурят, получили свое развитие в рамках этноцентристской идеологии. Этноцентризм и возникает как реакция на современные события и страх исчезновения (растворения) в новом мире. Поэтому разворачиваются идеи следования традиционным образцам и практикам. Пессимизм углубляется осознанием малыми этносами уровня своих возможностей (способности) к выживанию в мировом сообществе или в России. Этноцентристская идеология, будучи по существу несовременной, поскольку, как правило, базируется на традиционных представлениях и обращена к прошлому, является в то же время механизмом модернизации общества (т. е. изменения его в соответствии с современными требованиями с точки зрения ее сторонников), вдохновляя членов сообщества на «возрождение» (т. е. *вос-создание себя*). Идеологемы, легитимирующие этноцентризм, изыскиваются интеллектуальной, творческой и политической элитой в историческом прошлом:

Нет у бурят, кроме Бурятии, другой родины, готовой встать на защиту нашего народа, его прав, его интересов. Бурят-Монгольская Республика создавалась ради защиты бурят-монгольского этноса, ради сохранения и приумножения этого древнего монгольского этноса, коренного народа Прибайкалья. Этот титульный, государствообразующий народ, его

государственность переживает недобрые времена (в политическом дискурсе допускается противоречие самому себе, выше в этой статье автор говорил о позитивности сегодняшней демократии, способствующей национальному возрождению. – Т.С.). Вспомним 1937 г., когда единая Бурят-Монголия была расчленена на пять частей. В результате был приостановлен процесс консолидации нации, приостановлено формирование единой национальной культуры, единой письменности, литературного языка. Буряты, оказавшиеся вне БМАССР, были лишены возможности участвовать в общенациональной жизни. Вспомним 1958 г., когда за спиной народа ликвидировали традиционное название Республики «Бурят-Монголия», название народа «бурят-монголы»⁴⁶.

В рамках неотрадиционалистской этноцентристской эссенциалистской идеологии рождаются парадигмы политического дискурса, которые имеют во многом метафизический характер. Публикации представителей интеллектуальной элиты в последнее десятилетие создают особую феноменологическую реальность. Наиболее явно принципы национальной политики сформулированы в выступлении доктора филологических наук В.Ц. Найдакова (директора Института общественных наук). С одной стороны, В.Ц. Найдаков как будто разворачивает конституционный лозунг «мы – многонациональный народ»: «Республика Бурятия, выступающая как государство всех населяющих ее национальностей, в равной степени защищает интересы всех его граждан, в том числе и национально-культурные интересы»⁴⁷. С другой стороны, в докладе одновременно прослеживается идея иерархизации народов, населяющих Бурятию: «О представителях большинства национальностей, населяющих республику, говорить как о народах республики Бурятия нет никаких оснований... все они являются частью своих народов, имеющих государственные образования в дальнем и ближнем зарубежье, или в составе Российской Федерации»⁴⁸. Это относится и к русскому населению: «Родиной великого русского народа является государство Россия... Поэтому, когда мы говорим русский народ, мы имеем в виду все русское население России и других стран, а не ту или иную его часть, живущую на территории какого-либо субъекта Федерации»⁴⁹. Несколько в ином положении находится бурятское население Республики Бурятия. Буряты – аборигенный, коренной народ,

исконно обитающий окрест Байкала, на территории Прибайкалья и Забайкалья... И поскольку территория Республики Бурятия расположена в Забайкалье, буряты, составляющие лишь часть всего населения республики – государства в составе Российской Федерации, являются государствообразующим народом, титульной нацией, давшей название государству – республике... Но бурятское население РБ составляет генеральную диаспору нации – *народ, живущий в своем государстве*, которое является притягательным центром для всех бурят⁵⁰.

Таким образом, в выступлении В.Ц. Найдакова формулируются идеи легитимации приоритетного права бурят. Эти идеи носят достаточно общий для бурятской науки характер. Так, например, при разработке Концепции национального строительства доктор философских наук Ю.Б. Рандалов и доктор исторических наук Г.Л. Санжиев писали в проекте: «Коренной народ республики – *бурятский* — в основном своем ядре сформировался в новую историческую общность – *нацию* советского типа со своими экономическими, социально-культурными и социально-психологическими качествами и признаками. Существенные качественные изменения произошли в социальной структуре *русского населения* республики, являющегося органической *частью русской нации*»⁵¹. Здесь формулируется иерархичность двух основных групп населения Бурятии – *бурят* (= *нация* — высшая стадия развития этноса) и *русских* (обозначено здесь как население – аморфный термин).

Во всех цитатах, приведенных выше, обращает на себя внимание то, что Россия, русские или русскоязычные (не буряты) выступают как нечто внешнее (*чужое*) по отношению к Бурятии и бурятам, что, безусловно, согласуется с эссенциалистскими этноцентристскими установками мобилизованной этничности. При этом следует отметить, что в Бурятии не отмечается деструктивных тенденций и публикации не носят агрессивного характера.

Отделение себя от России (Москва – сердце России, Кремль – сердце Москвы) может происходить и через манифестацию принадлежности к монгольской общности, к которой буряты не только себя относят, но и включают в свой пантеон культурных героев, например, Чингис-хана. Замечательным примером могут служить экспрессивно-романтические поэтические тексты, примером которых является публикация Октябрьны Ешеевой:

...Люблю смотреть картины, где есть лошади... Возможно,
говорит какая-то далекая память, *гены ушедших чингисидов*...

Заметим, что речь идет не вообще о кочевниках, а именно о чингисидах. Далее автор приводит анонимное стихотворение, написанное чиновником – государственным служащим, и рассуждает:

Гордится русский – в нем течет,
Быть может, кровь от Грозного Ивана.
А мне, возможно, и везет,
Что простая – потомок Чингисхана...

Но все-таки, почему мы восхищаемся чингисидами, нам нравится тот великий напор, экспрессия, энергия, сила и мощь? А вот на картинах азиаты сегодня – вполне тихие, мирные, спокойные, очень скромные люди... В этой связи почему-то вспомнилась однажды виденная мною картина московского бурята Петра Яндане. По сути, это был *автопортрет, названный «Чингисхан»*. Вроде обычное скуластое азиатское лицо с раскосыми глазами, каких у нас много, рыжеватые до плеч волосы... Но, взглядевшись в картину, увидела в *зеленоватых хищных глазах золотые маковки куполов церквей, объятые оранжевым пламенем*⁵².

Зависимость России от Монголии (Россия – восприемница монгольской культуры) отмечается в публикациях Юрия Убеева. Так, в одной из них читаем:

Флаги и гербы в известной мере отражают состояние общества, государства, а если копнуть глубже, то фазу этногенеза или степень этнического напряжения. Возьмем времена Чингисхана, когда 400-тысячный народ-государство, народ-войско покорил миллионы людей, или 80% населения и территории Евразии. *Лидер монголов был одержим идеей создания единого царства, где торжествовали бы закон и справедливость, свобода совести и веротерпимость*. Видимо, поэтому цвет знамени был белый, синтетически включавший все цвета радуги. На уровне глубинного подсознания это коррелирует с громадным этническим разнообразием созданной монголами империи. *Россия унаследовала от монголов: белый хан – белый царь, белая гвардия, а также Гэсэр – цезарь-царь*⁵³.

В контексте современного политического дискурса национально-культурного возрождения, где заметное место занимает идея бурят-монгольской общности, особенно остро встает вопрос отношения к России. Современный бурятский поэт Есугэй Сындуев (Есугэй – имя отца Чингисхана, настоящее имя поэта – Сергей Баторович) в предисловии к своей поэме «Люди Длинной Воли. Легенда о хонгодорах» (одно из бурятских племен) написал:

Вот и ЮНЕСКО, символически подводя итоги последних десяти веков цивилизации, назвало Человеком Тысячелетия не кого-то, а Великого северного монгола Чингисхана. То есть человечество в лице ЮНЕСКО констатирует, что за минувшую тысячу лет во всем мире ни один государственный, политический, военный, религиозный, научный или культурный деятель не внес в развитие цивилизации большего вклада, чем Чингис хан. Это факт. Факт уже бесспорный и человечеством осознанный... Автор преклоняется перед научным и творческим подвижничеством названных им людей (Ш.Б. Чимитдоржиев, С.Д. Бабуев, А.А. Бальбуров. – Т.С.). Как и перед подвижничеством многих Людей Длинной Воли, кто, продираясь сквозь запреты и рогатки, вырываясь из рамок предвзятости и политического заказа, несет миру правду об истинной роли и истинном месте монгольского этноса в истории цивилизации. Несет правду о наших предках. О Людях Длинной Воли⁵⁴.

Как это уже отмечалось для ранних этапов бурятско-русской истории, один уровень лояльности не элиминирует другой: гордость за историческое прошлое, связанное с монголами, уживается с обозначением России «матушкой», приправленным, правда, горечью несложившихся отношений с Москвой, вероятно, личного характера (стихотворение «Матушке-России»):

Мать ли, мачеха – Россия?
Третий Рим или Орда?
Над тобой неугасима
Евразийская звезда.
Но Москве твоя опора,
Азиат, незванный гость.
Треснув, трудно и нескоро

Отболит, срастаясь, кость.
Для твоих Москвой упорно
Нелюбимых сыновей —
Что ни делай, будет спорно
И былого не новей.
Взбунтоваться ли?.. Смириться?..
Спиться ли в глуши степной?..
Или, плюнув, раствориться
За Китайскою стеной?..
И зачахнуть в ностальгии,
В иссушающей тоске,
И по матушке-России,
И по мачехе-Москве⁵⁵.

Позитивным отношением к России (матушка, правит полумиром, двуязычие) отличаются стихи другого поэта – Сергея Тумурова, для которого и двуязычие, негативно оцениваемое традиционалистами как фактор, сужающий поле бурятского языка, – стимул роста: птенец станет орлом.

Матушка

...И светлой тяжестью
наполнена Россия —
Евразией
беременна она.
И вдохновенно,
Самозабвенно вечность трогая
Руками гор и холодом равнин,
Матушке
 угодно, между делом,
Править
 полумиром.

Билингвизм (двуязычие)

1.

...И созвучно движению
гор сопредельных,
из тяжести света
земного ядра
сквозь сердцевины
огромных сосен
мы
поднимались не год и не два,
кольца сомнений
рвали века.
Но странной прихотью
познания изначального луча
— *из незнания, из печали*
возникло мироздание
двуглавой птицы
державного орла.
В равной мере
своих желаний,
в оправе сжатых пальцев
венценосного Кремля
мы — обычная смола.
Но с нами высверк
сердцевины века —
сомнений долгих
рваные края.
И червь сомнений наших
зачтется нам,
да не простым разнузданным
вопросом в камне,
а особо драгоценным янтарем.

2.

О, двуглавые уродцы —
двуязычные птенцы
Евразии
И все-таки орлы⁵⁶.

Если для Есугея Сындужева *Москва* — мачеха, то Сергей Тумуров, кажется, оценивает *Кремль* — сердце Москвы и символ российской власти — как будто тоже негативно («Мы для Кремля — обычная смола»), но нет, смола на самом деле — драгоценный янтарь.

Сегодня совершенно определенно можно говорить об оживлении мифотворчества интеллектуальных элит Бурятии, что связано с кризисом в современном российском обществе и возрастанием роли этничности в ответ на внешние условия, как это было и в 20–30-е годы XX века. Возрождаются этнокультурные константы, актуализируя этническую (буряты, бурят-монголы) и цивилизационную (буддийская цивилизация) идентичности, складывается новая мифология. В данном случае миф, выполняя адаптивную функцию, выступает в качестве защитного механизма, способствуя интеграции бурят в единое сообщество. Миф искажает действительность, что препятствует объективной оценке реальности и выработке наиболее адекватного способа действия внутриэтнических групп в современных условиях. Но появление мифа — процесс объективный, вызванный необходимостью адаптации этнической картины мира к изменившимся условиям. Бурятскому политическому мифу присущи все те черты, которые отмечаются для политического мифа вообще:

- они не появляются спонтанно, а создаются искусственно, сознательно и целенаправленно;
- основу их составляют осознанные и культивируемые политиками коллективные чаяния и надежды, усвоенные массовым сознанием;
- в них соединяются два разнородных качества: трезвый расчет и фанатическая вера, позволяющая политикам освободить себя от всех моральных преград;
- они не поддаются разрушению с помощью рациональных аргументов и потому вполне правомерна их оценка как ненаучного знания. Политические мифы в лучшем случае — полуправда;
- для них характерна непосредственная связь с политической реальностью, они призваны оправдывать тот или иной ход событий, обеспечивать абсолютную уверенность людей в правоте осуществляемых политических акций⁵⁷.

Российский уровень бурятской идентичности, наряду с монгольским, находит выражение не только в мифотворчестве, но и в государственном законодательстве. Так, в Конституции Республики Бурятия записано:

Мы, полномочные представители многонационального народа Республики Бурятия, объединившего в ходе исторического развития бурят, русских, эвенков и граждан других национальностей, сознавая историческую ответственность за его судьбу, признавая приоритет общечеловеческих ценностей, права народов на самоопределение, прав и свобод, закрепленных во Всеобщей Декларации прав человека, других международно-правовых актах и в Конституции Российской Федерации, заботясь о сохранении и самобытном развитии народов, проживающих на территории республики (государства), уважая суверенные права других народов, провозглашая принципы демократического правового общества, считая республику неотъемлемой частью – субъектом Российской Федерации, принимаем настоящую Конституцию...

Статья 1. Республика Бурятия есть суверенное демократическое правовое государство в составе Российской Федерации⁵⁸.

Осознание принадлежности к России – это не только политическая декларация, но и индивидуальные ощущения бурят. Так, житель села Кижинга П. Балдандоржийн, действительный член Географического общества России, ветеран войны и труда, пишет в газете «Бурятия» от 14 марта 1997 года:

Некоторые думают, что восстановление названия республики, существовавшего до июля 1958 года, может послужить поводом для образования независимого от России государства, что Бурятия может уйти из ее состава. Ограниченность и примитивность данного суждения очевидны. После восстановления исторического названия республика превращаться в отдельное от России государство не собирается. Да сможет ли практически республика жить вне России? Вряд ли... Я считаю, пора дать отпор тем лицам, которые своим ошибочным взглядом на вопросы федеративного устройства в многонациональной России наносят урон и ущерб *своей Родине – России. Наша* великая Россия и так находится в тяжелом экономическом положении...⁵⁹

Экспрессивная реакция Виталия Богданова на эту публикацию была

напечатана этой же газетой 17 апреля 1997 года: «Гражданам нашей республики делить нечего, *родина у нас одна – великая Россия*, и если в ее составе будет стабильная Бурят-Монголия – честь и хвала ей!»⁶⁰

Итак, амбивалентность оценки места и роли России в процессе идентификационного выбора бурят (как в историческом прошлом, так и в современном дискурсе национально-культурного возрождения), определяется двумя разными основаниями самоидентификации. Там и тогда, когда предпочтение отдается этническому и обостряется озабоченность сохранением национальной самобытности (этноидентификация), вступает в действие оппозиция «*мы – они*» и Россия приобретает негативную оценку, к тому же Россия и русская культура ассоциируются с современной массовой культурой, способствующей нивелировке и стиранию этнического своеобразия. Но это противопоставление не носит деструктивного характера. Проживание бурят в границах Российской Федерации, понимание необходимости и возможности выживания в нашем непростом мире только вместе с Россией (возможно, не последнюю роль играет осознание экономической слабости Монголии и потому реальной невозможности создания единого политического, хозяйственно-экономического пространства и ориентации на национально-культурное сотрудничество с монголами) приводят к тому, что Россия воспринимается как *свой мир*, т. е. должным образом организованное пространство, пригодное к проживанию, – *Дом*.

С одной стороны, этнические общности, признавая право (исторически территориальное) бурятского народа на титульность в рамках так называемой советской теории этноса, стремятся к возрождению, создают национальные культурные центры. Этнические общности обозначаются терминологически различно: *нация*, *национальность*, *народ*, причем творческая элита предпочитает пользоваться первым в отношении бурятского этноса. С другой стороны, нельзя не отметить признаков формирования *нации* как *территориального и многокультурного сообщества*. Участие в знаковых мероприятиях: День города; 75-летие Республики Бурятия; выборы в Народный Хурал, которые не бойкотирует ни одна общественная организация, партия или этническая группа; сурхарбан, который стал общенародным; и даже недопустимое в традиционной культуре участие чужеземцев в шаманском обряде – осеннем тайлгане, – безусловно, приобретает все большее значение.

Можно говорить о том, что в Республике Бурятия имеет перспективы, как наиболее конструктивная, идея образования поликультурной нации на основе двойной идентичности (культурно-этнической и государственно-

гражданской), не исключаящей одна другую. Необходим переход от имеющей сейчас широкое распространение идеи *этнонации* с ее приоритетами (право на власть, доступ к природным ресурсам и привилегиям, контроль за культурно-информационным пространством) к идее *гражданской* или *политической нации* при сознательном конструировании общих интересов, ценностей и символов. Но это проблема другого исследования.

Примечания:

Работа выполнена по гранту РГНФ № 02-01-002633.

Мною были выделены следующие уровни идентичности, актуальные в XIX в. (подробнее см.: *Скрынникова Т.Д.* Традиционная потестарно-политическая культура и современная самоидентификация бурят // Сибирь: этносы и культуры: Традиции и инновации в этнической культуре бурят. М.; Улан-Удэ, 1999. Вып. 5. С. 4–29):

1. Значимость **родового** деления: по **родам** формировалось войско, каждый род имел свое знамя, буддийский храм. Родство было патрилинейным и выражалось в разных терминах: **отог, обог, эсэг, яһан** (последний – у селенгинских бурят).

2. Роды объединяются в общность следующего таксономического уровня, которая, кажется, не имеет жесткой терминологической определенности, – *народ, люди (зон или улас)* и может соответствовать одному из значений греческого *этнос* – племя. Это *эхириты, булагаты, хонгодоры, хори*. Причем приблизительно до середины XIX в. последние дистанцировались от первых трех, обозначаемых этнонимом «буряты».

3. Происходит расширение этнических и географических границ общности **буряты**: хори включаются в нее через мифологических предков и через «историческое» обоснование генеалогического родства.

4. Отмечается одновременное функционирование наряду с таксоном *буряты* и иного – **бурят-монголы**, подчеркивающего общность прежде всего *хоринских* и *селенгинских* бурят с монголами.

5. Обоснование генетического родства *властителей* у монголов и бурят с царскими родами буддийских государств включает их в **буддийскую цивилизацию**.

6. И еще один уровень идентичности, который отмечается в традиции – понимание/осознание бурят **в составе России.**

Эта иерархия идентичностей, не исключая одна другую, актуальна и сейчас. Обращение к традиционной политической культуре бурят позволяет понять многомерность процесса этноидентификации сегодня: различные политические группы (представители интеллектуальной элиты) отбирают из прошлого аргументы, используемые в современной политической жизни.

1 Елаев А.А. Бурятский народ: становление, развитие, самоопределение. М., 2000. С. 306.

2 Указ царя Петра Алексеевича. Приложение I // Жимбиев Ц.А., Чимитдоржиев Ш.Б. Поездка делегации хори-бурят к Петру Первому в 1702–1703 гг. Улан-Удэ, 2000. С. 35–38.

3 Тихонова Е.Л. Русские предания об исчезнувших народах Забайкалья // Проблемы традиционной культуры народов Байкальского региона: Материалы Международной научно-практической конференции (2–3 июля 1999 г.). Улан-Удэ, 1999. С. 132–135.

4 Бадмажапов Ц.Б. Семантическое декодирование самоописаний локальной культуры // Сибирь: этносы и культуры: Этническая культура: история и современность. М.; Улан-Удэ, 2002. Вып. 7. С. 133.

5 Бурядай туухэ бэшэгуудэ (Бурятские исторические летописи) / Сост. Ш.Б. Чимитдоржиев. Улан-Удэ, 1992. С. 14, 37, 38, 179 и др.

6 Там же. С. 12, 37, 180 и др.

7 Бадмажапов Ц.Б. Указ. соч. С. 141.

8 Там же.

9 Есть свидетельства восприятия бурятами России как *внешнего* по отношению к территории их проживания пространства. Например, когда пишут «из России поступили в продажу...». См.: Бурятские летописи / Сост. Ш.Б. Чимитдоржиев, Ц.П. Ванчикова. Улан-Удэ, 1995. С. 81.

10 Там же. С. 38.

11 Там же. С. 43.

12 Бурядай туухэ бэшэгуудэ (Бурятские исторические летописи)... С. 41.

13 Бурятские летописи... С. 8, 11.

14 Бурядай туухэ бэшэгуудэ (Бурятские исторические летописи)... С. 14, 17.

15 Бурятские летописи... С. и.

16 Там же. С. 8, 78–79.

17 Там же. С. 70–71, 116.

18 Там же. С. 46, 50, 51.

19 При оценке сопряженности царизма и буддизма необходимо учитывать отношение к буддизму царского правительства, которое рассматривало его как важнейший политический фактор, почему уже в 1741 г. Елизавета утвердила статус буддийской церкви в России.

Идея трех буддийских монархий, разработанная монгольской историографией (Индия, Тибет, Монголия), также получает распространение, хотя и в ином варианте – Тибет, Монголия, Бурятия. Последняя часто выступает не как целое, а как отдельные группы бурят: селенгинские, хоринские, агинские, хамнигане (см.: Бурятские летописи... С. 22–27). Как видим, в бурятских летописях этого периода не упоминаются не только Китай, но даже Индия, что не мешает современным исследователям говорить о том, что благодаря буддизму «традиционная обрядность стала обретать черты общей буддийской культуры Востока» и подчеркивать, что буддизм «оказывал все более заметное влияние на все стороны духовной и общественной жизни бурятского общества и в целом на этническое становление и формирование бурятской народности» (см.: Елаев А.А. Указ. соч. С. 95).

Это было связано с тем, что деятельность монастырей (дацанов) охватывала все сферы жизни бурятского общества. Как культовые центры дацаны способствовали распространению и утверждению среди бурят буддийского учения, что осуществлялось через систему дацанского образования (факультеты: учебный, философский, медицинский, живописи), распространение буддийской литературы (создание печатных мастерских по изданию ксилографов на монгольском и тибетском языках – обрядники, дидактическая литература, учебники и т. д.), изготовление предметов культа, и формированию бурятской интеллигенции.

Строго говоря, этот уровень идентификации нельзя назвать этническим, правильнее было бы его обозначить цивилизационным. Авторы хроник не просто связывают бурят общим происхождением с Тибетом и Монголией, но и объясняют этим «родством» возникновение власти у бурят. «Генетическое родство» подтверждается и преемственностью обучения, когда для распространения учения к бурятам приезжают 50 тибетских и 100 монгольских лам. Сами авторы летописей, интеллектуальная элита XIX в., определяют его этногенетически, что свойственно традиционному сознанию. Можно говорить, что в данном контексте буддизм выступал как фактор интеграции не только этноса, но и

монголоязычной и центральноазиатской общностей.

- 20 Бурятские летописи... С. 43.
- 21 Там же. С. 133.
- 22 Там же. С. 167.
- 23 Там же. С. 163.
- 24 Там же. С. 166.
- 25 Бурядадай туухэ бэшэгуудэ (Бурятские исторические летописи)... С. 179.
- 26 Бурятские летописи... С. 148.
- 27 Бурядадай туухэ бэшэгуудэ (Бурятские исторические летописи)... С. 195.

28 *Герасимова К.М.* Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства. Улан-Удэ, 1964. С. 121.

29 Хотя, по мнению А.Н. Кочетова, «популярная богиня Цаган-Дара-Эхе воплотилась в образе Екатерины II, и все последующие цари также являются ее земным воплощением. Во время проезда цесаревича Николая Романова через Бурятию по пути в Японию в 1891 г. ламство оказывало ему почести, как „живому богу“. На месте, где Николаю „благоугодно было завтракать“ во время посещения им Ацагатского дацана, впоследствии построили специальный храм (дуган) в честь Цаган-Дара-Эхе (Белой Тары. – Т.С.). Портреты царей висели в дацанах на видных местах среди изображений богов. Во время Русско-японской войны 1904 г. хамбо-лама Иролтуев... преподнес наместнику царя от имени ламства приветственный адрес и о „благосклонном приеме“ адреса поспешил уведомить телеграммой своего заместителя. Ламы проводили в дацанах моления с просьбой „дарования победы“ и объявили богиню Цаган-Дара-Эхе „небесной покровительницей войны“. После гибели близ Порт-Артура броненосца „Петропавловск“ Иролтуев предложил ширетую Гусиноозерского дацана и подведомственным ему ламам „немедленно отправлять к всевышнему горячие молебствия“ о том, что „великий князь Кирилл Владимирович спасен, а получил легкую рану, почему нужно читать ‘Цаган-Дара-Эхей’, отслужить за здоровье его величества“» (*Кочетов А.Н.* Ламаизм. М., 1973-С. 55–56).

Позже, «когда праздновалось 300-летие дома Романовых, хамбо-лама Итигэлов даже выпустил собственную медаль для награждения ею особенно ревностных в прославлении царизма лам» (Там же. С. 57).

30 Бурятский ученый и путешественник во время путешествия в Амдо и Алашани записал легенду, которая объясняет происхождение этого воинства – оросов: Учитель Падма Самбхава женился на дочери царя, и она

родила ему сына. Царь, узнав об этом, напал на них, а Падма Самбхава «собрал стебельки травы „дурва“, которые в силу его великой чары чудесно превратились в живых людей, в целое войско, нагнавшее страх на царское войско. Одержана победа. Вскоре эти „чудесные“ воины сделались оросами-европейцами. Оросы непобедимы, ибо их сотворил великий учитель Падма Самхава» (Дугаров Р.Н. Базар Барадин о сюжетах легенд Алашани // Национальная интеллигенция, духовенство: история и современность. Улан-Удэ, 1994. С. 62).

31 Так, Ж. Бошоктуев, также составитель летописи, еще во второй половине XIX в. отмечал: «...не обнаружено ни письменного сочинения, ни устного предания, где бы говорилось, что мы были переданы от Алтан-хана Бубэй-бэйлэ... найдя в истории монгольских ханов имя некоего Хоридоя, Дарбаев и Саагиев *приспособили хоринскую историю к имени этого человека*. Правда, Дарбаев и Саагиев являются умными людьми, но *склонными поступать самочинно*. То, что они увязали прошлое хоринцев с историей монгольских ханов, следует признать искусственным и неверным» (Цыдендамбаев Ц.Б. Бурятские исторические хроники и родословные. Улан-Удэ, 1972. С. 180; курсив мой).

32 Лидер бурятского национального движения Ц. Жамцарано (был расстрелян в 1937 г.) писал: «Послушаем сперва, что говорят местные русские интеллигенты о бурятах. В постановлении Читинского отделения приамурского Отдела ИРГО-ва (вып. VII, 1905 г.) читаем: „Положение инородцев Забайкальской области печально. Если русскому государству выпало на долю соединить массу различных народностей, то на нем лежит высокая обязанность пред человечеством, охраняя лучшие природные качества этих народностей, слить их в одну массу на почве общечеловеческих начал гуманности и справедливости. Что же мы видели в действительности?.. Не говоря уже о прискорбном факте быстрого вымирания северных забайкальских орочен вследствие спаивания их водкой и распространения сифилиса, более стойкое монгольское племя бурят пока всю энергию и удивительную жизнеспособность свою направляет на борьбу за свою народную самобытность с явлениями, ее разрушающими. Их верование, по закону 1853 г., отдано под надзор администрации. Против их исконного кочевого быта все время ведется борьба неразумными средствами и косвенными стеснениями. Постепенное и мирное намерение бытового строя их было нарушено административной реформой, имевшей целью нивелировать кочевых инородцев с оседлым крестьянством. И не мудрено, что хотя прошли века совместной жизни русских с инородцами, а до сего времени первые не оказали никакого

культурного влияния на вторых (мнение не вполне справедливо. – Ц.Ж.). И это тем более печально, что буряты, всегда чутко относящиеся к изменяющимся условиям жизни, в полном сознании неизбежности перехода к новым и лучшим ее формам с большой охотой стремятся к образованию. На их средства главным образом выстроена гимназия в Чите (на одну мужскую гимназию забайкальские буряты дали сразу более 100 000 рублей в то время, как русское сельское население области и не думало отзываться. – Ц.Ж.), они дают стипендии в средние и высшие школы, они безрезультатно долгие годы хлопочут об устройстве сельскохозяйственного училища и желают, как доказал недавний бурятский съезд в Чите (апрель 1905 г.), обязательного всеобщего обучения своих детей родной и русской грамоте“. Так говорит местное ученое учреждение в лице лучших своих представителей, как, напр., А. Кузнецов, Д. Головачев, И. Бирюков и др., вошедших в комиссию для выработки „постановления по вопросам государственного благоустройства и благосостояния Забайкальской области“. Быть может, взгляд ученого общества о том, что русские не оказали „никакого“ влияния на инородцев, – несколько преувеличенно-отрицательный, но в общем факты отмечены совершенно правильно.

И в самом деле, буряты – северо-байкальские и забайкальские – всю свою силу в течение столетий принуждены были тратить на борьбу с местными властями и миссионерами и с центральным правительством за свои „породные земли“, за общинное землепользование, за свои хозяйственные интересы, за неприкосновенность национальных особенностей и свободу в гражданско-экономической и духовно-правовой жизни. Борьба была непосильная, никому незаметная, печальная, без всякой почти поддержки со стороны местного русского населения... Все меры правительства начиная с 1890 года (в Иркутской губернии) вплоть до наших дней были направлены против коммунистически-родового быта бурят, против той солидарности, того единства в жизни племени, которое делало бурят весьма стойкими, живучими в борьбе против „обрусения“. Насколько правительственные меры мало отвечали быту бурят, можем уяснить себе из ознакомления с этим бытом» (Жамцарано Ц. О правосознании бурят // Сибирские вопросы. 1905. № 2. С. 167–169).

33 Говоря о начале XX в. как о периоде активного национального движения, я имею в виду весь период с момента организации первых общественных организаций, например, «Знамя бурятского народа» (1905), целью которых было национально-культурное возрождение, и появления первых публикаций на эту тему до образования Бурят-Монгольской

автономной советской социалистической республики в мае 1923 г.

34 Цит. по: *Герасимова К.М.* Обновленческое движение... С. 33.

35 *Герасимова К.М.* О бурятской «буржуазной интеллигенции» начала XX в. // Национальная интеллигенция, духовенство и проблемы социального, национального возрождения народов Республики Бурятия. Улан-Удэ, 1995. С. 23.

36 *Жамцарано Ц.* Указ. соч. С. 183–184.

37 Цит. по: *Цибиков Б.Д.* Цыбен Жамцарано: К 80-летию со дня рождения // Труды Бурятского комплексного научно-исследовательского института. Вып. 10. Серия историческая. Улан-Удэ, 1962. С. 132.

38 *Соктоев А.Б.* Становление художественной литературы дооктябрьского периода. Улан-Удэ, 1976. С. 385–386.

39 Там же. С. 390; курсив мой.

40 Там же. С. 385.

41 Там же. С. 391.

42 Там же. С. 393–394.

43 *Ритино Э.-Д.* Документы. Статьи. Письма. Улан-Удэ, 1994. С. 49.

44 Цит. по: *Тишков В.А.* Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. С.39

45 Там же.

46 *Чимитдоржиев Ш.Б.* Бурят-монгольский этнос и монгольский мир // Проблемы традиционной культуры народов Байкальского региона... С. 12–13.

47 *Найдаков В.Ц.* Проблемы национально-культурного развития народов Республики Бурятия // Бурятия. 1997. го апреля. С. 2.

48 Там же.

49 Там же.

50 Там же; курсив мой.

51 Вопросы методологии и истории наций и национальных отношений в регионе Восточной Сибири: Тезисы и материалы научного совещания. Улан-Удэ, 1992. С. 27; курсив мой.

52 *Ешеева О.* Судьба, освященная талантом // Бурятия. 2001.

24 февраля. С. 6; курсив мой.

53 *Убеев Ю.* Знаки революций // Правда Бурятии. 2001. 18 мая. С. 13; курсив мой.

54 *Сындуев Е.* Люди Длинной Воли: Легенда о хонгодорах: Драматическая поэма. Рязань, 2000. С. го.

55 *Сындуев Е.* Матушке-России // Бурятия. 2001. 9 сентября. С. 6.

56 *Тумуров С.* Матушка. Билингвизм //Бурятия. 2001.19 октября. С. 6;

курсив мой.

57 Чудинова И.М. Политические мифы // Социально-политический журнал. 1996. № 6. С. 123.

58 Конституция Республики Бурятия // Бурятия. 1994. № 43 (9 марта). С.1.

59 «Буряад-Монгол» нэрые бэргээхэ. Вернуть название «Бурят-Монголия» / Сост. Ш.Б. Чимитдоржиев. Улан-Удэ, 1998. С. 32.

60 Там же. С. 33.

Сергей Ушакин

Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России

Прискорбно, но память – это единственный доступный нам способ отношений с умершими.

Сюзан Зонтаг¹

Осенью 2001 года во время полевого исследования в Барнауле я взял интервью у Светланы Павлюковой, бессменной руководительницы и основательницы Алтайского комитета солдатских матерей. Во время беседы мать Героя Советского Союза, погибшего в Афганистане в 1988 году «при исполнении воинского долга», суммировала основное направление деятельности в Алтайском Комитете солдатских матерей следующим образом:

...я всегда говорю и всем, и везде, что пока есть память о наших сыновьях, они, можно считать, что живы. Как только память будет забыта, все, – значит они погибли на самом деле. А на сегодня есть кто-то, кто помнит и продолжает их дело. И моя жизнь была посвящена этому... и вот, [ветераны-афганцы] меня зовут «мама Света», и я горжусь этим. И считаю, ну, что жизнь моя не зря прожита².

Несмотря на всю предсказуемость подобной риторики, акцент на памяти и семейных связях в работе Комитета солдатских матерей (далее – КСМ) довольно нетипичен. Благодаря деятельности ряда региональных отделений, прежде всего в Москве и Петербурге, Комитеты приобрели устойчивую репутацию оппозиции сложившемуся политическому режиму. Многочисленные публикации в прессе и репортажи на телевидении сделали из Матерей «опознавательный» знак «антиармейской направленности», своеобразную визитную карточку, четко фиксирующую категории их социального и дискурсивного существования³. Во многом следуя именно этому стереотипу, депутат Госдумы Виктор Алкснис заявил недавно радиостанции «Эхо Москвы» о подготовке официальных

депутатских запросов в Генпрокуратуру и Министерство юстиции с просьбой проверить деятельность Союза комитетов солдатских матерей. Как пояснял депутат:

Мой запрос и протокольное поручение связаны с тем, что уже на протяжении по крайней мере десяти лет в России осуществляет активную деятельность организация, которая финансируется на западные деньги... Учитывая, что организация ведет активную антиармейскую кампанию, я могу утверждать, что Комитет солдатских матерей выполняет политический заказ тех, кто дает им деньги... Никакого отношения к солдатским матерям эти женщины не имеют, это профессиональные политические работники, которые получают зарплату, содержат сотни офисов по всей России, осуществляют активную пропагандистскую, издательскую деятельность⁴.

Политика репрезентации, озвученная Алкснисом, состоит из двух основных шагов. Сначала действия Матерей – точнее их идентичность – подвергаются тотальной политизации («это профессиональные политические работники»), а затем эта уже «сугубо» политическая деятельность/идентичность поляризуется в контексте дискуссии о патриотизме. В итоге спектр возможных позиций ограничивается вполне предсказуемой цепью утверждений: «антиармейская» направленность Матерей становится синонимичной направленности «антироссийской», а потому «прозападной» и/или «прочеченской». Показательно, что политика в данном случае понимается прежде всего как отношение индивида и государства. Вопрос о том, что политическая деятельность может быть следствием синхронизации индивидуальных интересов, здесь не предполагается в принципе.

В рамках данной статьи мне бы хотелось расширить репертуар дискурсивных средств репрезентации солдатских матерей. Продолжая тему памяти, обозначенную С. Павлюковой, я хочу привлечь внимание к тем аспектам деятельности этой организации, которые традиционно остаются вне поля зрения исследователей.

И хотя речь также пойдет о политике, интересоваться меня будет не столько непосредственная (или даже опосредованная) *мотивация* деятельности Матерей, сколько *практики* формирования поля коллективных отношений, благодаря которым их политическая деятельность, собственно, и становится возможной. В фокусе моего

внимания, иными словами, будет не вопрос о том, *почему* Матери выбирают ту или иную политическую позицию или форму деятельности, но проблема, *как* они это делают.

В статье я постараюсь показать, как практики перевода личной человеческой утраты на язык публичных ритуалов, коммуникационных обменов и ежедневной рутины, т. е. *материализация* памяти, – стали для Матерей и механизмом производства новых групповых/индивидуальных идентичностей, и принципиальным способом конструирования нового публичного пространства. Безусловно, само возникновение таких ритуальных стратегий может восприниматься в качестве отражения общего процесса деполитизации современной российской провинции⁵. Я бы хотел, однако, предложить несколько иную интерпретацию. На мой взгляд, в «работе скорби» Матерей можно видеть исторический пример того, что Ханна Арендт называла «*политикой жалости*»⁶, т. е. пример реализации публичной идентичности, которая строится на основе и поддерживается при помощи одного и того же механизма – механизма координации аффекта и опыта страданий.

Эффект взаимности и признания достигается в данном случае в процессе «слияния (fusion) силы аффекта с доступными (prescribed) средствами общения»⁷. Провозглашенное самоописание этой группы женщин – «*солдатские матери*» – изначально метонимически обозначило их социальную идентичность. Со временем эта метонимия превратилась в метафору, в мощный символический код, сплавивший воедино «политическое» и «частное»⁸.

Материалами для статьи послужат интервью с работницами Комитетов солдатских матерей и архивные документы, которые мне удалось собрать в Барнауле (Алтайский край) в течение 2001–2002 годов⁹. Внимание к деятельности провинциального КСМ, на мой взгляд, дает возможность несколько иначе взглянуть как на роль и функции Комитета в жизни Матерей, так и на роль памяти в формировании политической идентичности и политического участия. Относительно низкий образовательный и профессиональный уровень участниц, их удаленность от центров политической жизни, отсутствие навыков поиска «спонсорских» средств, – все это в значительной степени ограничило и продолжает ограничивать социальные и политические возможности Матерей в Барнауле. В свою очередь, экономическая стагнация в Алтайском крае (по уровню дотаций из федерального центра Алтай уступает в России только Дагестану)¹⁰ и отсутствие потенциальных

источников благотворительности во многом усугубляют финансовую и политическую подчиненность неправительственных организаций краевым и городским административным структурам. Зависимость от местных институтов и политического климата, иными словами, становится тем базовым условием, тем изначальным контекстом, пределы которого определяют направление и содержание стратегий публичного существования.

Статья является частью более широкого проекта. В ее рамках я постараюсь ответить на два основных вопроса. Первый вопрос связан со *структурными* особенностями движения Матерей, и может быть сформулирован в следующей форме: «Как, с помощью каких социальных механизмов, участницы КСМ смогли создать жизнеспособную организацию в условиях отсутствия идеологической, политической, социальной и т. п. поддержки?» Иначе говоря: «Каким образом данная группа находит/создает для себя место в сложившемся социально-политическом пространстве?» Второй вопрос касается *психоаналитической* динамики травмы, которую пережили Матери. С помощью каких практик и процессов травматический опыт Матерей вписывается в структуру их повседневной жизни. Каким образом символизируется потеря сыновей? Как «нормализуется» эта утрата?

«Сына Сашу хоть немного, но увековечили»

Разумеется, сегодняшние военные потери не являются чем-то необычным в российской истории. Принципиально иным в наши дни предстает социально-политический и культурный контекст, в котором эти потери осмысляются. Несмотря на то, что смерти в армии в официально «мирное время» стали результатом соответствующей государственной политики, эти потери не сопровождаются какой бы то ни было оправдательной идеологической риторикой, столь типичной, например, для репрезентации павших на фронтах Великой Отечественной войны¹¹. Отсутствие «официальной» или «общепринятой» интерпретации последствий организованного насилия породило специфическую культурно-политическую ситуацию. Публичная символизация армейских потерь последних двух десятилетий, конструирование семиотического контекста, способного придать гибели солдат социальную и личностную значимость, стали продуктом деятельности самих Матерей.

Однако нежелание/невозможность алтайских Матерей использовать в

своей риторике политические метафоры привели к тому, что потери близких артикулируются прежде всего в терминах индивидуальных биографий и персонифицированных эмоциональных событий. В процессе этой символической доместики травмы традиционный дискурсивный поиск виновного трансформировался в набор мемориальных ритуалов. Традиционные вопросы «Кто виноват?» и «Кто за это ответит?» постепенно были вытеснены вопросом «Как мы будем их помнить?».

Приведу показательный пример. Начиная с 1991 года, Матери, совместно с организацией ветеранов-афганцев, практически ежегодно проводят митинги памяти в самом центре Барнаула. Нередко они приурочены к 1 июня, Международному дню защиты детей¹². Опишем один из таких митингов, 1 июня 1996 года организаторы мероприятия пригнали на площадь бронетранспортер, который использовали в качестве сцены. На фоне большого панно, изображающего православные церкви, перечеркнутые приветствием «Здравствуй, мама!», многочисленные выступавшие говорили о погибших в Чечне и Абхазии. Однако в их речах гибель солдат была лишена сколько-нибудь очевидного политического контекста. Ветеран афганской войны Николай Шуба, занимавший пост представителя Президента РФ на Алтае, в своем выступлении, например, призвал воздержаться от быстрых выводов о причинах потерь. По словам политика:

Самое главное для нас – это память... И сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свой гражданский долг в Чечне и Абхазии... И не надо сегодня давать никаких политических оценок. Мы даем сегодня человеческое отношение к тому, что сделано этими людьми... Разные есть политические оценки, но все-таки мы сделали на Алтае все, что смогли сделать для [памяти] этих людей.

Светлана Павлюкова, сменившая ветерана у микрофона, также постаралась избежать политизации солдатских смертей, сместив акцент на семейную риторику: «Сегодня в нашей большой семье, которая состояла из ребят-афганцев – а это около 4 тысяч человек – и семей воинов, погибших в Афганистане (144 человека), еще прибавилась семья воинов, погибших в Чечне и воевавших в Чечне. Это 76 человек погибших и около 2 тысяч человек, которые прошли эту войну...»¹³ Поблагодарив «афганцев» и краевую администрацию за помощь в создании *Дома ветеранов*, Павлюкова перешла к основной части митинга – к открытию памятных

досок с именами погибших в Чечне, Таджикистане и Абхазии. Мероприятие быстро переросло в эмоциональное поминание павших, состоящее из плача, стонов и причитаний матерей и остальных участников митинга.

Этот пример во многом отражает общий настрой Матерей. Вопросы о политической ответственности властей – как, например, и тема материальной компенсации – оказались здесь в тени других эмоциональных форм символизации утраты. В отличие от столичных комитетов, Алтайский КСМ за все время своего существования не инициировал ни одного судебного случая против военных или гражданских властей¹⁴. В алтайском Комитете нет ни одного профессионального юриста, психолога или социального работника. Его основной актив – матери, чьи сыновья погибли во время службы в армии.

Во многом подобное стремление избежать политизации проблемы гибели солдат есть следствие определенной социальной и дискурсивной ситуации. Символизация горя в данном случае оказывается ограниченной двумя противоречивыми обстоятельствами. Государство, политика которого и привела к гибели сыновей, одновременно оказывается институтом, осуществляющим жизненно важную поддержку Матерей. Контекстуализация травмы, таким образом, превращается в сложный процесс сочетания «публичной» политики и «частных» чувств. Материализация памяти действует как социально приемлемый способ демонстрации институциональной и индивидуальной/семейной лояльности в постсоветском провинциальном российском городе, не имеющем ни устойчивых традиций гражданского общества, ни развитой сети институтов социальной помощи, ни действенного и независимого общественного мнения.

Принципиальным в этих попытках Матерей строить свою жизнь после потери близких в соответствии с определенными дискурсами стало не столько желание найти веские причины, способные оправдать смерть сыновей, сколько стремление примириться с фактом смерти. Ритуалы памяти – как и действия по материализации памяти – оказались своеобразным социальным, политическим и символическим решением, позволившим тематизировать утрату «не по отношению к смерти *ради* какой-то цели, но по отношению к самой смерти»¹⁵. Именно в ходе этого привыкания к жизни с травмой и сложилось сообщество утраты.

Несмотря на всю свою специфичность, подобная ситуация, к сожалению, вряд ли уникальна. Но по крайней мере два момента отличают

алтайских Матерей от сходных политических движений матерей в Аргентине или Никарагуа¹⁶. Первый момент связан с тем, что Славой Жижек называет «позитивизацией утраты»¹⁷, т. е. с превращением негативного опыта в тот или иной вид положительной деятельности. Утрата становится исходной точкой, основным мотивирующим принципом, основным «сюжетным приемом» всей последующей деятельности.

Второй момент сопряжен с особенностями групповой и индивидуальной идентичности, возникшими в процессе формирования сообщества утраты. Утрата в данном случае не может быть преодолена без одновременной потери того основного принципа, на котором возникло данное сообщество¹⁸. Постоянная репрезентация утраты выполняет здесь двойную функцию. Во-первых, она становится тем (позитивным) символическим орудием, с помощью которого данное сообщество конституирует себя, т. е. обозначает и поддерживает свои границы в публичной сфере. Это неустанное воспроизводство утраты, однако, не сводится к демаркации (для внешних наблюдателей) пределов публичного существования данной группы. Воспроизводство утраты («память о погибших») также является и основной формой (внутреннего) существования данного сообщества.

На практике позитивизация утраты проявилась в деятельности Матерей прежде всего как непреходящее стремление зафиксировать, обозначить, увековечить имена погибших и, тем самым, собственное отношение к этим смертям. В 1991 году вместе с организацией ветеранов Афганской войны Алтайский КСМ открыл в центре Барнаула Дом ветеранов и Мемориал, посвященный погибшим в Афганской войне. В 1992-м совместно с ветеранами-афганцами и местными журналистами КСМ подготовил к печати и издал первую Книгу Памяти «Сыны Алтая», содержащую фотографии и краткие биографии 144 солдат Алтайского края, погибших в Афганистане. В 1994 году КСМ и ветераны-афганцы осуществили перезахоронение останков воинов-интернационалистов на специально созданной Аллее Славы на одном из кладбищ Барнаула. В 1996 году КСМ, ветераны-афганцы и участники событий в Чечне установили на Доме ветеранов мемориальные доски с именами солдат, погибших в горячих точках. В 1999 году была опубликована еще одна Книга Памяти «Мы ждали вас, сыновья...», посвященная павшим в Чечне. В начале 2000-х были открыты новые мемориальные доски, и в настоящее время готовятся к публикации еще несколько аналогичных Книг Памяти.

Во многом подобное стремление к увековечиванию погибших, к объективизации утраты в памятниках и ритуалах понятно и объяснимо. Как отмечал американский философ Стэнли Кавелл, «составной частью исследования социальных страданий обязательно должно стать исследование молчания со стороны общества, которым эти страдания окружены»¹⁹. Собственно, Союз комитетов солдатских матерей России, возникший в конце 1980-х годов, был определенной реакцией на молчание со стороны общества. Постоянным лозунгом газеты фонда «Право Матери», например, стала фраза: «Информация объединяет родителей погибших солдат»²⁰.

В сходных условиях формировался и Алтайский КСМ. С. Павлюкова рассказывала, как в 1989 году она решила собрать матерей солдат, павших в Афганистане: «Вот этот слет матерей в 89 году, он был очень нужен потому, что война прошла десять лет как. И десять лет люди были как бы забытые. Ну, то есть каждый по своему углу сидел. И вдруг их собрали, и столько им рассказали об их правах, о том, что вообще есть такие же люди. Что есть горе...»²¹.

Именно тема горя, которое не было высказано, именно тема боли, с которой «каждый сидел в своем углу», действует как основной структурирующий принцип, основной сюжетный «прием» в деятельности Матерей. Возможность выразить свою боль, точнее – возможность выразить свою боль *публично* порождает мощный эффект солидарности, который, в свою очередь, институционализируется в виде «аффективного анклава», в виде «сообщества боли»²². Как отмечает греческий антрополог Надя Сереметакис, анклавы такого рода действуют как «ценностно-заряженная (value-charged) позиция, с которой женщины апеллируют к общественному порядку»²³.

Публичное исполнение ритуалов поминовения, как правило, порождает проявление массовой поддержки и сочувствия со стороны тех, кто не испытал подобных утрат, и тем самым позволяет сконструировать то, что в антропологии традиционно определяется как «хорошая смерть» («good death»), т. е. смерть в присутствии свидетелей, смерть, избежавшая забвения²⁴. Одна из Матерей в своем письме отразила это стремление к замене утраты на символ: «[Сына] Сашу хоть немного, но увековечили. Его именем названа наша улица»²⁵.

Показательно, что конструирование «хорошей смерти» реализуется Матерями в процессе обмена опытом страданий: индивидуальная боль превращается в коллективную память, которая затем материализуется в

виде амальгамы предметов, мест и ритуалов, в виде «материальных мест аффективного опыта»²⁶. Екатерина М., активная участница отделения Алтайского КСМ, связанного преимущественно с неуставными отношениями в армии, объясняла мне, как потратила несколько месяцев на то, чтобы добиться от властей помощи в установке памятника на могиле сына, согласно официальным документам, «утонувшего» во время службы в армии:

...тут, приходит мне бумажка, комитет [солдатских матерей] только-только начинал организовываться и мне извещение, как бы, пришло, чтобы я пришла сюда на конференцию. Я опешила, что там за конференция в общем, но пошла. Пошли мы вместе с мужем на конференцию, пришли. А чего, там каждая мать высказывает свою боль: как погиб ее сын, как что... Я посидела, слезы у нас там сильно у всех были: эту всю боль выслушать, у кого как погиб, как похоронили. Очень тяжело. Ну, мы все навзрыд, конечно рыдали. Вот. Ну, и после этого я стала сюда, вот, иногда приходить. Ну, как-то пришла, а Ольга Петровна, уже председателем ее избрали на этой конференции, вот. Пришла, она говорит: «Вот комнату бы Памяти нам сделать, вот, комнату бы Памяти». А у меня сын рисует, вот, старший-то, у меня их трое. Младшему сейчас 21 год, он в армии не был. У него селезенки нет, в общем. И не положено ему служить, так как один погиб в армии. Если кто-то погиб, вот, следующих не берут в армию, вот. Две причины у него, в общем. Ну, и все. Я сюда приду, сяду, посижу. Здесь как раз Чечня эта началась, тут аврал такой. Я сяду в сторонке, посижу... А потом Петровна говорит, что надо комнату Памяти. Я пришла домой, сыну говорю, так и так, ты уж хоть что-то нарисуешь? Он: «Ну, ладно». Я пришла и здесь Ольге-то пообещала. Говорю: «Все, у меня сын пообещал нарисовать». А как? Что? А раз я слово дала, я должна выполнять. И началось у меня с этого (смеется), вот это моя комната и оформление этой комнаты. Я за сына – сын не знает, я давай на работе к художнику подходить... И вот художник у меня на работе вот этот план-то и предложил... Вот эти, вот, иконы... этого Николая Угодника. Потом, вот эта, вот: Георгий Победоносец. Он защищает армию, вот. Ну, и здесь еще одна икона была – Матери Пресвятой Богородицы... Муж заказал эти, вот, речки все, где-то у себя там на работе. Стенд тоже, может,

за бутылку или за две ли сделал, этот, вот, стенд... Привезли к себе домой, и они у нас дома простояли где-то полгода, наверное, в квартире, потому что здесь и ремонта не было, и в общем, здесь еще, ну, ничего не было у нас. А эта комната... здесь какие-то коммерсанты были. Потом Ольга Петровна все же выбила эту комнату нам, вот. Здесь надо было делать и ремонт, и все тут делать надо было.... Вот придешь, посидишь, вот, как сегодня, я пришла, посидела. Ну, какую-то работу сделаешь. Фотографии, вот, эти, вот, давай делать, портреты. Этот художник мне сказал: «Какие портреты, какого формата делать?». Я пошла по городу искать – кто возьмется нам эти портреты делать. <...> [Остальные работники Комитета] они вот прием ведут там, с живыми работают, а я-то в основном вот так вот, с мертвыми работаю. Фотографии делаю... ну сейчас уже мало портретов, так...²⁷

Я бы хотел подчеркнуть дискурсивную траекторию выражения утраты в данном интервью. Социальная изоляция («молчание со стороны общества») преодолевается прежде всего путем артикуляции боли. Однако скорбь, воспроизведенная в многочисленных рассказах матерей («каждая мать высказывает свою боль»), при этом не становится общественной проблемой. Утрата локализуется — прежде всего пространственно: в виде *Комнаты* памяти, в виде аллеи могил, в виде Дома ветеранов. Создание «микроморального окружения»²⁸ – будь то место скорби или четко очерченное сообщество утраты – приобретает гораздо большее значение, чем идентичность погибших²⁹.

Приведу еще один пример. Светлана Павлюкова объясняла в интервью, что идея перезахоронения останков солдат пришла к ней во время поездки в Минск в начале 1990-х годов; тогда ее поразило то, что «у них все [могилы погибших] объединены». Увиденное стало толчком для собственных действий:

...В то время ж все прятали. Захоронили [погибших] не на самой аллее... не в самом центре, а совсем в другой стороне, в глуши. В 80-й год Степанов у нас был похоронен тоже в глуши, в другом конце кладбища, но в глуши. И вот мы их как раз оттуда и взяли... В общем, [сначала] пять человек мы перезахоронили, а Максимова как бы отказалась. Потом, через несколько лет, она видит, что мы все приходим на аллею, а ее сын как бы остается в

стороне. Потому что, ну, каждый раз туда не побежишь... Ну, прибежит Павлюкова, например, а всех ребят туда не зазовешь. И они поняли, насколько это хорошо, когда, вот, чувствуют ребят, и тоже перезахоронили. И Басенков у нас был с Очкиным рядом, но он – с отцом похоронен. И мама его все не хотела, а потом она все-таки тоже захотела, чтобы ее сына как бы видели... И вот... аллея теперь у нас... на этой аллее работали все ребята, военно-патриотические клубы и родители. Тут четко у нас было. Огромные клены там и огромная канава. То есть, как за моим [похороненным] сыном, и за всей этой аллеей, там такая огромнейшая канава, всю ее затаскивали землей... <...> 15 февраля у нас обязательно панихида, это обязательно: панихида, посещение кладбища. Ну, мы раньше в Покровский собор ходили на панихиду, а теперь на кладбище же часовня есть, и мы никуда больше не ходим. Придем к часовне, она своя, поставили все свечечки; постояли, никто не застынет совсем, прошлись по всему кладбищу, потом приехали, помянули. Стол накрывается поминальный³⁰.

Эта реорганизация пространства, разумеется, касается прежде всего живых. Перезахоронение создает и упорядочивает сообщество, проводя четкую грань между скорбящими и всеми остальными³¹. Показательно, как в ходе этих пространственных изменений радикальным образом меняется их конфигурация: «из глуши – в центр». Обозначая сообщество утраты, похоронные ритуалы, тем самым связывают воедино реконфигурацию пейзажа и реконфигурацию общества³².

Американский антрополог Катерина Вердери в своей работе о постсоциалистических перезахоронениях отмечала, что такая реконфигурация посттравматического (и постсоциалистического) пейзажа нередко становится основой, первой ступенью более широкого процесса «реорганизации морали», превращения нового материального порядка в моральное основание новой жизни, в которой тела погибших становятся молчаливым призывом к возмездию и справедливости³³.

Подобные трансформации, безусловно, не только возможны, но и известны в российской истории. Имена павших нередко становились последним доводом в требовании осуждения преступлений власти – и в докладе Н.С. Хрущева на XX съезде партии, и в сегодняшней деятельности общества «Мемориал»³⁴. Я бы хотел обратить внимание на

противоположную тенденцию в деятельности Матерей. Тенденцию, которая позволяет усомниться в универсальности принципа перехода от процесса скорби к процессу строительства новых моральных оснований. Политика, направленная на «подведение счетов» ответственности³⁵, может быть эффективно блокирована «политикой жалости»³⁶, коренящейся в действенном желании сохранить эмоциональную «верность ранам»³⁷. Осознанно или неосознанно «привнося структуру страсти в публичное пространство»³⁸, Матери создали институциональный и культурный контекст, в котором их социальный *статус* стал итогом общественного признания их *утраты*.

Активное стремление Матерей к реорганизации публичного пространства, связанного с погибшими сыновьями, во многом может быть интерпретировано как попытка вернуть себе контроль над ситуацией, в которой до сих пор единственно доступной для них ролью была роль пассивного наблюдателя³⁹. Однако именно это участие Матерей в ритуалах реорганизации материального мира, призванных репрезентировать погибших, и приводит к тому, что утрата возводится в статус основного интегративного принципа, основного организующего начала, «вокруг которого, – как отмечал в сходном случае Славой Жижек, – и структурируется здание социума (social edifice)»⁴⁰. Формирование социально-пространственной связи между погибшими («Аллея Славы») воспроизводится на уровне организации самих Матерей. Трансформация публичного пространства (кладбище) в процессе перезахоронения останков солдат завершается созданием в буквальном смысле «своего места» (часовни) для Матерей. Новая структура публичного пространства определяет и логику поведения сообщества («придем к часовне», «поставили все свечечки», «постояли», «прошлись по кладбищу», «потом приехали, помянули»). Собственно, благодаря этой топографии смерти, благодаря этому переплетению мира семейных отношений, мира политики и мира вне пределов досягаемости и возникает новая идентичность, неоднократно обозначенная самими Матерями, как «*мать солдата, которого нет в живых*».

Герменевтика боли

Особенности объективизации «воображаемого сообщества» Матерей важны не только тем, что они акцентируют роль материальных объектов в

процессе формирования коллективной памяти. Существенным является и то, как Матери модифицируют сложившиеся традиции использования страданий в политике. Напомню, что в своей работе «О революции» Ханна Арендт привлекла внимание к тому, что со времен Великой французской революции тезис о «страданиях народа» был основной движущей силой публичной политики. Обычно апелляции к чужим страданиям вызывают два вида реакции: *сострадание* (т. е. способность «заразиться чужой болью») и *жалость* (т. е. то обобщенное чувство, которое заполняет дистанцию между страдающими, с одной стороны, и «сообществом, проявляющим интерес к угнетенным и эксплуатируемым», с другой). По замечанию Арендт, сострадание, коренящееся в произвольности реакции, удивительно немногословно, в отличие от «красноречия жалости», способного увлечь широкую аудиторию своим прославлением чужих страданий.

В этой дискуссии о роли эмоций в политике для меня важны два момента. Первый связан с *сентиментальным* характером жалости и типичным для этой эмоции стремлением к обобщению ее собственного источника: «обездоленные», «униженные» и «неимущие» становятся социальной категорией, социальным типом, лишенным индивидуальных особенностей. Второй момент касается *репрезентационного*, представительского аспекта жалости и той *дистанции*, которая устанавливается в процессе дифференциации между теми, кто страдает, и теми, кто осуществляет политику жалости. Как заключает Арендт, «без несчастий и неудач жалость не могла бы существовать; поэтому она заинтересована в наличии несчастных точно так же, как и жажда власти заинтересована в существовании слабых».

Однако, в отличие от *les hommes faibles*, чья обездоленность собственно и стала оправданием радикализма французской революции⁴¹, солдатские Матери вряд ли являются *объектом* внешней эмоциональной политики, вдохновленной их собственной болью. Репрезентации боли, опыт страданий и попытки сформулировать и сформировать для себя новую социальную позицию оказались в данном случае слитыми воедино. Опираясь на собственный опыт утраты, Матери *сами* используют политику жалости для конструирования узнаваемой политической идентичности в ситуации, когда традиционные способы идентификации, модели политической репрезентации и формы социального обмена недоступны или неэффективны.

Традиционное деление на тех, кто страдает, и тех, кто сочувствует, характерное для политики жалости, также присутствует в деятельности

Матерей. Но это деление приобрело иное авторство и иную функцию. Алтайские Матери, формируя в процессе артикуляции травматического опыта свои эмоциональные сети, оказались не в состоянии использовать риторику в качестве своего «ненасильственного оружия, способного поразить сознание общественности»⁴², как это сделали, например, аргентинские Матери с площади Пласа-де-Майо, публично обличавшие политические похищения, практиковавшиеся аргентинской хунтой. Вместо этого установка Матерей на всеобщность и взаимность страданий стала главной объединяющей идеей и основным критерием исключения чужих. Внешнее сообщество превратилось в объект проективной идентификации, в «экстериоризацию внутреннего» мира⁴³. В основу отношений с другими легло стремление обнаружить отражение собственного (травматического) опыта в жизни чужих людей⁴⁴.

Татьяна М., активная участница КСМ, вспоминала о том, как этот диалог эмоций осуществлялся на практике в начале ее работы в Комитете:

...Однажды получилось так, что Ольга Петровна говорит мне: «Садись, Татьянка, принимай». Вот ее слова были. Приходят, там, родители военнослужащих, таких же погибших, или по призыву родители приходили. Ну, мало ли какие причины у родителей? А я говорю: «А что же я буду делать, Ольга Петровна?»... Я работала вообще в детском садике, с людьми работала. Вот, а здесь постоянно горе, поэтому... Она мне: «Садись за стол. Мама пришла, плачет, и ты с ней плачь». Вот. Ну, и таким образом я начала работу⁴⁵.

В свою очередь, сама Ольга Петровна, чей сын, судя по всему, был убит в армии сослуживцами, описывает раннюю стадию своей деятельности в КСМ так:

...в 91 году мы зарегистрировались, стали общественной организацией. Ну, первым делом, я стала знакомиться с администрацией, я работала тогда в институте проектом, как-то в высших кругах таких не общалась, не вращалась, не знала. Я свои проекты знала, а там для меня было новое все. Я тогда приходила и говорила, что мать погибшего в армии в мирное время. Обычно открывали глаза, говорили: «А разве такие есть?» – «Ребята, конечно, есть. Вы что?» После я организовала альбом, такой альбом, значит, где наши погибшие, где наша боль, в

основном, альбом боли. Портреты там, фотографии отобраны, там все. И стала приходить к администраторам знакомиться, даю портрет, чтобы смотрели, смотрю на реакцию. Если они посмотрели, ну, так, с вниманием, я начинаю дальше разговаривать. Если они просто так листали, я забирала альбом и уходила. Меня обычно спрашивали: «Женщина, а вы зачем приходили?» Я говорила: «А вам не интересно». Вот. И, в общем-то, благодаря этому альбому я, в общем, нашла людей, которые заинтересованы. Не то, что заинтересованы, а помогли. Понимают эту боль, помогают⁴⁶.

Это «эмоциональное прочтение других»⁴⁷, достигнутое посредством сплавления аффекта и носителя информации («альбом боли») нацелено прежде всего на формирование «структуры внимания»⁴⁸, на инициирование эмоционального ответа определенного рода. Взаимность травматического опыта, взаимность страданий становится социальной и эмоциональной основой, на которой и возникает сообщество утраты. Скоординированность эмоциональной реакции разных людей, иными словами, воспринимается как следствие скоординированности их личного опыта.

Инвестиции Матерей в постоянное производство «ценностно-заряженных» субъектных позиций, как и их участие в интенсивной циркуляции эмоций, которую предполагают эти субъектные позиции, естественно, имеют свою цену. Вэнди Браун, американский политолог-феминист, отмечала в сходной ситуации, что политизация идентичности, превращение идентичности в форму политического участия возможно лишь ценой постоянной драматизации своей боли. Присутствие в поле политических отношений становится в данном случае производным от постоянного «вписывания своей боли в политику». Как отмечает политолог, такая идентичность не заинтересована в будущем – своем или чужом, – в котором «эта боль успешно преодолена»⁴⁹.

Формирование эмоциональных сетей вокруг персональных историй о травматическом опыте зачастую приводит к тому, что «внешнее окружение» начинает восприниматься лишь постольку, поскольку оно способно служить «отражением» утраты, способно вступить в эмоциональный обмен. Такая «политика жалости», направленная на сохранение и постоянную поддержку эмоциональной связи с травматическим и травмирующим опытом в итоге стирает грань между

состраданием и собственно страданием. Соответственно, и отсутствие внимания к себе со стороны общества, точнее, участия в чужой судьбе («не то, что заинтересованы, а помогли»), Матери часто склонны воспринимать как неспособность людей «услышать их боль», как нежелание «отразить» спроецированную на них скорбь, как отказ поставить себя на место Матерей.

Например, С. Павлюкова жаловалась в интервью со мной на то, что матери потенциальных призывников не выражают никакого желания участвовать во встречах с военными, которые КСМ периодически проводит для них:

...вот, Комитет солдатских матерей собирал в Театре оперетты всех матерей, у кого как бы будут будущие солдаты. И почти не пришло народу, очень мало пришло. Хотя приехали с воинских частей, даже вот, с той же Читы, с Владивостока приехали с частей командеры, а оказалось, что?.. Ну, ни к чему все это было. Люди не пришли. Они думают, что сегодня твоего же сына в Чечню берут, а не моего. А в конце-то концов это – наша единая боль. Сегодня он маленький, а война-то длится, мама родная, долго. И поэтому в результате получается, что даже наши внуки могут пойти. Сегодня моему внуку 14 лет, и я, ну, даже, может быть, даже не сомневаюсь, что может случиться так, что мой внук пойдет в Афган. Вы понимаете, три года, вот, четыре пройдет, незаметно вот так пролетит. И кто знает, что сегодня с Афганом у нас случиться?..⁵⁰ Сегодня наши идут сыновья, завтра внуки пойдут. Вот, все... вот этот мир у нас... нет мира у нас никак. И вот это страшно...⁵¹

Когда я попытался узнать у Павлюковой, зачем нужно «идти» на войну, будь то «Афган» или Чечня, и какие именно ценности мы там отстаиваем, она смутилась. С трудом подбирая слова, она отрывисто произнесла серию коротких фраз: «Да, вот... как бы... сказать это? Как бы выразиться-то? Чего-то у нас нет. Раньше мы за что-то были... Да, ну... нет какого-то идеала, ради чего мы живем. Ну, я, в общем-то, знаете, я патриот своей Родины. Ну, и для меня Россия все равно остается Родиной». Это апелляция к патриотизму как последнему и самодостаточному аргументу показательна. Отсутствие жизненных идеалов и невозможность оправдать смерти сыновей дискурсивно трансформируются в термины национальной принадлежности, точнее – в термины национального пространства,

которое «все равно остается Родиной».

Подведу предварительный итог. Сложность *герменевтики боли*, активно практикуемой Матерями, проблематичность их социальной организации, основанной на «смещении» и «сплавлении» аффекта и доступных средств общения, заключаются прежде всего в том, что такая политика жалости делает неприемлемыми публичные попытки проанализировать как источник страданий, так и причины, ведущие к постоянному воспроизводству утраты. Вокализация боли и обмен мнениями о потенциальных источниках этой боли оказываются социально, географически и дискурсивно изолированными. Основной целью диалогической циркуляции эмоций становится не информационный обмен, но стремление сформировать пространство для эмоционального соучастия⁵² в ситуации социальной поляризации по поводу причин, вызвавших личные травмы. Став эффективным тактическим средством в условиях отсутствия стратегической политической цели, политика жалости в целом и *герменевтика боли* в частности выступили мощным механизмом формирования индивидуальной и коллективной идентичности.

Метонимии утраты

Как я уже отмечал, установка Матерей на диалогизм боли и взаимность репертуара аффективных форм дает им возможность сформировать эффективную сеть социальных и эмоциональных отношений в ситуации, когда другие формы публичной саморепрезентации либо недоступны, либо невозможны. Такой акцент на эмоциональной составляющей политизации индивидуального травматического опыта, однако, требует дополнительной поддержки со стороны материальных артефактов, способных зафиксировать, объективировать, подтвердить понесенную утрату и материализовать характер эмоциональных социальных обменов. Активное участие Матерей в создании Мемориала воинам, погибшим в «локальных войнах», издание Книг памяти, открытие памятных досок и т. п. – все это может быть интерпретировано как часть общего стремления не столько «возместить» потерю сына, сколько материализовать ее следы.

И хотя многочисленные ритуалы и митинги, организованные Матерями в Барнауле, безусловно, являются важным компонентом их деятельности, мне бы хотелось обратить внимание на иной, гораздо менее

публичный опыт материализации потери, на опыт встраивания травмы в стилистику повседневной жизни. Внимание к подобным процессам, на мой взгляд, особенно важно для понимания того, как люди, испытавшие травму, находят с ней, так сказать, «общий язык» без какой бы то ни было помощи со стороны социальных или психотерапевтических служб. Иными словами, вопрос, который волнует меня в данной ситуации, касается того, как «нормализуется» травма.

Как я попытаюсь показать ниже, недоступность дискурса о гражданских правах или политической ответственности и неспособность/нежелание полагаться на терапевтический дискурс социальной помощи и реабилитации для артикуляции собственного травматического опыта нередко приводит Матерей к активизации дискурса о памяти. Утраты Матерей, спровоцированные государством, инкорпорируются в повседневную жизнь посредством активации «функции объектализации», как ее называет французский психоаналитик Андрэ Грин⁵³. С помощью смысловых нагрузок⁵⁴ и психических восполнений⁵⁵ Матери «вписывают» утрату в персонализированные материальные объекты, тем самым поддерживая уже сложившийся порядок *вещей* и одновременно формируя «длящуюся связь» с погибшими⁵⁶.

Память в данном случае действует не столько как «способ переоценки смысла прошедшего»⁵⁷, сколько как процесс включения прошлых травм в повседневные практики настоящего. В качестве одного примера процитирую письмо, адресованное С. Павлюковой. Автор письма – мать, сын которой, как и сын Павлюковой, погиб в конце 1980-х в Афганистане. Письмо хранится в Алтайском краевом музее локальных войн, не имеет даты, но ориентировочно относится к 1990–1992 годам (орфография и пунктуация оригинала переданы без изменений):

Добрый день моя милая Светлана Григорьевна и Григорий Герасимович большой привет сыну с семьей. А так-же примите большой привет от меня и от моей семьи. Владимира Игнатьевича Сережи и Ларисы. И все мы вам желаем только хорошее, плохое пусть уйдет далеко от вашего дома. Как вы поживаете мои хорошие. Как ваше здоровье. Светлана мы живем помаленьку, поплачу и опять живу. Жить надо ради памяти наших милых сыновей. Светлана милая моя [ваш сын] Костя в нашей семье вечно живой и живет вместе с нашим сыном. Вечером я их укладываю спать всех своих сыночков, а утром поднимаю и

целый день живу памятью о их. Их прилетело со всего Союза 20 чел. в мое теплое гнездышко. Их мы должны помнить всех по имени. Это они заслужили. Проявив стойкость и мужество. Я часто задаю себе один вопрос?

Почему все не так?
Вроде все, как всегда...
Тоже небо, опять голубое.
Тот-же лес, тот-же воздух
И та-же вода. Только они
наши милые ребята не вернулись из боя.

Но так устроена жизнь. Светлана получила квартиру от военкомата 50 %. Въезжать будем к 7 ноября. Милости прошу в гости ко мне. Светлана я очень прошу пришлите мне фото Кости. У меня есть но очень маленькое. Я делаю альбом «Память ребятам отдавшим жизнь за свободу Афганистана». И на тумбочку тоже надо мне Костю. Всех я поставлю на тумбочку в рамочки, а кругом цветы. Кварт, на 9 эт. в 12-и этажном доме в центре Омска. 2х коми. 32 кв. м. Лариса учится на втором курсе в училище. 2 месяца отрабатывала практику в Краснодарском крае убрали овощи и фрукты. Приехала 29 августа. Пишите как вы живете. Как ваши внуки. Пишет-нет вам письма Любушка. Будете ей писать письмо, большой материнский привет ей передайте от меня. Напишите, что Костю и ее помнят и знают и ждут в гости в г. Омске на Иртыше. Светлана милая моя береги себя. Меньше плачь. Лишний прожитый день, это лучшая память для наших ребят. Это мы лишний цветок посадим и унесем на могилку нашим дорогим сыночкам. Очень тяжело, слов нет. Но жить надо. Стиснув зубы от боли жить, жить, жить. Жить памятью наших детей. Досвидания мои милые. Крепко обнимаю и жду ответа.

С уважением Любовь Ивановна. Г. Омск⁵⁸.

Это письмо – безусловно не исключение в коллекции музея, насчитывающей более 200 посланий матерей. В большинстве из них тема утраты и боли постоянно переплетается с темой повседневных событий, с описанием новых квартир, телевизоров, холодильников, урожаев картошки,

болезней или погоды. Травматический опыт в этих письмах постоянно пульсирует – то уходя в тень, то проявляясь в качестве основной темы. Локализовавшись во множестве материальных вещей, травма оказывается тем не менее «разбитой» на многочисленные объекты привязанности.

Подобная стратегия нормализации утраты – путем ее локализации и фрагментации – однако не должна скрывать и еще одного важного механизма, с помощью которого артикулируется и позитивируется потеря. Речь идет о серии социальных обменов, обозначенных в письме (квартира, фотографии, визиты, цветы); обменов, которые инициированы утратой. Травма обретает форму циркуляции эмоций, носителем которых становятся материальные объекты.

В отличие от многочисленных исследований, указывающих на то, что травматический опыт обычно становится объектом активного психического и дискурсивного цензурирования и вытеснения, превращаясь в итоге в «темное пятно», в опыт, который сопротивляется символизации⁵⁹, в данном случае травма действует как основной структурирующий механизм текста, как основной нарративный прием, который, собственно, и сводит воедино разорванную историю. Утрата – не вытесненная, но и не восполненная – перенесена здесь в иную плоскость. Обмены в данном случае не связаны напрямую с компенсацией, т. е. с определением «правильного» материального эквивалента, способного либо «оправдать» смерть, либо репрезентировать ее. Скорее, обмены, т. е. постоянная циркуляция эмоций, дискурсов и предметов, выполняют тут роль «способа символизации, который одновременно и экономичен, и значим»⁶⁰, формируя в итоге цепь актов публичного признания утраты. Приведу еще один пример из той же самой коллекции писем. Письмо написано в апреле 1999 года (орфография и пунктуация оригинала переданы без изменений):

Дорогая Светлана Григорьевна... 15 февраля ездили в [районный центр] Ключи поминать своих детей. Там нам дали деньги. Были в церкви, поставили свечи, ездили на кладбище, ходили к памятнику и потом поехали в столовую поминать. А у моего сына были 12 февраля. Приехали с поляны, съездили на кладбище, потом поехали на поляну, там был концерт пели песни про Афганистан. От совхоза дали 2 кг пшена, 1 кг гречки, 1 пачку чая. Вдовы положили цветы на кладбище. Я тоже положила цветы к памятнику в Ключах. На счет лечения у меня ничего не получится. Сейчас огород сажать в мае будем. Пахать огороды. Мне бы так поехать в Ключи, там бы купить лекарство. Я бы дома

пила. Когда с Ключей приезжали в поляну, привозили мне льготные удостоверения, я у них спросила, можно у них в Ключах взять ликарство, они мне сказали один раз в год, и то ево там нет. Вот и все лекарство. Пока ходим, будем ходить, когда не сможем ходить, тогда будим лечица. Я живу с сыном, сын один без жены. А сейчас начнеца пахота, он тракторист. Надо сумки готовить в степ. У меня все. Досвидание.

Жабина 1999,24.04. Ключи.

Слияние символического и материального/экономического в этих обменах (деньги – свечи – столовая – песни – гречка – цветы – лекарства) может быть объяснено и еще одним фактором. Стремление Матерей к общественному *признанию* их травм и страданий нередко реализуется в ситуации, когда собственно достоверное *знание* того, что произошло с их детьми, недостижимо. Во многих случаях Матерям неизвестны обстоятельства гибели сыновей.

В ряде случаев они даже никогда не видели их тел. Как писала в одном из писем мать погибшего: «Нам осталось от сыновей боль, гордость и орден»⁶¹. В этой ситуации доместикация травмы, ее деполитизация и реконтекстуализация в знакомых рамках повседневной жизни становится единственной стратегией символизации, которая имеет смысл.

Сходная стратегия воспроизводства значимых объектов была использована Матерями и еще в одном типе текстов – в сборниках некрологов солдат с Алтая, погибших в Афганистане и Чечне. «*Сыны Алтая*», первая Книга памяти, опубликованная КСМ в 1992 году, содержит 144 биографии с фотографиями солдат с Алтая, которые пали в Афганистане. В определенной степени *Книга* стала текстуальным эквивалентом коллективного захоронения, своеобразной модификацией «братской могилы», избежавшей традиционной участи групповой анонимности. По словам Павлюковой, публикация Книги стимулировала физическую консолидацию останков солдат. Издание нередко используется Матерями в качестве сильного визуального довода в дискуссии с властями. Оно часто упоминается в письмах. Матери и ветераны приносят его на митинги памяти.

Стилистически Книга памяти представляет собой соединение двух основных традиций. Форма во многом повторяет эстетические каноны официальной мемориализации погибших в годы Великой Отечественной войны. Как и в многочисленных буклетах, плакатах и наборах открыток

советских времен, в ней помещаются небольшие стандартные фотографии погибших и их краткие биографии. Но содержание текстов следует иной, менее формальной традиции солдатского («дембельского») альбома, с его вниманием к неофициальной составляющей в армейской жизни солдат⁶². Биографии-некрологи не отличаются разнообразием, их большая часть строится по сходным моделям, например:

Мазурин Сергей Петрович. 18.04.60–10.07.80.

Перед уходом в армию Сергей своими руками сделал колодец: «Это для тебя, мамулька. Будешь воду набирать и вспоминать меня». А еще хранит Александра Ивановна часы, которые купил Сережа с первой полочки, заработанной на каникулах после седьмого класса. Сережа летом не любил бездельничать: то на поливе, то на закладке силоса работал. Домашней работы тоже не стеснялся. После восьми классов поступил в СПТУ-75, получил там специальность тракториста-машиниста широкого профиля.

Новый, 1980 год Сергей встретил в Афганистане. Об этом факте родители узнали только в марте. До этого приходили письма со странными обратными адресами. Последнее письмо пришло в конце июня, в котором Сережа обмолвился, что часть передвигается в сторону пакистанской границы. Следом написал командир части: «Подробностей мы сообщить не можем, нельзя, могу сказать одно: Ваш сын при выполнении боевого задания показал образец мужества и отваги... Личных вещей по ряду обстоятельств не осталось. Фотографию постараемся выслать...». Таковы в те годы были тексты «похоронок».

Младший сержант Мазурин был наводчиков орудия. Места службы – Кабул, Кандагар, Газни. Скончался от потери крови на поле боя.

Похоронен на родине – в селе Веселоярск Рубцовского района.

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно)⁶³.

В этих биографиях, с их стремлением к персонализации текста при минимуме индивидуальных деталей, не содержится ни политических обвинений властям, ни традиционных попыток героизировать смерть солдат. В ситуации, когда «личных вещей не осталось», а «подробностей гибели сообщить нельзя», стремление осознать глубину утраты неизбежно

трансформируется в попытки переоценить то, что сохранилось⁶⁴. Метонимическая логика этих следов утраты («колодец», «часы») в итоге производит двойной эффект. Акцентируя связь погибшего и его близких и родных, метонимии утраты позволяют в значительной степени маргинализировать смерть⁶⁵. Принципиальным здесь оказывается способность «удержать» означающее («след утраты»), четко осознавая при этом, что ни означаемое («смысл утраты»), ни референт («объект утраты») уже никогда не будут доступны.

В отсутствие схемы, способной оказать в постсоветских условиях мифологизирующую или идеологическую поддержку⁶⁶, травма, ставшая последствием государственной политики, репрезентируется в виде обычной, повседневной жизни, которая оказалась насильственно и трагически прерванной. И вряд ли случайным является то, что именно эта частная жизнь, именно этот повседневный порядок вещей становится той моделью, на базе которой и строится гражданская деятельность. Созданное вокруг темы смерти сообщество эмоциональной поддержки становится для многих Матерей единственной нитью, способной вывести их из состояния социальной изоляции. Екатерина М., оформившая комнату Памяти, в интервью так рассказала о своих чувствах:

...Когда мы это все оформили, мы пригласили родителей на открытие нашей комнаты Памяти. И пришел к нам батюшка сюда, батюшка нам вот эту вот икону подарил, Пресвятую Богородицу, Мать Успенья подарил. Освятил нам комнату эту. Ну, и после этого стали к нам родители приходить. Они и до этого к нам ходили, но только после конференции стали к нам родители ходить чаще. Ну, как, ну, не все, конечно, но многие приходят. Вот мать, она дома, не с кем ей помянуть сына, у нее душа заболела, чего-то у нее не хватает, она сюда идет. Она пришла сюда со своим узелочком, там конфет, печенья принесла, ну, бывает иногда и с бутылочкой, конечно, не без этого. Вот мы сядем, по 50 грамм, мы здесь никто не пьем, ну, как Ольга говорит: «Чисто символически, по 50 грамм». Выпьем, помянем, ну, а этого ребенка мы помянули и одновременно всех, вот. Свечки зажгли, постояли, все. И мама вытерла свои слезы и как-то заулыбалась и домой пошла лучше ей, легче, вот... А я, вот, теперь вот этим комитетом и живу. Сюда вот бегу. Если я не пришла, то все... Ну, бывает иной раз, а бывает и два, и три раза прибежишь в неделю, смотря по обстановке: как дома, как это на даче. На даче

отиралась, естественно, сюда реже ходила, сейчас дача кончилась, так чаще сюда бежишь. Скучаю по своим женщинам, по мальчишкам. Придешь, вот как-то пообщаешься с ними и легче. С сыном поговоришь... ну, вроде бы и легче. Свечку поставишь, к стендам подойду, поглажу его [фотографию]. Сразу мне сделали наверх [т. е. повесили фотографию в верхний ряд], ему вверху как бы лучше. Я его сверху сняла пониже, только, чтоб рукой достать до него, сыночка своего.

Столкновение со смертью без поддержки ритуалов нередко означает, что, как отмечает социолог Тони Уолтер, «перед лицом смерти авторитетом становится не традиция, но сам человек (the self)»⁶⁷. В итоге, в отсутствие единого стиля или обычаев, красная звезда в комнате Памяти мирно соседствует с иконой Богородицы, пластмассовые красные гвоздики – с церковными свечами. На мой взгляд, именно этот «семиотический волюнтаризм» (semiotic volunteerism)⁶⁸, эти фрагментированные, но смежные отношения с реальностью, установленные при помощи материальных объектов, значимых предметов, которые могут сформировать связную, но не обязательно последовательную картину, и позволяют Матерям выстоять в ситуации, лишенной символического порядка. Следы без референта, эти объективированные продукты символизации, тем не менее устанавливают границы поля социальных отношений, формируют контекст и даже иногда служат руководством к действию.

Производство предметов, замещающих утрату, может объяснить, почему скорбь в данном случае не сопровождается постепенным ослаблением болезненного переживания потери, как это предполагают традиционные трактовки травмы. Осцилляция Матерей между материальными означающими и отсутствующими референтами позволяет им оставаться с «мальчишками» в постоянном контакте («рукой достать»), и тем самым локализовать свою утрату. Но это ритуализированное воспроизводство эмоционального опыта травмы, этот эстетизированный акцент на утрате и скорби одновременно делает риторически неуместными вопросы о политических решениях, которые привели к этим смертям.

Зал Памяти воинов, погибших в Афганистане, – часть постоянной выставки в Алтайском государственном краеведческом музее в Барнауле, – является, пожалуй, одним из наиболее ярких примеров подобной тенденции воспринимать и конструировать публичное пространство как мозаику политического символизма и частной жизни. Зал был открыт в

начале 1990-х годов, и две его комнаты содержат стандартный набор из советской практики мемориализации. Часть стены занята традиционной витриной с капсулами, наполненными землей с могил солдат на кладбищах края. В центре одной из комнат находится галерея стандартизированных фотографий погибших. Наконец, есть здесь и вполне ожидаемый планшет с анонимным стихотворением, озаглавленным «Родине». Написанный от лица погибшего солдата стих обращается к тем, кто выжил:

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,
Перед тем, как собраться за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присягу тебе не нарушил,
Кто берег тебя вечно, и в вечность ушел.

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,
Пулеметами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю горестной былью.
И рубцом материнское сердце отметь...

Одновременно в зале Памяти размещены объекты, не вписывающиеся в традиционный музейный формат. В углу одной комнаты, например, была развернута палатка, в которой спали солдаты во время войны в Афганистане. Оконные рамы были оформлены в виде крестов с силуэтами черных тюльпанов, символизирующих самолеты, транспортировавшие гробы с телами погибших солдат в Советский Союз. Религиозный символизм отражался и в расположении ламп на потолке и в подсвечниках, которыми сопровождалась фотографии погибших солдат.

Куратор выставки настаивала, что религиозную символику в государственном музее не стоит воспринимать буквально: многочисленные кресты призваны символизировать «надежду в самом широком смысле этого слова»⁶⁹. В свою очередь, одна из Матерей описала посещение зала так: «И, вот, в праздники заходим, каждому можем зажечь свечу. Это зал – зал Памяти. То есть, включается „Аве, Мария“ там или что-то еще, и все начинается...»

Отсутствие гражданского дискурса и/или аналитической дистанции, способной придать потерям социальный смысл, таким образом компенсируется при помощи сентиментальной хореографии визуальных и аудиосредств. Политическое насилие превращается в личную травму, а музей – в место скорби, своеобразную светскую церковь.

Нехватка легитимирующих политических сценариев, способных придать смерти сыновей определенное общественное звучание, является важной причиной обозначенной тенденции к деполитизации. Тем не менее, неразвитость политического дискурса вряд ли может объяснить, почему деполитизация реализуется в форме «объектализации», т. е. путем создания устойчивой эмоциональной связи между Матерями, с одной стороны, и материальными объектами – с другой. На мой взгляд, работы Дональда Винникотта, британского психотерапевта и психоаналитика, содержат полезную теоретическую схему, способную объяснить суть тенденции, обозначенной Матерями.

В исследовании «Использование объекта и построение отношений через идентификацию» Дональд Винникотт проводит разграничение между двумя типами практики. Под *объектными отношениями* психотерапевт понимает такое взаимодействие между индивидом («субъектом») и предметом/представлением («объектом»), в ходе которого происходят «определенные изменения в личности». В результате подобных изменений «в личности» объект наделяется («нагружается» и «восполняется») персонально значимыми воспоминаниями, ассоциациями и фантазиями. Важным для Винникотта является то, что, формируя с помощью операций проекции и идентификации узы аффективной привязанности к объекту, «субъект опустошен до такой степени, что часть субъекта обнаруживается в объекте. Хотя при этом субъект обогащается в эмоциональном плане»⁷⁰.

Разумеется, наблюдение Винникотта во многом очевидно и знакомо любому, кто испытал потерю любимого предмета или задавался вопросом о собственной идентичности. Важность объекта привязанности, как правило, определяется его способностью выступать в форме «экрана», который способен удерживать проекции индивидуальных фантазий и воображаемых конструкций. Понятно, что объектные отношения важны для Винникотта не только как пример бытового фетишизма. Главным для него является принципиальное отличие «объектных отношений» от другой формы взаимодействия, которая также сфокусирована на объекте идентификации. Понятие «применение объекта», сохраняя во многом сходства с «объектными отношениями», позволило Винникотту акцентировать роль объекта в динамике отношений между индивидом и предметом. Как отмечал психоаналитик:

...когда я говорю о применении объекта, я принимаю объектные отношения как данность, но добавляю новые

качества, которые затрагивают природу поведения самого объекта. Например, объект, чтобы его можно было использовать, должен быть реальным, являться частью внешней, разделенной между людьми реальности, а не нагромождением проекций... отношения можно описать с точки зрения субъекта, который отделен от окружающего мира, а применение – лишь исходя из того факта, что объект существовал всегда и независимо от субъекта⁷¹.

В своих работах Винникотт неоднократно подчеркивает, что переход от фантазматических «объектных отношений» к реалистическому «применению объекта» предполагает определенную уверенность в окружающем пространстве, определенную способность субъекта картографировать мир за пределами его фантазий и эмоций, определенное желание декодировать разнообразные контексты, частью которых и являются объекты привязанности. Удачная навигация такого переходного пространства, указывает Винникотт, «зависит от переживаний, которые ведут человека к доверию». Отсутствие доверия, как и ситуация заблокированного «перехода», может вести к «чрезмерной эксплуатации» объектов фантазматической/эмоциональной привязанности⁷².

Модель объектных отношений, предложенная Винникоттом, на мой взгляд, позволяет концептуализировать способ символизации утраты, используемый Матерями. В отсутствие доверия к «внешнему миру» и «разделенной» реальности, формирование индивидуальных и групповых идентичностей Матерей происходит во многом при помощи реконтекстуализации утраты. В ходе проекций материальные объекты превращаются в символические – метонимические – свидетельства гибели сыновей. В то же самое время материальный характер этих свидетельств позволяет встраивать их в рутину повседневной жизни. Демонстрируя и объективируя наличие существенной эмоциональной связи между индивидом и предметом, объектные отношения развиваются как событие внутренней жизни индивида, с трудом приобретая более широкий социальный смысл. Эмоционально заряженная герменевтика боли становится подавляющей формой коммуникации с окружающим пространством.

И все же, как я пытался показать, подобное использование эмоций в политике имеет вполне определенный положительный эффект. Деятельность провинциальных КСМ стоит рассматривать не только с точки зрения мобилизационных способностей этих комитетов. Не менее

важным является и то, что политика жалости и практики локализации травмы, рассмотренные выше, служат прежде всего одним из немногих доступных средств, с помощью которых Матери смогли преодолеть свою разрозненность и социальную изоляцию. Как отмечал Эмиль Дюркгейм: «Единение в скорби – это тоже единение»⁷³.

Примечания:

Исследование проведено при поддержке Совета по исследованиям в области общественных наук (International Dissertation and Research Fellowship, Dissertation Write-up Fellowship) и Колумбийского университета (Columbia University Dissertation Traveling Grant).

1 Sontag S. Regarding the Pain of Others. New York, 2003. P. 115.

2 Интервью со Светланой Павлюковой. Барнаул, октябрь 2001 г.

3 Обзор истории КСМ: Данилова Н. Право матери: Инстинкт заботы или гражданский долг? // Семейные узы: Модели для сборки / Ред., сост. С. Ушакин. М., 2004. Т. 2. С. 188–210; Арустархова И. Материнская политика [<http://www.mailradek.rema.ru/aris.htm>]. Анализ политической деятельности Матерей см. также: Hemment J. The Riddle of the Third Sector: Civil Society, International Aid, and NGOs in Russia // *Anthropological Quarterly*. 2004. Vol. 77. № 2. P. 215–241.

4 Депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис обвиняет Союз комитетов солдатских матерей в выполнении политического заказа со стороны Запада по ослаблению обороноспособности России // Эхо Москвы. 20 октября 2004 г. [<http://echo.msk.ru/news/211841.html>].

5 См. например: Левада Ю. Общество и реформы: Стабильность и нестабильность // *Общественные науки и современность*. 2003. № 10. С. 5–11; Янов А. Борьба с апатией как платформа либералов // Независимая газета. 2003. 14 января; Carnaghan E. Alienation, Apathy, or Ambivalence? “Don’t knows” and Democracy in Russia // *Slavic Review*. 1996. Vol. 55. № 2. P. 325–363.

6 Arendt H. On Revolution. New York, 1963. P. 85–90; обсуждение этой концепции см.; Boîtansky L. Distant Suffering; Morality, Media, and Politics. Cambridge, 1999. P. 3.

7 Seremetakis N.C. Durations of Pain; The Antiphony of Death and Women’s Power in Southern Greece; Ritual, Power and the Body // *Historical Perspectives on the Representation of Greek Women* / Ed. by N.C. Seremetaki. New York, 1993. P. 124.

8 Подробнее об использовании метафоры и метонимии в организации социальной жизни см.; Oushakine S. Crimes of Substitution; Detection and the

Late Soviet Society // Public Culture. Vol. 15. № 3. P. 426–452.

9 Фактически в Барнауле в настоящее время действуют два Комитета солдатских матерей. Один из них, основанный С. Павлюковой, объединяет родителей, чьи сыновья погибли в Чечне и Афганистане. В 1991 г. в Барнауле был создан еще один комитет, специализирующийся на работе с призывниками и семьями, чьи сыновья погибли в результате «неуставных» отношений в армии. В ходе полевого исследования я интервьюировал и наблюдал работниц в обоих комитетах, мемориализация погибших (независимо от условий смерти) является важной составляющей в деятельности обеих организаций. В цитируемых фрагментах, за исключением интервью с Павлюковой, все имена информантов изменены.

10 Дефицит консолидированного бюджета Алтайского края в 2004 г. увеличится в два раза: *Altay Daily Review*. 2003.12 ноября [<http://www.bankfax.ru/page.php?pg=22254>].

11 Дискуссию о советских формах мемориализации см., например: *Merridale C. Night of Stone: Death and Memory in Twentieth-Century Russia*. New York, 2000; *Tumarkin N. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of the World War II in Russia*. New York, 1994; *Schleifman N. Moscow's Victory Park: A Monumental Change // History and Theory*. 2001. Vol. 13. № 2. P. 5–34.

12 *Дмитриенко Т.* 1 июня в Барнауле защищали детей и матерей // Свободный курс. 2004. 3 июня.

13 Цит. по: Видеофильм о митинге памяти 1 июня 1996 г. в г. Барнаул. Алтайский государственный краеведческий музей АГКМ. Фонд отделения военной истории XX века.

14 Например, только в 2002 г. московская организация «Право матери» участвовала в 98 судебных разбирательствах [<http://www.hro.org/ngo/mright/repo2.htm>].

15 *Koselleck R. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts / Trans, by Todd Samuel Presner and others*. Stanford, 2002. P.312; курсив мой.

16 См. подробнее: *Bouvard M.G. Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the Plaza de Mayo*. Wilmington, 1994; *Bayard de Volo L. Mothers of Heroes and Martyrs: Gender Identity Politics in Nicaragua, 1979–1999*. Baltimore, 2001.

17 *Zizek S. Did Somebody Say Totalitarianism: Five Interventions in the (Mis)use of a Notion*. London, 2001. P. 149.

18 *Butler J. Afterword: After Loss, What Then? // Loss / Ed. by David Eng and David Kazanjian*. Berkeley, 2003. P. 468.

19 *Cavell S.* Comments on Veena Das's Essay "Language and Body: Transactions and Construction of Pain" // *Social Suffering* / Ed. by A. Kleinman, V. Das and M. Lock. Berkeley, 1997. P. 95.

20 См.: *Право Матери: Ежемесячная газета Фонда* [<http://www.hro.org/editions/mright/paperi48.htm>].

21 Интервью со Светланой Павлюковой. Барнаул, октябрь 2001 г.

22 *Seremetakis N.C.* Durations of Pain... P. 146.

23 Ibid. См. также: *Robben A.* The Politics of Truth and Emotion Among Victims and Perpetrators of Violence // *Fieldwork Under Fire: Contemporary Studies of Violence and Survival* / Ed. by Carolyn Nordstrom, Antonius C.G.M. Robben. Berkeley, 1995. P. 81–104.

24 *Seremetakis N.C.* The Last Word: Women, Death and Divination in Inner Man I. Chicago, 1991. P. 101; *Danforth L.* The Death Rituals of Rural Greece. Princeton, 1982. P. 125.

25 Письмо Родионовой (не датировано). АГКМ. Архив С. Павлюковой (не разобран).

26 *Flatley J.* Moscow and Melancholia // *Social Text*. 2001. Vol. 19. № I. P. 91.

27 Интервью с Екатериной М., АКСМ. Барнаул, ноябрь 2001 г.

28 *Kleinman A.* Writing at the Margin: Discourse Between Anthropology and Medicine. Berkeley, 1995. P. 123.

29 Обсуждение сходной тенденции в ином контексте см.: *Laviolette P.* Landscaping Death: Resting Places for Cornish Identity // *Journal of Material Culture*. 2003. Vol. 8. № 2. P. 215–240.

30 Интервью с С. Павлюковой. АКСМ, Барнаул, октябрь 2001 г.

31 См.: *Verdery K.* The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change. New York, 1999. P. 108.

32 Подробнее о явном и скрытом параллелизме между созданием «сообщества умерших» и «сообщества живых» см., например: *Hertz R.* Death and the Right Hand: A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death. Glencoe, 1960. P. 71; *Seale C.* Constructing Death: The Sociology of Dying and Bereavement. Cambridge, 1998. P. 65–67.

33 *Verdery K.* Op. cit. P. 111. О реконфигурации публичного пространства как отражении постсоветских перемен см.: *Flatley J.* Op. cit.; *Grant B.* New Moscow Monuments, or States of Innocence // *American Ethnologist*. 2001. Vol. 28. № 2. P. 332–362; *Humphrey C.* A Sketch of Consumption and Cultural Identity in Post-Soviet Landscape // *Humphrey C.* The Unmaking of Soviet Life; Everyday Economies After Socialism. Ithaca, 2002. P. 175–201; *Паперный В.* Мос-Анджелес. М., 2004; *Рыклин М.*

Пространство ликования; Тоталитаризм и различие. М., 2002.

34 Постсоветские примеры сходного процесса см., например; *Paperno I.* Exhuming the Bodies of Soviet Terror // *Representations*. 2001. Vol. 75. P. 89–119.

35 См.; *Bomeman J.* Settling Accounts; Violence, Justice and Accountability in Postsocialist Europe. Princeton, 1997. Обсуждение различий между политикой жалости и политикой справедливости см.; *Boltansky L.* Op. cit. P. 3–4.

36 См.; *Arendt H.* Op. cit. P. 85–90.

37 *Brown W.* States of Injury; Power and Freedom in Late Modernity. Princeton, 1995.

38 *Boltansky L.* Op. cit. P. 53.

39 Обсуждение взаимосвязи контроля и мест памяти см.; *Bradbury M.* Representations of Death; A Social Psychological Perspective. London, 1999; *Koselleck R.* Op. cit. P. 294.

40 *Zizek S.* Op. cit. P. 149. См. также: *Huyssen A.* Present Past: Urban Palimpsest and the Politics of Memory. Stanford, 2003.

41 См.: *Arendt H.* Op. cit. P. 85, 88–90; *Spelman E.* Fruits of Sorrow: Framing Our Attention to Suffering. Boston, 1999. P. 82–89.

42 *Bouvard M.G.* Op. cit. P. 131.

43 *Boltansky L.* Op. cit. P. 82.

44 Подробнее о проективной идентификации см.: *Young A.* Suffering and the Origin of Traumatic Memory // *Social Suffering...* P. 257–258; *Oushakine S.* The Fatal Splitting; Symbolizing Anxiety in Post/Soviet Russia // *Ethnos; Journal of Anthropology*. 2001. Vol. 66. № 3. P. 291–319.

45 Интервью с Татьяной М. АКСМ, Барнаул, сентябрь 2001.

46 Интервью с Ольгой Петровной С. АКСМ, Барнаул, ноябрь 2001.

47 *Ahmed S.* Collective Feelings or, the Impression Left by Others // *Theory, Culture & Society*. 2004. Vol. 21. № 2. P. 26.

48 *Kleinman A.* Writing at the Margin; Discourse Between Anthropology and Medicine. Berkeley, 1995. P. 124.

49 *Brown W.* Op. cit. P. 74.

50 Интервью проводилось во время американских налетов в Афганистане осенью 2001 г.

51 Интервью с С. Павлюковой. АКСМ, Барнаул, октябрь 2001.

52 *Boltansky L.* Op. cit. P. 42; *Tsintjilonis D.* Words of Intimacy; Remembering the Dead in Buntao // *Journal of Royal Anthropological Institute*. 2004. Vol. 10. P. 376.

53 *Green A.* The Work of the Negative / Trans, by Andrew Weller. London,

1999. P. 85.

54 Ж. Лапланш и Ж.-Б. Понталис в своем словаре по психоанализу так определяют «нагрузку» (нем. *Besetzung*; фр. *investissement*; англ. *cathexis*); это «приложение некоторой психической энергии к представлению или группе представлений, к части тела, к предмету и т. п.» (Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. Н. Автономовой. М., 1996. С. 239).

55 О природе восполнения см. у Жака Деррида; «Восполнение есть то, что добавляется, это избыток, полнота, которая обогащает другую полноту... Но восполнение восполняет, т. е. добавляется лишь как замена. Оно вторгается, занимая чужое место; если оно и наполняет нечто, то это нечто – пустота. Оно способно представлять или изображать нечто лишь потому, что наличие изначально отсутствует» (Деррида Ж. О грамматологии / Пер. Н. Автономовой. М., 2000. С. 295–296).

56 О длящейся связи (*continuing bond*) в современных исследованиях скорби и смерти подробно см.; *Klass D., Silverman P.R., Nickman S.L. Continuing Bonds, New Understanding of Grief. Washington, 1996.*

57 *Kenny M.G. A Place for Memory: The Interface Between Individual and Collective History // Comparative Studies in Society and History. 1999. Vol. 41. № 3. P. 434.*

58 Любовь Ивановна Фурцева. Письмо С.Г. Павлюковой. Без даты // Фонд С.Г. Павлюковой (не разобран). АГКМ, Барнаул.

59 См., например: *Trauma: Explorations in Memory / Ed. by C. Caruth. Baltimore, 1995.*

60 *Goux J.-J. Symbolic Economies After Marx and Freud / Trans. Jennifer Curtis Cage. Ithaca, 1990. P. 4.*

61 Любовь Ивановна Фурцева. Письмо С.Г. Павлюковой. Без даты // Фонд С.Г. Павлюковой (не разобран). АГКМ.

62 О солдатских альбомах см.: *Банников К. Антропология экстремальных групп: Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Российской армии. М., 2002. С. 205–216; Дембельский альбом: Русский Арт Брют: Между культурой и книгой художника / Под ред. Михаила Карасика. СПб., 2001.*

63 Сыны Алтая: Книга Памяти. СПб., 1992.

64 См. подробнее: *Eng D., Kazanjian D. Introduction. Mourning Remains // Loss / Ed. by D. Eng, D. Kazanjian. Berkeley, 2003.*

65 *Derrida J. The Work of Mourning / Ed. by Pascale-Anne Brault and Michael Naas. Chicago, 2001. P. 61.*

66 Подробную дискуссию об отсутствии адекватного символического

оформления постсоветского пространства см. в моих статьях: *Oushakine S.* In the State of Post-Soviet Aphasia: Symbolic Development in Contemporary Russia // *Europe-Asia Studies*. Vol. 52. № 6. P. 991–1016; *Idem.* The Quantity of Style: Imaginary Consumption in the Post-Soviet Russia // *Theory, Culture and Society*. Vol. 17. № 5. P. 97–120.

67 *Walter T.* The Revival of Death. London, 1994. P. 188.

68 *Certeau M. de, Giard L, Mayol P.* The Practices of Everyday Life / Trans, by Timothy Tomasik. Minneapolis, 1998. Vol. 2: Living and Cocking. P. 32.

69 Интервью с Ириной Д., куратором краеведческого музея. Барнаул, Март 2002 г.

70 См.: *Винникотт Д.* Игра и реальность. М., 2002. С. 158.

71 Там же. С. 159–160.

72 Там же. С. 186.

73 *Durkheim E.* The Elementary Forms of the Religious Life / Trans, by Joseph Ward Swain. New York, 1967. P. 448.

Библиографическая справка

Андрей Зуев. «Конквистадоры империи»: русские землепроходцы на северо-востоке Сибири Ab Imperio [далее: AI]. 2001. № 4.

Анатолий Ремнев. Вдвинуть Россию в Сибирь: империя и русская колонизация второй половины XIX – начала XX века

Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. Казань, 2004.

Елена Безвиконная. Геополитическое пространство Степного края: Омская область и проблема границы в государственном строительстве Российской империи (20-30-е годы XIX века) AI. 2003. № 1.

Анатолий Ремнев. Университетский вопрос в Сибири XIX столетия AI. 2012. № 1.

Сергей Скобелев. Демография как политика. Коренное население Сибири в составе Российской империи и СССР: динамика численности как отражение политики центра AI. 2002. № 2.

Юлия Ульянникова. Чужие среди чужих, чужие среди своих: Русско-японская война и эвакуация Сахалинской каторги в контексте имперской политики на Дальнем Востоке AI. 2010. № 4.

Павел Варнавский. Советский народ: создание единой идентичности в СССР как конструирование общей памяти (на материалах Бурятской АССР) AI. 2004. № 4.

Татьяна Скрынникова. Пограничные идентичности: буряты между Монголией и Россией AI. 2003. № 1.

Сергей Ушакин. Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России AI. 2004. № 4.